

Ирина Хургина главный редактор	Проза	СЕРГЕЙ КАТУКОВ. ПЛАНЕТА МЕЛАНХОЛИЯ. Повесть	4
		ВАЛЕРИЙ БОЧКОВ. КЛЕОПАТРА ЧИСТЫХ ПРУДОВ. Повесть	65
		ЕВГЕНИЯ МАТЫКОВА. БЕЛЫЙ Рассказ	86
		ЛЕОНИД БЕЖИН. ДЕНЬ СТАРОЙ ОДЕЖДЫ. Маленькая повесть	94
		СУХБАТ АФЛАТУНИ. КОГДА ЗЕМЛЯ БЫЛА ПЛОСКОЙ. Рассказ	133
		ИННА КИМ. КАК Я БРОСИЛА КУРИТЬ Рассказ	141
Глеб Шульпяков заместитель главного редактора	Проза	АРИНА ОСТРОМИНА. ДВА. ТОЧКА. НОЛЬ. Рассказ	157
		АЛЕКСЕЙ ДЬЯЧКОВ. АВТОР НЕИЗВЕСТЕН. Стихотворения	172
		ЮЛИЙ ХОМЕНКО. РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Стихотворения	175
		ВАДИМ ЖУК. ШИНЕЛЬ Стихотворения	179
		ВЛАДИМИР ИВАНОВ. ШУБА ДУБА Стихотворения	184
		ВАДИМ МУРАТХАНОВ. ТИХИЙ ЧАС Стихотворения	188
Дмитрий Тонконогов ответственный секретарь заведующий отделом поэзии	Поэзия	ИРА НОВИЦКАЯ. ВСЕ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ. Стихотворения	190
		ЛАРИСА МИЛЛЕР. ДА-ДА, КОНЕЧНО Стихотворения	193
		ГАННА ШЕВЧЕНКО. РАЙОННЫЙ НЕБОСВОД. Стихотворения	197
		ИГОРЬ ИРТЕНЬЕВ. ОСНОВНОЕ ЧУДО Стихотворения	199
		СЕРГЕЙ ЗОЛОТАРЕВ. ПУШКИН В АДУ Стихотворение	203
		ВЛАДИМИР САЛИМОН. ПО ТРАМВАЙНЫМ ПУТЯМ. Стихотворения	207
Егор Ходеев главный художник	Поэзия		
Анна Сазанова верстка	Поэзия		

УЧРЕДИТЕЛЬ ЖУРНАЛА  
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  
"НОВАЯ ЮНОСТЬ"  
© ЖУРНАЛ  
"НОВАЯ ЮНОСТЬ"  
[НО]

Татьяна Бобрынина  
генеральный директор

	ДАН ПАГИС. СИЛА ТЯЖЕСТИ. Стихотворения. Перевод с иврита Александра Бараша	214
Мастерская	УИСТЕН ХЬЮ ОДЕН. ЗАМЕТКИ О МУЗЫКЕ И ОПЕРЕ. Эссе. Перевод с английского Федора Васильева	218
Книжка	ИЗ АНТОЛОГИИ «ТАШКЕНТ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ». ПАВЕЛ ПОРШАКОВ, АЛЕКСАНДР БАЛАГИН, АННА АЛМАТИНСКАЯ, СЕМЕН ОКОВ, ВИКТОР УРИН Составитель Михаил Книжник	228
	ТАЦУО ХОРИ. ТРИ РАССКАЗА. Предисловие и перевод с японского Екатерины Юдиной	248
	САНДЖАР ЯНЫШЕВ. ФРОСТУ ФРОСТОВО Эссе	263
	РОБЕРТ ФРОСТ. THE ROAD NOT TAKEN Стихотворения. Перевод с английского Санджара Янышева	268
	СИЛЬВИЯ ПЛАТ. ЭТИ КРОВАТИ. Стихотворение. Вступительное слово и перевод с английского Татьяны Стамовой	271
Картина мира	К 231-й годовщине взятия Бастилии ЕЛЕНА МОРОЗОВА. ВАНДЕЯ: БЕЛОЕ ЗНАМЯ ПРОТИВ ТРИКОЛОРА. Эссе	280
	ВОСПОМИНАНИЯ РЕНЕ БОРДЕРО ПО ПРОЗВАНИЮ ЛАНЖЕВЕН. Перевод с французского Елены Морозовой	285
Одесская тетрадь	ОТ РЕДАКЦИИ	310
	МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ. ОДЕССА. ЕДА...	312
	АННА МИХАЛЕВСКАЯ. ВНУТРЕННИЙ ГОЛЬФСТРИМ. Рассказ	315
	ЕЛЕНА АНДРЕЙЧИКОВА. МЕЛАНХОЛИЯ МЯСА. Рассказ	322
	ЮРИЙ МИХАЙЛИК. ПАЛЬМЫ И РЯБИНЫ. Стихотворения	330
	ЕВГЕНИЙ ГОЛУБОВСКИЙ. БАБЕЛЬ ВО ФЛОРЕНЦИИ. Эссе	336
	ВИКТОР ЛОШАК. УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ. Очерк	340
	ВЛАДА ИЛЬИНСКАЯ. ВДАЛИ ОТ МОНИТОРА. Стихотворения	353
	ИЛЬЯ ИЛЬФ. ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕВРЕЕВ Рассказ	356
	ЮРИЙ ОЛЕША. РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ПОЦЕЛУЕ	364
	ТАЯ НАЙДЕНКО. О РОДИНЕ, О ПТИЧКАХ Стихотворения	371
	ОЛЕГ ГУБАРЬ. ДЕЛО ЛОКОТНИКОВА Эссе	375

Прежние выпуски «НЮ» и новый номер можно найти на нашем сайте [www.new-youth.ru](http://www.new-youth.ru)

Подписаться на полную электронную версию «Новой Юности» можно в интернете по адресу: <https://shop.eastview.com/results/item?SKU=12815>

Ценные бандероли редакция не принимает.

Рукописи объемом не более 4 авт. листов (170 000 знаков с пробелами) можно высылать по адресу: [newnost93@list.ru](mailto:newnost93@list.ru)

Присланные произведения не рецензируются.



Проза



**Сергей Катук**ов. Планета Меланхолия. *Повесть*  
**Валерий Бочков**. Клеопатра Чистых прудов. *Повесть*  
**Евгения Матыкова**. Белый. *Рассказ*  
**Леонид Бежин**. День старой одежды. *Маленькая повесть*  
**Сухбат Афлатуни**. Когда земля была плоской. *Рассказ*  
**Инна Ким**. Как я бросила курить. *Рассказ*  
**Арина Остромина**. Два. Точка. Ноль. *Рассказ*

*Сергей Катков*

## ПЛАНЕТА МЕЛАНХОЛИЯ

1.

Погода, по местным меркам, пока поезд не покинул равнину, стояла сказочная, до невозможности схожая с кукольно-театральной мизансценой первых заморозков октября, местами, правда, подпорченная следами недавнего укромного дождя. Словно получили на руки свежее подарочное издание, а оказалось, если полистать, тут и там торчат черные грязевые пятна. Вертова смущало не это. Он ехал в поезде, пил чай, спал, изобретал каверзные вопросы, которые ему подбросят специалисты, остроумно отшучивался и отправлял в ответ порцию собственных.

Ехать Вертову не хотелось. Анна зависела от настроений, была беспомощна перед своими одиночествами, тревожно оставлять ее так, хотя бы и с детьми. Он подумывал ходатайствовать перед шефом, чтобы взять ее с собой. «Да? — сказал бы на это ехидно Шевцов. — А ну-ка без шуток! Поезжай-ка ты, голубчик, к своему Бостромову один. И чтоб без приключений». — «Туда и обратно. И без приключений», — отрапортовал бы Вертов.

Ласковое название, нечто вроде «ах ты, бедный-бедный мой, бедоватый бедолага бедуинушка», относилось к поезду, целому каравану, нетерпеливо фыркавшему на подходах к станции, где стоял Вертов в окружении багажа, поминутно сверяясь с часами. «Бедуин», единственный в западном полушарии именной поезд-караван, курсировал между равниной Амазония и плато Меридиана, описывая прогибавшуюся к югу петлю длиной в двенадцать тысяч миль. Поезд оставлял малонаселенную область Фарсида, спускался в долины Маринера, которые местные называли попросту Каньоном, выбирался из них и через землю Ксанфа уходил на север к равнине Хриса. «Бедуин» сбрасывал скорость, закладывал большую дугу, лавируя между городками и колониями на плато Меридиана, чтобы окончательно

повернуть на юг. Оттуда, касаясь земли Ноя, земли Аонид, плато Икария, плато Делалия, возвращался на север и наконец замыкал петлю, оставаясь в виду Аполлоновой палаты. Каждый раз дорога, тут и там отмеченная сотней разномастных станций и полустанков, прибавляла к жизни поезда с десятков суток.

«Бедуин» опаздывал. За спиной, в нескольких километрах по плоскогорью, виднелись торчащие в небо конструкции, откуда Вертова привезли час назад, оставили на морозном перроне, где уже пересмеивались худющие, щетинистые пассажиры, с куполообразными головами, по которым сразу узнавался местный в третьем-четвертом поколении. Они дошучивали вчерашние разговоры, перекуривались, прижимаясь сигаретами, у одного за спиной громоздилась гитара. С виду — геологи.

Геологическая партия, переселявшаяся из Ацидалийской равнины, составила из полутора десятка человек, разбросанных по вагону. Через плацкарту ехал историк, сочинявший прямо по ходу поезда и зачитывавший вслух постапокалипсис, в котором толпа, проповедник и мальчик шли к подземному раю, спрятанному для них предыдущей эпохой. Они считали, что это бункер изобилия, тогда как на самом деле приближались к источнику конца — Большому адронному коллайдеру. Из него учеными-недотепами была упущена микроскопическая черная дыра, выскочившая за пределы лаборатории и сгрызшая пол-Европы. Такая была фабула, опоясанная массой достоверных краеведческих фактов о земных нравах двухвековой давности.

Через три дня поезд-караван достигнет горы Олимп, выгрузит геологов с оборудованием и, огибая вулканический гигант, громыхая, уйдет к равнине Амазония, где Вертова встретят и снова куда-то повезут.

Вертов отражался в вагонном окне, за которым смазывались пустынные ацидалийские пейзажи с утренним инеем на мхах и плюще, и никаких приключений, тем более во внештатной командировке за сто сорок миллионов невесомых миль по делам скорее воображаемым, чем насущным, ему не хотелось.

На станцию поезд прибыл ночью, подождал, пока пассажир вышел на платформу, и, тихо гремя, исчез под мягким чужеземным небом. Настоящий поезд-караван, светящийся городом окошек.

В прохладном необжитом бездорожке, который вел длинно-сутулый водитель из местных, Вертов быстро задремал. Дорога спу-

стилась в карликовый лес, потом сквозь сырые предутренние часы появился горный серпантин, эскалатором забравший авто в леденящее небо, и, наконец, из тумана вышел голый каменистый холм со «Стилобатом» — все это продолжало видеться в каком-то изжитом, выморочном полусне, уставшем от путешествия. То и дело мелькали участки памяти: отражения в окне поезда, геологи, неясный разговор в прокуренном тамбуре. Был только шестой час, и Вертов, попав в обсерваторию, глотнув холодного чаю, обернулся в одеяло и, с обуюью завалившись на диван, уснул в кабинете руководителя проекта, Бостромова, который его не встретил.

## 2.

Поезд-караван, держась экватора, неспешной полуторакилометровой змейкой проглатывал пассажиров, ожидавших на станциях: торговые городки, старательские поселения, частные владения промышленников, фабрики, виллы, предпринимательские общины, даже коммуна «независимого пророка Лукьяна Ливокумского». Многие основаны не так давно, в пределах нескольких десятилетий. В основном, по частной инициативе. Городок Галилей, что недалеко от одноименного кратера в Ацидалийской равнине, был первой марсианской колонией. Почти такой же древности были научные станции, а теперь города Скиапарелли, Сирт, Утопия и другие, аккуратно следовавшие марсианской топографии. Запыленный железистой охрой, «Бедуин» снова и снова поворачивал на север и юг, избегая едва завидневшуюся чашу кратера.

Марсианские сутки на полчаса длиннее земных, но, по земным меркам, окончательно здесь так и не рассветало: Солнце, словно лампочка, на которую пожалели тока, выдавало в самый яркий полдень две трети от света на Земле. В такой час, обвеянный ветрами по густым травам, свет словно стоит на пороге вечера — так казалось недавно прибывшим.

Далеко в космосе, на расстоянии трехсот марсианских радиусов, оберегая планету, двести лет работала магнитная защита, отводившая солнечную радиацию. Магнитные диски вращались на орбите, наделяя планету собственной магнитосферой. Когда солнечный ветер

и космическое излучение перестали сдувать атмосферу, как это было миллиарды лет, над полюсами ввели в действие зеркала-оригами диаметром по сто пятьдесят миль. Свет от них разогрел купола планеты. От парникового эффекта из почвы пошел метан. Тогда, в конце двадцать первого века, в районе кратера Галилей ютилась единственная колония. Горстка людей, прячась от радиации, осваивала пещеры и подземелья, встраивая в них замысловатые, многоуровневые галереи. И это был первый человеческий век. И век был пещерный.

Планету заселили бактериями, старательно добывавшими из минералов метан и аммиак, дополнительное топливо для разогрева атмосферы. В первые же десятилетия, когда резко потеплело, но радиация еще смертельно жалила счетчик Гейгера, облака уже отражались в ручьях и речушках с задумчивой, еще пустой водой.

Побеждая радиацию и создавая атмосферу, люди вышли в мир, наполненный будущим. И это был второй человеческий век. И век был растительный. Гравитация, чуть больше трети от земной, испытывала земные растения, которые росли быстрее, но мельче своих предков. Хорошо приживались мхи, карликовые деревца, изменившиеся до неузнаваемости и через полвека покрывшие равнины, богатые смектитом — минералом, жадно впитывающим воду. Неожиданно показали себя плющи: став в кулак толщиной, они деревенели. Травы разрослись за пределы оазисов, «территорий обводнения», в них подселили кузнечиков, сверчков и мучных червей — питательных, богатых белком насекомых. Рацион первого поколения переселенцев состоял из элементов азиатской кухни.

А планета словно ждала тепла, защиты от радиации, и ответила на это теплым климатом. И это был третий век, растянувшийся на сто человеческих лет. И был век деревенский. Терраформирование превратило Марс в уютную, тихую планетку, уменьшенную, одомашненную копию Земли, на которую потянулись первые караваны переселенцев. На месте антарктического и вулканического пейзажей вблизи экватора вспыхнул цветущий пояс, воспроизводя в памяти местности Тосканы, скалистые террасы Корсики и Сицилии. Суровые марсианские виды, сродни ландшафтам Дикого Запада, Марокко и долинам Гренландии, встречались ближе к полюсам. Тех, кто летел сюда с билетом в один конец, не пугали длинные, меланхоличные зимы в двенадцать месяцев, ведь и весна-лето тоже длилась почти бесконечный земной год. Гуляй,

бегай босиком по песку, валяйся в травах, купайся в озерах, слушай, как эхо предгорий отражает треск насекомых, пение и перекличку птиц. Долгое, сказочное, как жизнь детской души, марсианское лето, стало для землян символом скромного рукотворного рая. Степной мир, свободный от крупных хищников, где в травах прячутся и снуют насекомые, рептилии, грызуны, самая разнообразная нелетающая птица, где посреди засеянных полей изредка встретится отключенная полвека назад кислородная подстанция, или почвенный «шагающий завод», или «фабрика воды».

Каждый шестой поселенец — потомственный житель Нового Марса, узнаваемый по длинному черепу, стройному телу, тянувшемуся за двухметровую отметку.

Но все же какая медленная, скудная и бледная по сравнению с Землей планета. Самые крупные города — и те не больше деревни, окруженные садами, перелесками, озерами. Планета Меланхолия.

### 3.

Елена, 29 лет, художница.

— Почему вы прибыли на Марс?

— Еще до моего рождения было решено. Я наследовала часть земель к югу от Гершеля. Предки со стороны дяди арендовали «шагающий завод», обрабатывали пахотные земли. Потом приобрели озеро и реку. Своя река! Утекающее сокровище! Недавно я целый месяц путешествовала по поместью, много рисовала. Скоро будет выставка в Гершеле. А через год Лондон, галерея Тейт. Дни марсианской культуры, биеннале. Обязательно приходите... И еще: представьте эпоху Возрождения, при моих сокровищах я была бы настоящей герцогиней. С виллами и замками.

— Вернулись бы обратно?

— Нет... Только на выставки. А так, думаю, что нет.

Йолн Макс, 47 лет, бизнесмен-изобретатель.

— Почему вы прибыли на Марс?

— Знаете, это мечта детства... Это просто фантастика... Это сказка... Вырваться из земного тяготения и... преодолеть космическое ничто... И потом увидеть все это... Фантастика... Больше ничего не могу сказать.



Алекс Вертов, 35 лет, ученый, лингвист-программист.

— Почему вы прибыли на Марс?

— Изучение диалектов местных племен, их условно называют бедуинами. Бедуинский язык... так, наверное, правильно... Диалекты бедуинского языка... Это командировка. Я тут временно. Пару месяцев, не больше... Знаете, здесь интересное смещение языков, очень интенсивная, необычная пиджинизация. Китайский смешивается с итальянским и английским!.. Но в основном старая добрая ассимиляция испанского арабским. Как играет история, вот ведь...

4.

«Стилобат» стоял как крепость — бетонно-лысый, обтекаемый лоб здания, выдвинутый субмариной. Строители вознесли его на самую высокую точку долины: мощный холм, уединенный, обрытый пустотой недосыгаемости. По легенде для местных, это была обсерватория. Там якобы засели астрономы, физики, всякие мозголомные «ботаники», исключительно прибывшие, ученая лимита с Земли. «Стилобат» — закрытый, маскирующийся под местность артефакт. На пропускном пункте — вышки с пониженными прожекторами. Объект режимный, обнесенный у подножия колючей проволокой и знаками радиоактивной опасности. Под плитой «Стилобата» зарыт бессмертный зверь — ядерный реактор.

Бостромов появился часа через полтора. Он устроился на стуле рядом с диваном, где Вертов по детской привычке загерметизировался в кокон одеяла, и теперь сидит, листая страницы отчета. Когда Вертов, наконец, зашевелился, он, не отрываясь от бумаг, лениво продекламировал:

*Я встретил тебя впервые в чужих для тебя широтах.*

— Как спалось, Вертумн?

Бостромов был худой, черноволосый настолько, что угреватая сыпь щетины казалась гигиенической пощечиной смотревшему на него, очень высокий, очень изможденный, сильно мимикрировавший под местных, но все-таки очень земной сукин сын.

Вертумн вылез из-под одеяла и улыбнулся. Ладони двух старых друзей склешились в рукопожатие. Александр Вертов был отчасти специалист по компьютерному моделированию, отчасти математик, уступавший во всем этом Бостромову, но, главным образом, блестящий лингвист, знаток нескольких европейских и азиатских языков, единственный в своем роде. Государство просто так не станет оплачивать билет в оба конца. Вертов был гений языковой дешифровки. В юности его испытывал почти нездоровый, вывернутый наизнанку бес проблемы времени, вообще возможности его существования, поэтому прозвище «Вертумн», имя древнеримского божества-попечителя времен года, вполне закономерно обыгрывало его фамилию. Вертов-Вертумн вертелся своими языковыми способностями и к двенадцати попался в школу-пансионат для одаренных детей. Ник, Николай Бостромов был для него больше, чем друг. Оба они, сироты, вышли из детского приюта, вместе попали в пансионат для вундеркиндов, вместе вошли в науку. Бостромов в какой-то момент откололся и стремительно опередил его, очень быстро пробился в руководители, организаторы научного прогресса.

Они учились в параллельных классах в этой своей спецшколе для умников, вырастившей не одно поколение «золотой молодежи». Только они оказались как раз из простых. Вокруг были сынки министерской элиты, и их дружба нашла еще одно применение: спина к спине дружить против них. Ник, в отличие от разговорчивого друга-острослова, прожил школьную жизнь замкнутым молчуном, предпочитая любой язык общения компьютерному. Он как-то незаметно начал взрослеть и разбираться в своих головоломных кодах, когда стало известно, что после школы он уходит напрямиком в засекреченный вуз, откуда спецслужбы набирают кадры для технических подразделений. Когда Вертова на четвертом курсе пригласили зайти во «второй отдел», он с удивлением узнал, что рекомендован Бостромовым. Что тот уже давно дружит с этими «секретными людьми». И имеет среди них вес. Тогда-то Вертумна и стали привлекать в помощь тихоне Нику. Они решали зубодробительные задачи по дешифровке языковых кодов, сочиняли трехэтажный синтаксис шифровок, основанный на глаголах, которые, в зависимости от ключей, мутировали в другие части речи и превращались в ключи для шифра второго уровня.

Первая поездка Алекса по запросу Ника была на пятом перед самой защитой. Ник стажировался в научно-исследовательской конторе на Кавказе. Горы, засушливое раннее лето. Ночные разговоры о будущем.

Колорит местных языков, заложенных в код и приведенных в цифру для игральнo-шифровальной задачи.

Потом уже начались рабочие командировки. Его отпускали без вопросов. Все расходы за счет государства. Бостромов кочевал в мире науки, останавливаясь в разнообразных шарашках. Суровел и мужал. Поднимался и что-то возглавлял. Подчинял и изобретал. Каждый раз выхватывая своего старого доброго Вертумна из преддверия новой жизни. То призовет накануне защиты первого проекта, то выхватит перед долгожданным повышением. И вот теперь тоже, чувствовал Алекс, это будет очередная покровительственная кража.

Бостромов провел Вертова по узким коридорчикам, таким тесным, словно только под конец строительства спохватились и выточили в литой башне ходы. Сотрудники перебежали по ним, бессознательно задерживая дыхание. Вертову просторное помещение с низким потолком сперва показалось цехом завода. Рабочие места, подсвеченные мониторами, словно ночной лес с равномерно разбросанными кострами. Лаборатория Бостромова — светлое овальное помещениe с креслами, стеклянным столом — приподнятый экран проекционного компьютера.

Бостромов вводил в курс дела неспешно, справляясь о дороге, о том, как Алексу показался Марс, вспоминая что-то из общей, уже далекой юности.

— Как твои штудии относительно времени?

— Остались в форме прошедшего,— скаламбурил Вертов, вглядываясь в худое, очень сильно удлинившееся с момента их последней встречи лицо Ника. Признак волевого характера обозначился еще резче: короткий рот сократился до минимальной черточки, способной выдавать приказания и сжиматься в момент принятия решения. Бостромов был главой «Стилобата», и дела здесь творились непростые.

Ядерный реактор, с которого Ник начал рассказ, задумывался еще в эпоху первоначального терраформирования. Равнина Амазония была удобным для колонии местом. Научному городку, а в перспективе и всей равнине была необходима энергия. Транспортная инфраструктура предполагала скрестить железнодорожные ветки недалеко к северу. Все это планировалось запитать на атомную стан-

цию. Международное участие намечалось всемерное: сотрудничество, обслуживание станции, использование атомной энергии. Однако смета только реактора оказалась громадной. Проект обкорнали и отдали подрядчику, строившему маломощный мирный атом. Место действительно было удачное. Перекрестие «зон обводнения». Хорошая почва, мягкий климат, живописная равнина с небольшими речушками, к югу в Аполлоновой палате через несколько десятилетий заплещется большое озеро. Здесь возникнут поселения. «Место силы» в сочетании с богатым туристическим потенциалом. Но темпы заселения и терраформирования были неспешными. Стройку окружала нехоженая степь, которую не мог оживить редкий одинокий грохот поезда-каравана: железнодорожную ветку выгоднее оказалось проложить восьмьюдесятью милями севернее.

Реактор, еще далекий от своих пиковых мощностей, приспособили для обслуживания многофункциональной научной станции, не такой большой, как предполагалось сперва, но и более дешевой. Покупателем выступило частное космическое агентство, а на самом деле подставной посредник.

Бостромов сделал паузу, пытливо посмотрел на Вертова. Предложил чаю. Отсутствие окон в лаборатории усугубляло ощущения секретной субмарины, которая, приняв в себя пассажира, вибрируя атомным чревом, погружалась в реголиты планеты, уходила таинственным курсом, которым руководит Бостромов. Он продолжил.

— Помнишь, как мы мечтали о будущем? Что в политике наступит такой прогресс, когда не станет самой политики. Что исчезнет необходимость государства, что мировая экономика направится на сотворение будущего, а не на наживу. Помню разочарование, когда мы, взрослея, понимали, что человеческой природе за техническим прогрессом не поспеть, что с эпохи палеолита, может быть, ничего в ней так и не сдвинулось.

— Это были очень наивные представления. Ты же понимаешь, юношеский максимализм. Стремление к социальной справедливости, — сдержанно усмехнулся Вертов. — Ничего не меняется, как понимаешь. В общественном мироустройстве. В природе человеческой души.

— Я думаю, мы были не совсем неправы.

— Ну, что-то в этом было, конечно. Смехотворное невежество. Революционный пыл.

— Да-да... — Бостромов снова пристально посмотрел. Его глаза, лукавые оливки, блеснули, уменьшаясь в прищуре. — Но хочу сказать, что, почти не отрываясь от реальности, мы, в общем-то, теперь все можем изменить. Сделать, как мечтали.

— Да? — неопределенно спросил Вертов, опуская глаза.

— Самым важным из искусств, как понимаешь, для власти останется искусство управления массами. Будущее искусственного интеллекта переоценено. Человеческий ресурс — единственная энергия, которую власть будет ковать и перековывать.

Вертов внимательно следил, как играет хитрый прищур глаз Бостромова, повзрослевший и ожесточившийся за десять лет.

— Ну так вот... Начиная с покупки проекта реактора, когда еще было неясно, для чего он пригодится, заканчивая сегодняшним моментом, государство занималось на Земле, а теперь и здесь, в «Стилобате», самой непосредственной своей деятельностью. Конструированием реальностей. Здесь полигон самой передовой политической мысли. Прикладная политическая аналитика.

— Но почему здесь? — был первый вопрос Вертова.

«И причем тут я?» — хотел он продолжить. Но реакция Ника оказалась вялой и раздражительной, и Вертов смолчал. Глупый вопрос.

— Ну, почему... Что за вопрос... Кто тебе в наше-то время на Земле даст отгрохать аналитический центр на полтораста сотрудников, с такими вычислительными мощностями, который только тем будет заниматься, что вычислять внешнюю политику других государств. Проверками замучают, дорогой мой. Уж я-то знаю. Это же государственный шпионаж в чистом виде. Международная Организация Политического Равновесия. Союз Наций. Конвенция Дипломатов за Открытую Политику. Не говоря уже о Комиссии Контроля за Виртуальными Симуляциями. — Бостромов махнул рукой, подошел к столу. Пробежал пальцами по стеклянной поверхности компьютера. Над ней выросла трехмерная схема «Стилобата». Группы помещений окрашены разными цветами.

— Здесь, — он показал на синий блок, — серверный фундамент. Такие вычислительные мощностя, каких на Земле нет. Вот так, чтоб вместе собрано? Нет, нету. Залито криогенным раствором. Выше — центр математической обработки, интерпретации данных. Здесь, — оранжевый сегмент сбоку здания, — центр визуализации. Это, мой дорогой, я тебе скажу, такая вещь! Может, ради нее и надо было все это затеять.

— Я тебе зачем? — веско спросил Вертов, встав напротив голограммы, уперев руки в стол.

— А вот это... вот это... — Бостромов игриво покачал головой и заулыбался. — Вот это хороший вопрос. Ты, батенька, затем нужен, чтобы объяснить, какого черта мы тут натворили.

## 5.

Прообраз «Стилобата» замышлялся еще полвека назад.

В политической игре, как показывает история, необходимо муторное долготерпение. Когда существует ограниченный набор фишек и ходов, разыгрываемые партии повторяются до бесконечности. Требования к игрокам возрастают, остаются искушенные и изощренные участники. Остальные между раундами безжалостно выдавливаются с ринга. Цена игры — выживание. Ничего нового за столетия в условия игры введено не было. Борьба за ресурсы, сферы влияния, рынки сбыта. Продолжает играть тот, кто умеет лавировать между союзниками, «партнерами», конкурентами, с которыми надо научиться танцевать смертельное самбо, вцепиться в загривок и, набрав энергию вращения, выбросить за пределы татами. Враги оборачиваются стратегическими партнерами, чьи гособлигации выгоднее покупать, а не саботировать. Набирает фишки тот, кто манипулирует потребительскими желаниями. Формирует электоральное мнение.

Экспериментировать с виртуальными политическими реальностями стали с начала двадцать первого века. Компьютерные ресурсы первого госпроекта, запущенного в Северной Корее, отрабатывали наступательные стратегии в условиях ядерного противостояния ведущих держав. При помощи виртуальных прогнозов корейцы заключили ряд удачных союзов, поссорив альянс противников и развязав в разных регионах мира отвлекающие от себя локальные конфликты. Группе хакеров, взломавших сеть северокаорейского военного ведомства, пришлось рассекретить себя, чтобы доказать реальность новой катастрофы. Жесточайшими санкциями мировой общественности проект был закрыт, результаты уничтожены. Новая информационная бдительность распространилась на все государства с крупным программистским потенциалом. Теперь следили не за тем, что кто-то создает и испытывает ядерное оружие — так было раньше, — а не разрабатывает ли он

компьютерную модель глобального завоевания. Комиссия Контроля за Виртуальными Симуляциями делала подобные проекты затруднительными. Прецедент показал всю опасность новых технологий. Их предсказательная сила могла ускорить и устранить естественную тактику долготерпения на политическом ринге.

Под видом «многофункционального исследовательского центра» и был создан «Стилобат», недостижимый для Комиссии. Для международного сообщества он занимается «мониторингом и развитием процессов терраформирования», а в действительности — аналитический центр внешней разведки Российского Политического Конгломерата. Задача «Стилобата» — просчитывать варианты взаимоотношений с политическими и экономическими противниками и партнерами, воспроизводя их в масштабе и времени виртуальной реальности.

Название «Стилобат»<sup>1</sup> обыгрывает идею, что на едином фундаменте, из одного энергетического источника формируется архитектура как реальности, так и виртуальности.

6.

— Так в чем проблема? — спросил Вертов.

— Проблема? Проблемочка... — Бостромов смахнул изображение «Стилобата».

Неприятности с программой начинаются, когда понимаешь, что нет адекватной обратной связи. Создаешь огромный программный код, который успешно работает, решает поставленные задачи. На первый взгляд. Программа отрабатывает будь здоров, даже опытный вирмиркер не прикопается. И все же иной раз заподозришь, не изменяет ли она тебе. Может, она занята исключительно своими делами, а внутрь нее не заглянуть даже одним глазком. В этом и заключается проблема «черного ящика». И тогда возникают неуловимые сущности, теньевые миры, призраки параллельных вселенных.

Бостромов с командой заглядывал в свои «черные ящики», политические миры-симулякры, с помощью интерфейса «Монитор», подпрограммы-шпиона, независимой и незаметной для всей системы.

На серверах «Стилобата» за десять лет накопилась коллекция из более ста миров-симулякров. Виртуально воссоздавались Европейский

<sup>1</sup> В архитектуре — общий цокольный этаж, объединяющий несколько зданий.

Политический Союз, Азиатская Экономическая Агломерация, Единый Китай, Индонезийская Япония, Северо-Мезоамериканский Союз и остальные государства. За реальностью теперь следили на опережение.

Были две разновидности виртуальных моделей. Вирмирк (ВИРтуальный МИР Компьютерный) — развивается в темпах нашей реальности и условно считается полноценной моделью государства. Однократно задав набор параметров и периодически внося коррективы,

можно со всех сторон изучать этот политический конструктор так, будто имеешь дело с реальным государством. Из минусов: доступна только текущая ситуация. Вычислительные мощности на вирмирки выделялись средние.

Тарк — Темпоральный Асинхронный Реверсивный Конструктор — использовался для наиболее важных и изошренных задач. Его особенность — в «форсировании времени», то есть получение параметров будущего политического состояния. Симуляция затрагивает не изолированное государство, а весь мир. На это требуются огромные вычислительные мощности. Плюс возможность выбирать временной масштаб «форсирования»: в один тактовый тик процессора можно уместить недели, годы, любой временной промежуток. Тарк можно было вовсе остановить: внутри все замирало, словно на одном-единственном вселенском кадре. И для обратной связи в тарках в качестве интерфейса использовался уже не «Монитор», а «Иллюминатор».

Внутри тарков было предусмотрено необходимое число «болванок» — виртуальных граждан, к которым подключался оператор-человек — вирмиркер. Сами вирмиркеры, исследующие повседневную жизнь в симуляторе, неофициально именовали себя изящно — «ангелами». «Иллюминатор» позволял в подробностях просчитывать и визуализировать для «ангела» весь тарк. На это и уходили немислимые вычислительные мощности. В момент, когда в тарке пребывает несколько «ангелов», иногда до пяти одновременно, система перегружена невероятно, матрица сбоят самым подлым образом. По всему тарку случаются массовые дежавю, киты выбрасываются на берег, совершаются необъяснимые героические и альтруистические поступки, крестьянам являются святые.

Результат нескольких дней, проведенных в тарке, стоил месяцев работы целого аналитического центра, изучавшего данные обычного вирмирка. Интересно, что слово «таркинг» операторы не любили. Поэтому работа и с тарком, и с вирмирком называлась «вирмиркинг».



Вирмиркинг имел несколько опасных последствий. Во-первых, операторы после дюжины «хождений в тарк» теряли эмоциональный баланс. Ощущения, похожие на знакомый аквалангистам «азотный наркоз»: чувство беспричинного счастья, полноты и красочности жизни, словом, опасное для психики «затаркивание». В этом случае оператор должен прекратить «погружения». Иначе наступает вторая стадия — «вирмировая интоксикация», особенно быстро развивавшаяся, если оператор находился в тарке в момент его замедления или «форсирования». Отравленный тарком оператор перестает отличать реальность от вирмирка, реальность кажется зависимой от его волевых решений. Возможны галлюцинации, например, в виде элементов графического интерфейса посреди улицы или панель инструментов в небе. Каков весь набор последствий и возможно ли полное излечение, неизвестно — клинических исследований не проводилось никаких.

Если «Монитор» предлагал интерпретации данных на языке математических моделей, графиков, цифр, то с помощью «Иллюминатора» миры облекались в материю, «ангелы» спускались во Францию, Италию, Сирию.

— В одном тарке мы столкнулись с языковым барьером, — сказал Бостромов. — Нюансы настолько многочисленны и сложны, что изучение общей картины мало что дает. А ты даже не представляешь, насколько интересно у них там все завертелось.

— А если инициировать тарк с заранее заданными языками?

— Получилось, что тарк, о котором идет речь, с самого начала пустили на самотек. Планировалось, что немного поиграемся с настройками в пределах полутора-двух тысяч лет и переформатируем под нечто актуальное. Так вот, в пределах одного государства возник сепаратистский анклав. Это было бы не более чем любопытно, если бы в точности не воспроизводилась одна реальная ситуацию... О ней я пока не могу говорить... — Губы Бостромова сдернулись в точку. — Мы пытались моделировать ее много раз. Тщательно подбирали параметры — и ни в какую. А тут как будто само собой и один в один... — Бостромов, горько усмехнувшись, махнул рукой. — Да что там, «Иллюминатор» создавался практически под один этот тарк. Мы даже отключили с полста вирмирков, чтобы перебросить туда мощно́сть. Если раньше на серверную вешали табличку: «тарк номер такой-то», то теперь даже в официальной документации пишем: проект «Анчурия»<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Название вымышленной «банановой республики» в повести О. Генри «Короли и капуста».

— А если обучить «болванку» известному языку, чтобы «болванка» стала посредником?

— Не выйдет. Чтобы обучить, нужно уже знать их язык. Получается замкнутый круг. Единственный способ коммуницировать — научиться этому ихнему тарабарскому языку самостоятельно.

— Вот для чего я тут.

— Быстро схватываешь, Вертумн.

## 7.

Впервые подключившись к «болванке», Вертов не испытал ничего особенного, словно спустился в обычную тренировочную Велмири (overWHELMIng REALity — превосходящая реальность), которую даже домохозяйка была способна форматировать под себя. Базовый движок, нечто вроде гончарного круга, куда нашлепывается масса программного кода и затем уже формируется нужная реальность-симулятор. К Велмири, возникнувшей в середине двадцать первого столетия, за два века изрядно привыкли, словно к универсальному домашнему животному, нещадно погоняя его каждый раз, когда реальность ставила естественные пределы, а, например, так хотелось почувствовать себя камикадзе. Инженеры проектировали и воплощали в тренировочных Велмири головокружительные проекты, бойцы спецназа отрабатывали действия при штурме, астрофизики эмулировали экстремальные условия гравитации и радиации разных планет.

Вначале ее посчитали чудом, выдав карт-бланш огромного доверия. Но, будучи грандиозной нейронной сетью, выпечь эта чудо-печка принципиально нового не смогла. Как программисты ни старались, как ни называли ее «искусственным интеллектом» — сначала «условно-искусственным», — внутри нее не спроецировалось даже отдаленного намека на ткань человеческой души. Потому-то Бостромов так скептически отзывался о потугах создать настоящий искусственный интеллект.

Где-то через неделю «хождений» Вертов стал понимать, что природа тарка Анчурия затаила нечто прекрасное, различил в ней оттенки переменчивой женственной природы. Дело было не в огромном многообразии подвижной жизни и реалистичности ее исполнения, Анчурия,

случайный привесок игры, действовала сама по себе, возникшая ни для Вертова, ни для иного «ангела»; в ее основе сбраживались алгоритмические просчеты и фантомные вероятности, помноженные на допущения, дисбалансы.

Возникшая случайно, она стала домом для бедуинов, для «ментальных фараонов», для Аллеха — мальчика-сектанта в сепаратистском анклав, «ангельской болванки». Вертов выбрал Аллеха, тихого пятнадцатилетнего бедуина — немого то ли от рождения, то ли в результате несчастного случая, — из-за его неприметности и речевого порока. Почти все в истории этого анклава и его жителей было неясно. «Бортовой журнал» вирмирка забросили почти сразу после запуска. Никакой документации не было. Вирмиркер Левкоев, набросав условия и параметры буквально на коленке, оставил ее на самотек, не включив даже автоматическое логирование. Через два месяца, заметив уведомления, что на сервере заканчивается свободное место, он вызвал «Монитор» просчитать для разных локусов набор «параметров выживания». Когда через двадцать часов они все еще вычислялись, вирмиркер занервничал, а через сутки команде «Стилобата» предстала новая планета, вызревшая жемчужиной в створках серверов.

Та Анчурия, которую застал Вертов, была, конечно, специфическим местом. Во многом схожая с Землей, она тасовала эпохи, смешав, переворотив технологии и историческую логику.

В мозаике анчурских народов выделялись, например, те, кого называли «китайцами»: высокие голубоглазые блондины, один в один чистокровные арийцы, в национальном характере которых тлело желание все копировать и выдавать за собственное изобретение. Они создали цивилизацию, ставшую настолько точной копией других, что само понятие копии утрачивало смысл.

Были и другие нации-перевертыши. Например, так называемые «американцы», неспешливая, добродушная нация зеленоглазых и ирландски рыжих людей. Иронично «американцами» их назвали из-за неискоренимой тяги к потреблению.

Были «египтяне», которые больше всего соответствовали высокотехнологичным японцам. Они занимались «ментальной археологией будущего». С изящной выдумкой, предназначенной для болезненного тщеславия, они создавали «ментальные пирамиды» — эдакие мифологические надстройки над личностью. Например, если кто-нибудь хотел

войти в историю футболистом, президентом или олигархом-филантропом, под него создавали массу фиктивной литературы, фильмов, других следов деятельности. Стоило это очень дорого, и позволить себе «ментальную пирамиду» могли только очень богатые граждане Анчурии. Многих из них, едва успевших дожидаться постройки или только заказавших «пирамиду», конкуренты по бизнесу отправляли по назначению — в историю. Почти сразу такая индивидуальная «пирамида» после захоронения «фараона» подвергалась разграблению. Черные «ментальные археологи» еще долго торговали артефактами и даже «ментальными останками» усопшего «фараона». На всем этом «египтяне» неплохо зарабатывали.

Можно было бесконечно долго изучать этот мир, но Вертов должен был сосредоточиться на своем локусе — на сепаратистском анклав.

Сепаратистский анклав изнутри распирал Джаддарское царство, территорию вызревания древних цивилизаций, ютившихся в пышных оазисах, обожженных пустыней. Из века в век в Джаддаре тлела война за обладание этой пустыней. Там зародились три мировые религии, туда шли паломники, а оттуда распространялись фанатики. Когда на шельфе соленого озера открыли нефть, буйные головы стали воевать за независимость своей территории, клочок земли вокруг нефти. Не обошлось без тайной поддержки стран мировой экономики, им тоже нужна была нефть. Они спонсировали партизан, минно-диверсионные войны, коррупцию марионеточных правительств, наркопроизводство, работорговлю, таким образом спровоцировав возникновение средневекового квазигосударства, террористического анклава, вооруженного современными автоматами и артиллерией. Одну из религий Джаддары, схожую с буддизмом, сепаратисты упростили до умещавшейся в кармане памятки. Ее положения служили как бы манифестом оправдания войны, направленным вовне, мировой общественности, но едва понятные рядовому сектанту.

Главным в этой религии была идея, близкая к буддистской «сдаче», «непротивлению», «нежному плену». Но сепаратистам, чаще заглядывавшим внутрь автоматов, чем в памятку, это было ни к чему.

Что здесь увидели вирмиркеры и прежде всего Бостромов? По пустыне шли караваны верблюдов, которых погоняли полудикие местные племена. Чуть более цивилизованные повстанцы снабжали

их оружием. А вместе они нападали на остатки государственности, которые еще держались в осаждаемых городах Джаддары. И тогда Бостромов вообразил столкновение коренных племен и пришлой цивилизации. Должно быть, это священная религиозная война, подумал он, хотя на деле был очередной случай банальной дележки карты с месторождением нефти.

8.

— Ладно, я спать...— устало сказал Вертов, отключаясь от «ангельского нимба» — так называли аппаратуру для подключения к вирмирку.

Вирмиркер Средков, ассистировавший ему, кивнул, угрюмо пожелав спокойной ночи.

Надо хотя б подремать, перебарывая нездоровое возбуждение, пережитое только что. В Анчурии произошло нечто странное, Алексу до сих пор казалось, будто он так и не вернулся в реальность, а проторил за собой светящуюся тропинку для чужого мира. Выспаться не удалось: янтарная рябь мерцала перед глазами, а часа через два прозвучал сигнал общего сбора. Послышались разговоры и шаги. В конференц-зале Алекс был минут через десять. Сотрудники уже толпились возле двух экранов, на которые транслировалась картинка: группа «индейцев Марса» в окружении верблюдов. «Индейцы» эти были самые натуральные арабы: укутанные в клетчатые куфии, в длиннополые бурнусы. Они сидели посреди дороги, вертикально держа свои воздушные ружья, похожие на музыкальные инструменты. Способные к стрельбе, они использовались и для гармоничных звукоизвлечений, и были похожи на пики, с широкими, как раструбы, завершениями.

Между экранами стоял Бостромов со сведенными в точку губами.

— Географическое положение «Стилобата» таково, — сказал он, — что с ближайшей колонией «Гершель» нас связывает единственная дорога. Там же ближайшая русская миссия. Повстанцы, которые так лихо расселись перед «Стилобатом», — Бостромов мрачно усмехнулся, — пытаются устроить нам нечто вроде блокады. Наша задача — не поддаваться на провокации. «Стилобат» — чрезвычайно укрепленное здание. Беспокоиться не о чем. Собрание носит информационный характер. Попрошу воздержаться от любых действий за пределами станции... Всё. Все свободны.

В течение дня сотрудники время от времени заходили посмотреть, не изменилось ли что с индейцами. К полудню те стали мерно покачиваться, словно загипнотизированные кобры. Беззвучная картинка была, как мираж, один из тех, что ежесекундно просчитывались в тарке Анчурия. Индейцы распустили куфии, глаза их были закрыты, рукоятки ружей на уровне подбородка. Верблюды, длинноногие, с шишкатыми коленями, лысоватые и круглоголовые, словно гигантские коты породы «сфинкс», лежали вокруг.

Вечером внутрь «Стилобата» проникла отточенная, дикая мелодия, которая словно зывала к далекому слушателю в степи. Музыка резко, пронзительно вспыхивала и медленно угасала. На нервы это действовало неприятно, будто перед глазами проводили блестящее лезвие.

Упавшие сумерки прекратили звук.

## 9.

Бостромов стал настойчиво торопить Алекса, раскрыв, наконец, всю подоплеку интереса к Анчурии. Он был уверен, что анчурские бедуины и марсианские «индейцы», показавшиеся несколько дней назад перед «Стилобатом», как-то связаны. Точнее, необходимо, обязательно связаны. Он даже рассчитал вероятность такой связи, которую назвал «совпадением вирмирк-реальностной корреляции». По какому-то математическому закону, реальность и виртуальность имеют точки пересечения, и в данном случае пересечением был тарк с Анчурией. Ник просил пока об этом молчать. Алекс уловил тревогу и неуверенность в голосе Ника, когда тот заново формулировал задачу: «Поняв язык анчурских сепаратистов, мы сможем разгадать замыслы “индейцев”, шастающих вокруг “Стилобата”».

Вертов в это не верил. Он ничего не знал про «индейцев Марса», зато у анчурских бедуинов была своя тайна, или, как они сами говорили, «чудо». И это «чудо» Алекс хранил в секрете.

В последнее «погружение» он снова был «ангелом» и в чужом обличье жил на окраине города среди пустыни. В тот день западные кварталы бомбили, горели здания, и дым поднимался клубящимися кулаками, которые, вытягиваясь вверх, словно угрожали обрушиться испепеляющим ударом. Стиснутая между ними, виднелась стрела

минарета, совершенно белая, не тронутая копотью и разрушением. Сегодняшняя артподготовка кружилась вокруг нее, но цель, оставаясь на самом виду, раз за разом ускользала. Когда уже казалось, что бой затих, на минарет, выпустив несколько ракет, спикировали два самолета. Город трянуло с такой силой, что полторы тысячи лет его истории промелькнули в памяти скалы, лежавшей в его основании. Скала устояла, но новое потрясение затмило все, что город помнил, как будто он упал и лежит в жутком, беспомощном ошеломлении. Удар пришелся по центру города. Пыль оттуда спускалась по улицам полупрозрачной, медленной лавиной. От прямого попадания рухнула громадная высотка, и эхо страшного взрыва, прозвучавшего час назад, все еще оседало бетонной пылью.

Аллех вышел из укрытия, придерживая автомат, осмотрел улицу, покрытую серым налетом. В просвете стоял мелкодисперсный, непродыхаемый туман. Закатное солнце превращало его в багровый полумрак. Аллех испытал то ощущение, когда «ангел пришел». Словно весь светишься, наполненный, как эта улица, шершавым песчаным туманом, и в глубине тебя, как в палатке, освещенной изнутри, оживает тень — всезнающий ангел. Аллеху становилось легко и радостно, он понимал в себе все, кроме темного островка в сердцевине души. Это ангел, дарующий всеведение, изумлялся тому, что Аллеху было понятно без слов. Но в этот раз между Аллехом и ангелом проскочила искра, разряд единения, и тень исчезла, и стало полностью ярко, и мальчик проникся ангельским знанием, что все едино. Что пыль, дома и сам он — миллионы строк программного кода и точные математические формулы, то есть слова. Пыль — слова, и город — слова, и пустыня, и весь мир, и Аллех — все это разноцветные, по-разному зашифрованные слова. И как же удивится Бостромов, когда я расскажу о самой большой их тайне, о «чуде». И что их «чудо» — это знание о предрешенности, которой необходимо сдаться.

Аллех ужаснулся этому чужому внутреннему голосу. И в тот же момент сознания Алекса и Аллеха переплавились в единый свет, исполнились абсолютной уверенности, что можно убедиться в предрешенности, прикоснуться к ней, и тем самым победить ее, словно до этого все было сон, а сейчас они прозрели явь. Алекс-Аллех вытянул руки, частицы пыли мелко, бешено задрожали, накалились, туман рассекли молнии, замерли кровянистыми нитями, пронзившими янтарный запекшийся свет. И время остановилось. И обратилось вспять.

И снова замерло. Так в часовом механизме трогаешь шестерню, и детали, связанные с ней, послушно выполняют фигуру механического танца, описывая обратимые вперед-назад движения, в которых как будто что-то зашифровано. Движение во времени?

Алекса пронзило чувство всемогущества, полнокровной эйфории, совершенного счастья, в котором время и весь мир обратились в его собственное тело, послушное, идеально подчиненное.

10.

Случай с «индейцами», казалось, не имел последствий. Через неделю снова разрешили выезды в степь. Обычно Алекс выбирался со Средковым, молчаливым, замкнутым вирмиркером, ассистировавшим ему. Тот ставил ловушки на мелких зверьков, что-то наблюдал, данные отправлял на Землю, а вообще писал научный труд по местной разновидности, кажется, полевки. Говорил, что в эволюционной перспективе она отрастит хоботок и займет нишу муравьеда. На выездах Средков уединялся, брал тетрадь и что-то записывал в нее обычной ручкой. Чудак, и чего он оригинальничает?

В этот раз вместе с Алексом ехал программист Емелин. Бездорожник поставили возле мелкого болотца, под его тент залетала серая бабочка, которую снова выгоняли, беспамятную, или каждый раз это был новый безымянный мотылек, копия предыдущего. Полустепь тихо, ярко цвела. Слышался острый птичий восклик, звук насекомых, писк грызунов, жалобное мяуканье марсианской степной кошки и гул полуночи, перестук прошлого с будущим — невероятно далекий «Бедуин» бежал по шпалам.

Емелин был полной противоположностью Средкову, болтал безумолчно и обладал феноменальной памятью. Рассказывал он странные вещи, о существовании которых Вертов ничего не знал.

Второй волне переселенцев, засекреченной, присвоили кодовое имя — Детский крестовый поход. Если первая волна хлынула на территории западного полушария, возле местности земля Аравия, где теперь процветают так называемые «аравийские бароны» — частный сектор богатеев: виллы, обводненные долины с декоративными видами, мощеная «Аппиева дорога» и другие атрибуты некоторой



условной «великолепной эпохи», — то новых поселенцев перебросили в восточное полушарие, на равнину Эллизий.

Вторую волну составили дети, земные сироты. На Марс не только можно было сбывать излишки земного населения, здесь требовались трудовые руки, много рук. В добавок планировался социальный эксперимент — воспитать поколение совершенно новых, морально здоровых людей, которое никогда не возникло бы на старом, пропитанном гарью истории месте. Здесь все начинали заново, воспитывали новых людей, которые построят будущее — для экспорта на Землю. Триста деток принялись возвращать лучшие педагоги и специалисты в своих областях. Детей готовили к тому, что они вырастут в больших руководителях, крупных ученых, мировых учителей, которые вернутся на Землю, словно новые пророки, и преобразят ее. Идея об «инкубаторе гениев» была вполне здоровой, и первое поколение дало много талантливых ученых: кто-то включился в преобразование Марса, кто-то отправился на Землю. Но поистине взрывообразное число новых людей пришлось на второе поколение, зачатое и возвращенное здесь. Среди них были точно гениальные ученые, а один — доподлинно сверхчеловек, прихода которого никто не ждал. Сейчас его настоящее имя неизвестно, затерто легендами. В памяти он остался как Дро Медар. Это был гений, влюбленный в Марс. Первый, выглядевший как сейчас все местные. Они стали появляться только через три-четыре поколения спустя. А он уже тогда был таким.

— Да-да,— подсказал Вертов,— с овальной башкой, худющие и длинные.

Будучи подростком, Дро Медар изъездил всю планету, помнил ее ландшафты назубок, знал ее, как собственное тело, чувствовал эту землю, слышал ее, вырос из нее, как прах из праха ее. Говорят, ему было видение будущего Марса, каким он еще не скоро станет: с транспортной, ирригационной системами, полностью обводненный, с настоящими лесами. В двадцать его отправили стажироваться на Землю, и там произошла его окончательная, как говорят его последователи, «конфирмация в Органической Религии». Во время перелета ему было видение, в котором Вселенная предстала грандиозным животным. Верблюдом. А на Земле он утвердился в мысли, что Детский крестовый поход неслучаен и что сам он часть большого замысла. Землю увидел он старой, умудренной и гибнущей. С этого момента начинается новая страница в истории Марса. Изучив историю Земли,

побывав во многих ее местах, он вернулся через два года и постулировал Второй Детский крестовый поход, или, по терминологии его сторонников, Первый исход из колонии «Эллизий». Новые «триста отроков» и Дро Медар ушли на юг, через горы Непентес, образовав колонию «Гесперия».

— Ничего о ней не слышал, — задумчиво сказал Вертов.

Под тентом билась новая бабочка. «Или, — подумалось, — та же самая. Одна-единственная на всю долину. Надо бы ее как-то пометить. Дать имя. Если назовешь и скажешь: “Лети, Махаон, ты свободен”, она больше не вернется. А безымянная, неназванная, так и будет возвращаться». Он протянул руку, чтобы тронуть ее.

— Теперь это головная боль местных властей.

— «Гесперия»? — Вертов привстал на локте.

— Да. Сепаратисты, фанатики, сектанты.

Для Алекса начинала проясняться общая картина вокруг «Стилобата».

Итак, Дро Медар потребовал независимости для Марса: вы хотели настоящих новых людей, обратился он к властям, вы хотели новой истории, незапачканной прошлым Земли? Тогда отпустите нас в собственный путь, не привязывайте к себе, и мы вернемся к вам, через год или сто лет, когда будем готовы, когда сочтем это нужным, и после этого обновим весь мир.

Каким был Дро? Фотолетопись сохранила его в основном в юношеском возрасте. Вот Дро побеждает на Всемарсианской олимпиаде по математике, вот, уже повзрослевший, на фоне небоскребов Нью-Йорка, в Тихом океане на плоту — сам не свой, чуждый водной стихии. Вот с арабскими официальными лицами на Ближнем Востоке — в хиджабе, улыбается, чувствует себя своим. И вдруг где-то посреди бесконечной марсианской степи: сзади угадывается силуэт Олимпа и сам он в куфий, гладит верблюжью морду, взгляд обращен в глаза животного, сосредоточенный, никакого ему нет дела до объектива. Дро понимал Марс интуитивно, будто был его волоском и чувствовал кожу, песчаные и реголитовые мышцы планеты, залежи каменных костей, какие-то смутные его беспокойные внутренности, все те пещеры, куда он позже уведет своих сторонников. Пока он был ученым, возглавлял экспедиции, исследовал природные зоны и возможности планеты, все время составлял списки животных, растений и всего остального, что, по его

мнению, приживется на Марсе. Особое внимание уделял верблюду, у него было даже что-то вроде культа этого животного — так, под конец своей научной деятельности, он сам стал на него похож: худой, длинношей; последние его известные фото — с кадыком, поросшим, словно колючка, рыжей щетиной, и взглядом, уже никому не принадлежащим — только своей идее. Говорят, он баловался с верблюжьим геномом, путался с ним, вживляя себе ДНК этого изумительного животного. Миф, конечно, но весьма показательный. Он отбросил свое образование, обширные познания в точных науках. Власти ему не верили, все больше и больше требовали новых многолетних исследований, подтверждений, что мхи, карликовые деревья, верблюды и мелкие грызуны приживутся здесь, как родные. Именно тогда Дро из протеста объявил свой «Великий Исход». Потом ему придется тайно сговариваться с другими колонистами, сноситься с Землей, контрабандой доставать семена, зародыши животных в пробирках, которые привезут марсианские фермеры, пионеры-целинники. И все это он разбрасывал, сеял по планете. Нынешние экосистемы — цветы и плоды трудов его. Верблюды, без которых немислим Марс, и те завезены именно так — *in vitro*.

Колония «Гесперия» — превосходный образец гармоничного существования культурного человека почти в первобытных условиях. Много бралось из традиций античности и арабского наследия. «Экологическая тишина» — так это называлось. Натуральное хозяйство и знания тысячелетий, пронзающие время, интуиция и биотехнологии. Они все-таки проводили генетические исследования, наверняка с последствиями, с производством гремучего материала, в результате вываривалась какая-то новая концепция марсианской жизни. Неизвестно, удалось ли. Век Дро, словно новый «золотой век Перикла», породил ученых и философов. «Планета Меланхолия» — элегический образ, наследие безымянного поэта тех времен. Было это век назад.

Мотылек снова бился о брезент, словно капля, ближе и ближе, тук, тук, тут, тут, пока Вертов не вывернул полог и не выпустил бесцветное, незрячее насекомое в холодное пространство. На шум и торканье вслед за последними мгновениями мотылька пробежал беззвучный геккон, остановившись на кромке в ночь — холодно, — и, что-то надумав, скрылся в темноту.

Затем, уже после Дро Медара, был организован Второй крестовый поход. Последователи Дро выдумали какую-то новую идею, а по сути — ересь, ибо то, что они предлагали, не очень вязалось с разумным планом «экологически тихого» освоения планеты. Они назвали себя «индейцы Марса» и ушли, забрав верблюдов и примитивный скарб, на юг от Эллизия, в Киммерийские долины, в Тирренские горы. Не желая никакой, даже примитивной, промышленности, никакого отношения к труду через механизмы, они усвоили: любой избыточный труд будет повторением Земли, которой надо избегать, как мысль о грехе. Сама Земля стала для них проклятым местом, откуда бежал их пророк Дро Медар. Научившись виртуозно управлять верблюдами, они рассекали просторы Марса, мирные кочевники, за столетие разделившиеся на множество кланов.

Но пять лет назад «индейцы» обратились к дерзким, быстрым набегам на крошечные колонии, в первую очередь, научные станции, уничтожая механизмы, полезные и для них самих: машины по очистке грунтовых вод, к примеру. Тогда и случилось первое нападение на «Стилобат». А после второго его окружили забором и поставили вышки с охраной. Впрочем, набег «индейцев» демонстрировали скорее их раздражение против ученых и властей, нежели были реальной угрозой. На год-два они ушли из этих мест.

Надо сказать, Дро Медар — личность для властей до сих пор опасная, конец его жизни связан с расформированием «Гесперии» как незаконного анклава. По одним сведениям, он погиб или скрылся, одинокий, преследуемый, по ту сторону равнины Исида, по другим — спрятан в криокамере, из которой, как говорят индейцы, «да возвратится Дро верхом на верблюде, веком минувший, да обновленный». Так гласит миф. По еще одной легенде, Дро оцифровал свое сознание и спрятал его матрицу в горах Ливии. Якобы цифровая личность героя ждет своего времени, чтобы, запущенная в подземных лабораториях, попасть на конвейер и воспроизводиться, воспроизводиться до тех пор, пока из нее не будет составлена целая армия, которая изгонит чуждую технологическую цивилизацию Земли и повсеместно установит «экологическую тишину». Но для этого должны наступить уж совсем последние времена.

И вот недавно колония снова раскололась, и вместе с Третьим Исходом зажглась и новая ересь. Ее поддержали фанатики, решившись

на открытую войну с властями. Во главе стоял не кто иной, как якобы воскресший Дро Медар. Конечно, это какой-то сумасшедший или авантюрист, вещавший, что покинул криокамеру, как и обещал, по прошествии предсказанных ста лет, и теперь ведет войну за освобождение Марса. И вот тогда нападения на «Стилобат» стали по-настоящему опасны. В отличие от «индейцев» эти, во главе с Лжедро, использовали всю технику, все оружие, которое могли достать. Сепаратисты не чурались никаких технологий, захватывали в колониях и городах все, что попадалось под руку, по сути, ведя борьбу за власть и лишь прикрываясь знаменем, на котором осталось выцветшее изображение легенды — Дро Медара, ученого-интуитивиста. Тогда мы всерьез задумались об охране станции.

Вертов подумал, что версия Бостромова, может быть, не так уж далека от истины.

— И что ты думаешь про воскрешение Дро Медара? — спросил он Емелина.

— Вранье. Криогенные технологии очень сложны. Я уж не говорю об оцифровке личности. В условиях Марса сто лет назад вся техника такого уровня была только у ученых. Колонии технологически оснащены были очень скромно.

— А если Дро сбежал на Землю? У него же были связи.

— Гипотетически, конечно, возможно... «Гесперию», по слухам, спонсировали арабские шейхи. Но на самом деле, я думаю, все проще. Дро потерпел поражение, бежал в горы или предгорья Ливии. И когда-нибудь найдут в ущелье хижинку, где, как того и следует ожидать, закончил свои дни легенда Марса — Дро Медар...

## 11.

Под утро со стороны дороги выскочила целая орда наездников и, обстреляв «Стилобат» хаотическим, разнокалиберным огнем, ушла в туман, смешанный с пылью от верблюдов. К этому были готовы, в ответ не прозвучало ни выстрела. Бить на поражение решили в крайнем случае. Через час в тыл ударила артиллерия. Атака оказалась неожиданной, так как оборону направили в противоположную сторону — к дороге. Обстрел «индейцев» стал отвлекающим маневром.

Снаряды ложились на здание ударами беспощадного молота, сотрясая западную часть. Включилось аварийное энергоснабжение, тарки на время заглушили, несколько вирмирок безвозвратно свернули. Когда перегруппировали орудия и повели ответный огонь в сторону плато, от дороги подскочили первые нападавшие, усиленные автоматами. «Стилобат» съезжился под прицельным двусторонним огнем. Сигнал бедствия, который следовало дать после первых выстрелов артиллерии, приняла международная станция «Карфаген». На Эритрейском плато базировались его боевые самолеты. Лету оттуда не больше двух часов, предстояла недолгая, но опасная осада, исход которой мог оказаться не в пользу «Стилобата». Завязался бой, с обеих сторон были раненые, но нападавшие несли более серьезные потери. Через час обстрел стал затихать, потом прекратился, и со стороны дороги донеслись знакомые звуки — заиграл тот же духовой оркестрик, что и две недели назад. Бостромов спешно отправил «Карфагену» сообщение: атака отбита, отбой.

Разведдроны, пошарив по местности, видели на плато несколько разбитых машин с артиллерийскими орудиями, а нападавшие со стороны дороги спешно прятались в скалах, затаив, вероятно, новые атаки. Один дрон, летевший над дорогой, был сбит, но успел передать картинку: несколько убитых верблюдов. Людей не было. Бостромов облегченно выдохнул. Он жалел, что в минуту отчаяния дал сигнал бедствия: на «Стилобате» лежал гриф секретности, для всего мира здесь обсерватория, а не лаборатория политических вирмирок, и вмешательство любых международных сил крайне нежелательно.

Нападения повстанцев случались и раньше, «Стилобат» и до этого обстреливали, но это были комариные укусы по сравнению с тем, что устроили сегодня: бомбардировка тяжелой артиллерией. Объявив «Стилобат» на осадном положении, решили справляться собственными силами. Бостромов был уверен, что сегодняшней бой — это все, на что способны повстанцы. Обрушив все силы сразу, они намеревались застать станцию врасплох, но получили сильный отпор. Новые атаки будут гораздо слабее. «Стилобат» с реактором и запасами продовольствия дождетя, пока повстанцы уйдут сами. Вооруженное подкрепление Конгломерата, расположенное в восточном полушарии, решили пока не задействовать. Это неизбежно привлекло бы международное внимание, чего Конгломерату ни под каким видом делать не следовало.

12.

Бостромов, изможденный больше обычного, с озабоченным, потемневшим лицом, носился по «Стилобату», не различая ни дня, ни ночи, поймать его было невозможно: Вертов мог поклясться, что видел, как тот, словно демон, исчезал в коридорах. «Стилобат» затаился, как раненый зверь. Энергию экономили, вирмирки заглушали один за другим, на тарки отмеривали аварийные порции. Вход в Анчурию приостановили. Сотрудники скучали в полутьме. Оставалось шляться между лабораториями да тихонько, из-под полы употреблять местный самогон — пара вирмиркеров, с которыми успел снюхаться Вертов, называли его «абстрактный».

Во главе «абстракционистов» стоял Амазулов, крупный чернокожий с мягкими детскими чертами лица, оператор вирмирков высшей категории, всю неделю живописавший Вертову утраченный bestiary виртуальных миров. Погибли платоновские вирмирки с миром идей и аристотелевские с хрустальными сферами. Погиб зеноновский вирмирок, где Ахиллес уменьшается пропорционально размеру шага, превращаясь в точку, которая зарывается в пространство. Амазулов оплакивал миллион нереализованных апорий, о которых Зенон и софисты могли только мечтать. Вирмирок для него был чем-то вроде философского волшебного сундучка, материализующий в обход закона сохранения энергии любую вещь и знание. Все бы хорошо, только из виртуальности вытащить ничего нельзя.

— Выпьем же за последнюю оставшуюся виртуальную реальность, — стонал, поднимая чарку, Бигмалов, ассистент Амазулова. — А именно: за наше собственное сознание!

Кружок «абстракционистов» отыскал в чулане списанные сервера на отработанных аккумуляторах и запустил вирмирок, который, по мнению Бигмалова, должен стать домом гегелевского Абсолюта.

— Вот увидите, — сокрушался он, — искусственный интеллект на глиняных ногах поймет, что он одинок и выброшен из биологического потока... Бедное, бедное самосознание, оно блуждает внутри себя и постоянно задается вопросом — «зачем»? Ведь оно, увы, увы, не имеет в себе ника-а-акого целеполагания...

И тут, чтобы Вертова совсем не испортили, наконец появляется Бостромов, и разговор с ним идет на повышенных тонах.

— Ну что, есть какой-нибудь результат? — спросил он в крайнем раздражении.

Вертов хотел было разразиться потоком слов об откровении, настигшим его в последнем «погружении», о «чуде», о том, что он остановил время, управлял компьютерной симуляцией. Но теперь, сдерживаясь, взвешивал каждое слово.

— Пишу рапорт, скоро будет готов...

— Я уже смотрел распечатку, ты мне нормально скажи, что там случилось. И есть какие-нибудь успехи в дешифровке языка? Ждем только твоих результатов. Можем на них рассчитывать?

— Нет... пока не можем.

— Никаких результатов. Замечательно. Месяц прошел. Хоть что-нибудь у тебя есть?

— Есть. Первичное описание языка.

— Что значит «первичное»?

— Есть подозрение, что... будто система... постоянно подстраивается.

— Что за ерунда? Можешь сказать более определенно?

— Я думаю, — сдержанно сказал Вертов, — Анчурия — не виртуальная симуляция, а зародыш искусственного интеллекта...

— Да ну? — Бостромов, потемневший от усталости и злости, рассмеялся. — Я несколько наслышан о твоих беседах по поводу «интеллекта на глиняных ногах». Так что не удивлен. Но расстроен. Алекс, я рассчитывал на твою профессиональную помощь. Что мы расшифруем язык этих виртуальных бедуинов и будем в курсе, чего нам ожидать от наших собственных повстанцев.

— Я не верю, что они как-то связаны...

— Мне все равно, во что ты веришь. Готовь рапорт о последнем погружении. И это твое «первичное описание». — Бостромов, сжав губы в точку, отвернулся.

### 13.

— Знаешь про вирмировую интоксикацию? У тебя с этим все в порядке? — спросил Бигмалов, которого Алекс просил ассистировать.

Поведение и внешность Вертова настораживали: одышка, тревожный взгляд, лихорадочные улыбки. Алекс решил подключиться к Анчурии без ведома Ника. Во чтобы то ни стало следовало про-



верить: способен ли тарк самостоятельно перестраивать параметры и скрывать от «Иллюминатора» данные. Да, и не держит ли он Вертова за дурака.

«Пусть только попробует,— посмеивался про себя Алекс, замечая это свое нездоровое возбуждение.— Мы тебя щелк... мы тебя щелк... полетят клочки по закоулочкам, перельются тарки да по вирмиркам».

— В порядке,— ответил Вертов, подключаясь к «нимбу».— Под мою ответственность.

— Ну... тогда лады,— сдавленно промямлил ассистент,— тогда пробуем.

Ранее Алекс провел громадную работу по дешифровке. С самого начала он определил язык анчурских бедуинов в группу полинезийских. По структуре синтаксиса, по словоизменительной парадигме, по специальным частицам множественности,— если бы не лексика, его можно было бы считать полинезийским. Так опытный механик по звуку определяет модель двигателя. Но потом что-то стало меняться. Алекс связал перемену с «форсированием». Тут и там выдвинулись целые массивы новой лексики. Алекс провел другой анализ, показавший, что теперь язык подходит под описание давно забытого и редкого диалекта из семейства койсанских языков, фонетически очень сложного. И все чаще Алекс с досадой чувствовал, что его определенно дурят, водят за нос, замечают прежние следы. Языковой строй как будто постоянно плыл, и Алекс, как ни старался, не мог найти подходящую аналогию среди знакомых языков. Тогда он сравнил его с шумерским и с другими, уже давно мертвыми языками. И снова попал в цель. Язык двигался, менялся, мутировал. Но это было не развитие, а какое-то расползание, самоисследование — от параметров, заложенных операторами, к пределам, уходящим гораздо дальше, чем знания Алекса о языке.

Была, с точки зрения Вертова, единственная возможность, которая позволила бы контролировать тарк — Алекс решил управлять им, как произошло в последний раз. Объединив свое сознание с тарком, он мог бы проверить гипотезу о зарождении «истинного искусственного интеллекта». Это могло стать симбиозом человека и виртуальности. Но не успел. Бигмалов, заметив, что в сети падает напряжение, включил принудительный выход из «Иллюминатора».

## 14.

Для станции настали темные времена. Реактор едва-едва теплился, вырабатывая энергию для вентиляции, поддерживая два-три тарка. Остатки шли на освещение: пары, конденсаты электричества. «Стилобат» угасал. Уже готовились глушить реактор, но до последнего надеялись, что не придется. Что дождутся помощи Конгломерата, спешившей из восточного полушария. Это была крайняя мера, но сами справиться с аварией из-за пробившего стену снаряда уже не могли. Да и со стороны дороги по утрам приходили бедуины. Постреливали в туман и играли свою мелодию, днем возвращались в недалекие горы.

Была весна, сезон утренних и вечерних рос, когда пустыни зарастают повиликой. На боках «Стилобата» лежал свет заходящего солнца. Вниз по стене вела едва заметная лесенка. От вышки с прожектором падала длинная, вязнувшая в песке тень. Нагретый за день бетон возвращал тепло в степь. Вертов посмотрел на всю эту красоту, потер трехдневную щетину и взглянул на изгиб стены — они с Бостромовым ютились на самом кончике огромного бетонного яйца — на вершине «Стилобата». Ник провел Алекса сюда своими тайными ходами.

— Кто такой Дро Медар? — наконец спросил Алекс. — Почему ты сразу не сказал, что все так серьезно?

— О том, что это государственная задача? Анализировать и предвидеть действия сепаратистов? Алекс, дорогой, хотел бы я быть на твоём месте, спокойненько спать, прилежненько заниматься дешифровкой, выезжать в степь подышать воздухом, полюбоваться красотами. Глядишь, через пару месяцев закончил бы работу, собрал манатки и убрался восвояси. То, что ты узнал про индейцев или про что еще, — не твоя забота. А теперь даже и не государственная...

— И все-таки...

— Индейцы эти? — Ник усмехнулся. — Да сброд обычный. Кто-то ушел из городов, кто-то из колоний. Они в общем-то безобидные. У них культ верблюда, мелодические стрелялки и остатки представлений об «экологической тишине». Но вот «третья ересь»... — Ник поджал губы, — те самые сепаратисты, которые все это заварили, это уже самое настоящее зло. И важно, кто их всех собрал и объявил себя новым Дро Медаром... — В голосе появилась злость и неожиданная для Ника обида. — Пока мы играли в виртуальные войнушки, стали проигрывать

реальность... В какой-то момент что-то упустили, слишком поверили в себя, что ли... В технологическое превосходство.

— Ты сказал, не государственная забота, а чья тогда?

Алекс понимал, что здесь, в стоящей посреди марсианской степи, бетонной цитадели вся ответственность была на Бостромове, одиноком разведчике в глубоком тылу врага без права на отпуск. Так бывает: приезжие, словно загар, приобретают сходство с аборигенами. А местная вода, еда, дороги, изгибы которых повторяешь, образ мышления, перенимаемый с речью, — все это довершает работу и втирается во внешность. А с Ником так вообще все совпало. Высокий, с бледной, оттенка ваты, кожей, с вытянутым, овальным куполом головы. В школе даже сплетничали, что его отец уроженец Марса, настолько он выглядел не по-земному. Так значит, это была его личная забота, его судьба.

Бостромов отмахнулся, улыбаясь заходящему солнцу: оно еще долго будет стоять над горизонтом.

— Лучше расскажи, какие у тебя успехи? — спросил он.

— У них есть «чудо», — сказал Алекс. — Они это так называют. Элемент религии, похожей на буддизм. Возможно, бедуины из-за частых слияний «ангелов» с «болванками» могли воспринять часть нашей информации и развить ее в идею о перерождении, множестве миров и тому подобном. Будто индуистские боги спускаются на землю в человеческом облике. Похоже, мы сильно наследили в тарке.

— Интересная мысль. Займись ей как-нибудь на досуге. — Ник хлопал Алекса по плечу. — Не забудь. Может, даже сегодня. Собери записи с дешифровками и напиши про марсианских богов, которые спускались в бедные бедуинские головы.

— Да, будет о чем рассказать культурологам.

— Ты спрашиваешь, кто такой Дро? — сказал Ник, пристально глядя на Алекса. — Считаю, это кто угодно. Легенда, дух планеты, местный Гильгамеш, культурный герой. Его никогда не было. Дро Медар — им мог быть и я.

К полуночи начались перебои с электричеством, подключили последние аккумуляторы. «Стилобат» погрузился в полную тишину. Для вентиляции открыли аварийные шлюзы. Теплый сквозняк, наполнивший коридоры запахами далекой степи, беззастенчиво гулял по станции.

15.

Вертов не мог сообразить, был ли это сон. Раздались выстрелы, потом крики, гулкий топот стал наполнять станцию. Где-то — в соседнем коридоре или на другом этаже — бежали люди, падали шкафы, гремела стрельба, голоса, стократно отраженные, рушились справа и слева. Алекс, на секунду пораженный шумом, вскочил с кровати, выбежал в коридор, машинально ткнулся в соседнюю лабораторию. Тусклая лампочка билась в конвульсиях. Вертов различил померкшие сервера, из аккуратно сложенной документации выхватил папку с дешифровками, распечатанными на случай отключения электричества. Затем так же машинально нырнул в ту часть коридоров, которыми Бостромов водил его на крышу станции, оттуда — наружу и по тонкой лесенке вниз, оказавшись на задворках здания. Перестрелка шла с фронтальной части, здесь, на противоположной стороне, было тихо. Добежав до полевой дороги, скатился по склону, чуть отдышался и, пригибаясь, побежал в степь. За спиной, в глубине «Стилобата», гулко звучали выстрелы. Начинался рассвет.

Вертов направился в сторону болотца, куда часто выезжал со Средковым. Там виднелся Каньон, где Вертов ни разу не был. Туда стекались ручьи и речушки, роицы сопровождали овраги, что-то древнегреческое мерещилось во всем этом пейзаже. Главное, что там ходил «Бедуин». Предстояло пройти эту эллинскую долину, спуститься в Каньон и, сев на рельсы, ждать поезд-караван. Два-три дня на дорогу. Вода в родниках, а с едой придется туго. Но Алекс прибодрился, чувствуя, что начинается путешествие. Ему предстоит увидеть новый, неведомый Марс — древнегреческий, тосканский и корсиканский. Может быть, даже австралийский. В дорожной пыли отпечатались следы бездорожника — «третьего дня», сказал бы следопыт, — и верблюжьи: вероятно, вчерашние. Из хищников — только марсианская степная кошка. А еще мелкие грызуны да безлетная птица. Так, кошки-мышки.

Медленно светало. Пели неземные птицы, цветочными, расцветающими голосами. Насекомые, стремясь в рассвет, замороженно смотрели на бледно-розовое солнце. Влекло уйти в эту страну и раствориться в ней.

Весь день Вертов шел по равнине. Во влажном овраге он утолил жажду, из лопухов соорудил зонт. К вечеру набрел на огромный дуб, целую лесную провинцию, под которым решил заночевать. К болотцу, если не заплутал, должен выйти завтра до полудня. Из-за пазухи Алекс достал записи и, мечтая о переменчивой игре костра и запеченной картошке, не сразу понял, что перед ним рукопись. Помнится, как раз Средков, с которым Вертов бывал в этих краях, частенько держал на коленях именно ее, что-то записывая туда от руки.

«Вот так-так... вместо дешифровки схватил записи Средкова».

Отмахиваясь от мошкары, Алекс принялся читать.

Оказывается, Средков сочинил трактат об антивремени. Он постулировал, что времени не существует и, следовательно, путешествия во времени невозможны. Во-первых, в природе отсутствуют элементарные частицы временного. Нет матрицы для их запечатления. Во-вторых, допускалось некое «якобы-время», упорядоченное человеческим воображением и прогнозированием. И именно его с любой скоростью можно прокручивать вперед и назад, а также выбирать любой временной локус. Это как раз и происходит в тарках. Но если тарк — машина, делал вывод Средков, то невозможность времени в нашем мире доказывает, что мы живем в реальности, а не в компьютерной симуляции.

16.

Обдумывая невозможность времени либо его возможность в качестве подложного, виртуального времени, Вертов слышал, как в гостиной звучала старинная музыка, нежная и неповторимая, — словно в детстве. Скрипочки ласково, слой за слоем, косым приливом набегали друг на друга. Словно снег кружевной сеточкой опускался на предновогодний мир. Звучал «Рождественский концерт» Корелли, который в его семье слушали каждый год, набегавший один за другим, один поверх другого: в Рождество, с самого детства.

Анна хлопотала на кухне; дети шумели в детской, перекикивая громкий голос телевизионного портала.

Развешивая новогодние гирлянды в гостиной, время от времени Алекс выключал свет, наблюдая, как беспокойные огоньки выглядят

снизу. И здесь, в полутьме, любясь мерцанием лампочек, он оказывался рядом с голографическим проигрывателем, транслировавшим объемную запись концерта, сделанную в середине двадцатого века: шершавое, перебегавшее волнистым изображение. Музыка поднималась из двухсотлетней дали — томным, рассыпавшейся помехами наплывом. На высоте гостиного столика светились крошечные фигурки музыкантов, их маленькие, древние инструменты, наверху мерцал Млечный путь, набранный из рождественской гирлянды — необъятным, уходившим в бесконечный космос.

Пушистый ковер, запах ели, серебристое сияние и невпопад, неуследимо сложными ритмами дробившиеся огоньки — все вдруг наваяло детское, невыразимо-томительное и сладко-тоскливое чувство бесконечной, полной, совершенной гармонии, счастья, заполнившего мир. словно никакого Вертова никогда не было и словно он был всегда, до самого себя, — чувство ребенка, потрясенного первым пониманием своего присутствия в мире.

Музыка замолчала, тишина была совершенной, словно вылившейся из всех небесных запасников.

Вертов не знал, сколько прошло времени, пока не услышал голоса детей, вбежавших в комнату. Они стояли на границе темноты и, заметив отца, снова зашумели.

Вертов встал, включил верхний свет.

— Папа, — кричала младшая Рита, — времени не будет! Времени не будет! Сказали, время перестало!

— Что это значит? — он перевел взгляд с Риты на старшего Макса.

— По порталу сказали, что время не будет идти вперед, — сказал сын. — Оно пойдет назад.

— В чем дело? — спросила Анна, показавшись из кухни.

Вертов коснулся пальцем дочкиного носика, подхватил ее на руки.

— Очередная журналистская шутка. Может, дети чего-то не поняли...

— Я все понял, — перебил Макс. — Ученый из обсерватории Хаббла, по имени Гавриил, рассказал, что критическая масса Вселенной оказалось такой, что теперь Вселенная будет сворачиваться в точку. Потому что когда-то она расширялась, а теперь будет уменьшаться, и поэтому время пойдет назад.

17.

— Es él?<sup>3</sup> — Последовал звук, будто все ощущения Алекса извлекли из ниоткуда. — Es él?

— Si. Y esto también<sup>4</sup>, — произнесли ближе и другим голосом.

— Es uno de esos alienígenas?<sup>5</sup>

— Si, fue encontrado en la estepa.<sup>6</sup>

Алекс чувствовал себя Ионой, колыхающимся на теплом левиафаньем языке. Вертов закашлялся, приподнимая связанные косточка к косточке кисти рук. Раздался окрик, колыханье остановилось, Вертова стянули на землю. Щурясь, он увидел двух сидящих на верблюдах «индейцев», скалившихся на него. Над их головами блестели рас­трубы духовых ружей. Мимо остановившихся всадников проходил караван. Глубоко дыша, Вертов стал разминать шею. Грудь ломило. Перебросив, как переметную суму, его, наверное, везли уже много часов. Один из «индейцев», не переставая скалиться, показал кнутом вперед. Вертов кивнул. Из головы каравана подъехал бедуин и сразу тоже жутко оскалился.

— Es tuyo?<sup>7</sup> — спросил он, достав тетрадь.

— Мое... мое... — отвечал Вертов, щурясь на бедуина.

— Домой вернемся, и ты все скажешь, — сказал всадник. — Пошли.

Поддал верблюду пятками и повернул в голову каравана.

Вертов с трудом заковылял, вслушиваясь в испанскую и арабскую речь бедуинов. Тугой маховик мыслей тяжело раскручивался в больной голове, отзываясь на запах акации, из веток и листвы которой он вчера вечером сложил подушку. Набредя ночью на беспечного путника, усыпленного акациевым дурманом, бедуины связали его и закинули на верблюда.

К вечеру караван вошел в лагерь. Из шалашей стали выходить люди, среди них Вертов сразу заметил человека с земным ростом и цветом кожи. «Земляк», — подумал Вертов, опускаясь возле костра. Страшно хотелось пить. Этот «земляк» о чем-то расспрашивал бедуина, косо и недружелюбно поглядывая на пленника. Бедуин отвечал скупой,

<sup>3</sup> Это его? (исп.)

<sup>4</sup> Да. И это тоже (исп.)

<sup>5</sup> Он из тех пришельцев? (исп.)

<sup>6</sup> Да, его нашли в степи. (исп.)

<sup>7</sup> Это твое? (исп.)

подошел к Вертову, поднял его и попробовал куда-то вести. Алекс замотал головой, показывая жестом — пить.

— Иди, там будет вода! — прикрикнул бедуин на арабском, волоча Вертова в большой шалаш.

Там ему дали воды, усадили напротив колоритного царственного бедуина, вероятно, вождя, тучного, с живым въедливым взглядом.

— Что это? — спросил вождь, показав тетрадь. Он говорил по-русски с неизвестным Алексу акцентом.

— Книга, — ответил Вертов, решив, если заподозрят, что он со станции, выдавать себя за самого незначительного, низового сотрудника. — Моя будущая книга. Я философ времени.

Лицо вождя выразило удивление. Окажись вместо этой тетради дешифровки, пленника приняли бы за вирмиркера, а так он мог прикинуться путешественником.

— Что это значит?

В юности Вертов поставил один вопрос ребром. Он желал знать, существует ли время на самом деле: не как абстракция, не как уступка человеку в его счетах реальностью, а как вполне определенная, хоть и текучая материя, которую можно пощупать или даже сорвать с ее бесконечного конвейера. И теперь Вертов решил припомнить свой вопрос и свою теорию, которая перекликалась с содержанием рукописи. Он поведал наивному сознанию о том, что времени нет, что есть параллельные, «теневые» миры, которые создают прошлое и будущее. Это варианты реальности, которые каждое мгновение откалываются в другие миры и, может быть, не исчезают навсегда, но постепенно затухают, лишённые энергии. Что есть одно истинное временное наклонение: Всегда. И что когда-нибудь Вселенная снова возвратится в свое первичное состояние, преодолев разобщение между «теневыми мирами», ибо все станет едино, как было изначально.

Пока вождь молчал, обдумывая сказанное пришельцем, Вертов мысленно усмехнулся: и как этот тихоня Средков, чья рукопись случайно попала ему в руки в самый последний момент, как он оказался ему ближе, чем Бостромов, друг детства? Ведь эта рукопись спасла Алекса.

— Возьми себе, — сказал вождь, передавая тетрадь Вертову, — и допиши эту книгу. Мы верим в то же самое, но по-другому. Не знал я, что из земель встречу мудреца.

«О, наивный-пренаивный вождь», — думал Вертов, выходя из шалаша.



18.

Фамилия человека, которого Вертов окрестил «земляком», была Акин. Он разговаривал нарочито громко, якобы из-за контузии, полученной в бою, говорил, что был вирмиркером, а полтора года назад сбежал из «Стилобата», и на Бостромова у него был большой зуб. Осознав всю глубину преступной деятельности станции, он вместе с «индейцами» теперь вел борьбу против Бостромова и Конгломерата.

— Вы же со станции? — спросил Акин. — Вы не путешественник, как говорите. Так ведь, со станции? Но я об этом не скажу бедуинам, можете не бояться.

— Я математик. С неделю тут, — ответил Алекс.

— Ну вот. А то — путешественник, философ времени. Небось, бежали со станции, когда там два дня назад наши поработали?

— Я же говорю, новичок, стажировался, прибыл неделю назад с Земли. Не знаю, что у вас тут за дела.

Акин нехорошо засмеялся.

— И что, даже в тарк не ходили? И про Анчурию не знаете, и про Левкоева не слышали? — спросил он.

— Нет, не слышал.

— Ну́, так... был у нас сотрудник Василий Левкоев. Завсегда так сказать, походов в тарки, любитель «форсирования» времени. Тогда ведь еще не знали, что такие вещи, как состыковка с «болванкой», не проходят бесследно. Ну и вот, так он туда зачастил, в эту вашу Анчурию, а особенно в один терапевтический вирмирк, который посещали все, что однажды...

Левкоев прятался в чулане дальнего коридора, сидя на полу, поглаживал пальцем своего любимчика геккона, разговаривал с ним «посвистом неместным» и называл «царем халдейским». «Царь» отвечал ему недовольным скрипом из крошечной пасти. За Левкоевым шла погоня, он прятался от «пришлых эльфов». Психоз развивался через сны: великие изумрудные леса, полеты в бирюзовых облаках, озерные эльфы мчатся сквозь них, стоя на багряной тени. Он нашептывал геккону, что его посвятили в тайны Анчурии через «эфирную музыку», которую он крутил ночи напролет у себя в голове. Вперед и назад. А планету захватили «пришлые эльфы», так ему передала мелодия. Заповедник сновидений... голографический аккумулятор фантазмов... теплые, богатые мутагенным потенциалом разума джунгли...

— А был Левкоев, между прочим, красавец-атлет, научный журналист,— закончил рассказ Акин.— Первый среди вирмиркеров. И вот такая с ним приключилась финита ля комедия. Теперь свое растительное существование доживает он где-нибудь в захолустных колониях, этот ваш товарищ первоклассный вирмиркер Левкоев.

Случай Левкоева был трагическим. Когда выяснилось влияние тарков на психику, сразу ограничили количество спусков. Поэтому Бостромов в последнее время не пускал Вертова в Анчурию. Будучи тем самым вирмиркером, который создал Анчурию, Левкоев использовал «Иллюминатор» огромное число раз, его случай потом так и называли — «казус Левкоева».

— Так что вам повезло, что вы в тарк не ходили.

— Да-да,— покачал головой Вертов.

— Но про Анчурию-то, небось, слышали? Кто ж про нее не слышал?

— Да, слышал,— сокрушенно признался Вертов.— Но ходить не ходил. Я ж говорю, сидел в восточном крыле, параметры высчитывал...

Вертов с тревогой вспомнил, как остановил в Анчурии время — симптом того, что погружение в тарки повлияло на его психику. И этот вчерашний яркий сон, в котором его семилетний сын Макс рассказал, что время теперь пойдет назад. Бостромов знал о вреде «погружений» и дозировал «спуски» в Анчурию. Но Алекса это не спасло.

## 19.

В «индейском» лагере, куда привели Вертова, царило почти вавилонское многоязычие. Клань, примкнувшие к «третьей ереси», возникли на заре «индейского движения» как многократные исходы из колоний разных стран. Жили они обособленно и до сих пор разговаривали на языках своих предков: испанском, английском, русском, китайском и других, но главным образом на арабском. Арабские «индейцы» численно доминировали — во время оно земные шейхи активно отправляли на Марс своих граждан — и постепенно ассимилировали в себе других.

У «индейцев Марса» никогда не было военных конфликтов, собственно, их и воинами трудно было назвать, хотя что-то воинственное в себе они, конечно, чувствовали: необходимость вести какую-нибудь

подвижную деятельность. Почти все «индейские» мужчины большую часть года проводили в кочевых лагерях, скитаясь по планете, в некоторой разновидности развития, совершенствуя навыки следопыта. Такой кочевой лагерь назывался «дом мужей». Женщины жили обычной оседлой жизнью, их община называлась «дом матерей». Постепенно кланы перенимали материальную и духовную культуру именно арабских бедуинов, которые как будто уже на Земле были приспособлены вести марсианский образ жизни. И верблюд пришелся на Марсе как нельзя кстати. «Индейцы» боготворили верблюда и, отличаясь от землян внешне, вели свое происхождение от него, а не от выходцев с Земли.

Вначале был Великий Двугорбый Верблюд — так начиналась общеиндейская мифология, — он шел и шел, изнемогая от жажды. В одном горбе нес время, а в другом — пространство, и, двигаясь, оставался на одном месте. И пока шел, рос и рос, да так, что два горба срослись в один, пространственно-временной. И всё в мире, верили бедуины, произошло из Великого Верблюда. А планеты — части и органы его тела. Но земляне забыли об этом, расселились по планетам, поработив их, «взяв в плен», завели там свои заводы и тюремные зоны. Но от «индейцев Марса» это скрывают. На весь этот миропорядок вождям открыл глаза тот, кого считали новым, воскресшим Дро Медаром.

— Земные пришлецы обо всем умалчивают, — вещал он. — О «тюремных зонах» Урана и «каторжных весах» Нептуна. О том, что в «сатурновых городах» творятся самые темные и отвратительные дела. Что в поясе Койпера дрейфуют свободные поселения. Там живут люди «черные», природные, как мы. Есть мы, истинные жители Марса, и есть «индейцы Меркурия», и «троянцы Юпитера». И теперь приходят последние времена. Так сказало гадание. Последние времена наступают! — заговорил, запричитал, возвышая голос Лжедро. — Марс противостоит Земле, ибо ничего хорошего не приносят земляне. Их пороки скрываются. Их реальность — развлечение и потребление. Ханжество и лицемерие. Природа для них — кафетерий. Река — для купания и шашлычка, леса — для мебели, горы — для железа. Они привыкли к услужливой природе. Но есть мы и честные, «черные». Мы знаем про вселенского зверя верблюда.

Символьное обозначение верблюда-вселенной, которое «индейцы» носили в виде кулона, напоминало знак бесконечности, срезанный горизонтально — отголосок двух горбов. Само имя «Дро Медар», происходившее от дромадера, обозначало того первичного верблюда,

одногорбого, отказавшегося от времени, который идет, идет, идет, испытывая бесконечную жажду, и «индейцы» идут вслед за ним. И для Дро Медара времени тоже не существовало: прошлое, настоящее, будущее — все ему было едино. Все в одном вековечном горбе, в котором, как в котомке, собрана человеческая судьба.

20.

Духовые ружья заиграли так же, как в дни осады «Стилобата». Звук расслоился на диссонирующие ноты и распался на звучание отдельных инструментов. Вертов вышел из шалаша, где ночевал вместе с Акиным и двумя «индейцами». Рядом спали верблюды. Чувствовалось тепло их тел, слышался запах и шум дыхания. Глаза безмятежно закрыты, короткие, заросшие шерстью уши выделялись на безволосой морде, уткнувшейся по ноздри в песок. Возле костра темнел силуэт бедуина, который, покачиваясь, медитировал под музыкальные модуляции. Вертов подумал, поймет ли он «Хойя! Хойя!», если поднять этот индейский клич посреди ночи.

С рассветом стали разбирать шалаши и навьючивать их на верблюдов. Акин сказал Вертову, что ему придется освоить навыки верховой езды, если он раньше ими не владел, — уже снимаются в степь, чтобы соединиться с другим кочевым лагерем. Именно об этом провозгласил звуковой сигнал.

— А знаете, никакого Дро Медара никогда не было, — сказал Акин.

Вертову через полчаса качки на верблюде стало не по себе, и он пошел на своих двоих. Бывший вирмиркер ехал рядом.

— По крайней мере, как исторической личности. Была легенда про «первого индейца», который придет из Ливийских гор через сто лет. Активно продвигать ее стали лет пять назад, когда возникла эта самая «третья ересь». Только тогда так называли компьютерный вирус, который якобы написали повстанцы. Он должен был разрушить компьютерную систему «Стилобата». А потом слухи про вирус стали утихать и вспомнили про легендарного человека — Дро Медара. И знаете, кому это было бы больше всего выгодно? Не индейцам! И даже не повстанцам. Не знаете, нет? И не мучайтесь, все равно не догадаетесь! Бостромову!

— Да? И зачем ему это?

— А вы просто не знаете, что это за человек! Если бы вы знали его так хорошо, как я... Это же форменный Макьявелли! — Акин испытывал к Бостромову самые неприязненные чувства. — Сначала был написан этот вирус, а потом уж пустили легенду про человека Дро Медара. Не находите это странным? Я-то думаю, что Бостромов и запустил. Сам придумал, сам и запустил. Но индейцы верят, да. В Дро Медара, освобождение и все такое. А знаете... — нервно засмеялся Акин, — знаете, а Бостромов наполовину — марсианин. Да. У него отец с Марса, выходец из клана, который выращивает и продает верблюдов в раскольные колонии. Сначала перебрался в цивилизованную колонию, а потом стажировался на Земле. От него наш Макьявелли и услышал эту легенду.

— Так вы говорите, вирус... который написали повстанцы... чтобы обрушить компьютерную систему «Стилобата». Так что ли? И как он должен будет проникнуть в виртуальную среду станции?

— Ну, посмотрите на этих людей. Ну? — Акин кивнул на бедуинов. — Видите? Повстанцы немногим будут умнее этих дикарей. Значит...

— Значит, что?

— А то, что обрушить «Стилобат» снаружи невозможно. Программа была написана внутри «Стилобата». И сам Бостромов к этому приложил руку.

— Что за бред? — Вертов остановился. — Станцию осаждали, разбили. Наверняка есть погибшие.

— Только ш-ш-ш об этом. Понятно? — Акин натянул поводья, верблюд встал. — Я вам говорю: Бостромов всю эту штуку и затеял. С Дро Медаром, с вирусом, со штурмом станции.

— Но зачем, зачем?..

— Затем, что Макьявелли... — Акин снова поехал.

Слова бывшего вирмиркера поразили Вертова, их логика была похожа на правду. И в самом деле: какова во всем этом настоящая роль Бостромова?

В полдень возле чахлах деревьев сделали привал. Вчера Вертов успел познакомиться с несколькими индейцами, сносно знавшими русский. Он прибил к группке этих «русских индейцев», они сидели возле костра, смеялись, передавали по кругу курительную трубку, заряженную акациевым табаком. Наберись в Средневековье две-три тысячи таких «индейцев» на верблюдах, подумал Вертов, да еще в латах, они,

пожалуй, покорили бы всю Европу: все равно что танковая бригада, рассекающая крестьян с дреколем. Вертову предложили трубку. Он потянул дым, пустил его вверх, бедуины доброжелательно засмеялись.

— Эй, ты имей таинственный? — крикнул один бедуин.

Алекс уже знал эту бедуинскую манеру кидать одно-два слова, которые поди разберись что вообще значат. «Таинственный», например, могло означать: секретная тетрадь, которую ты показал вождю и которая очень, очень его впечатлила, так что он тебя зауважал. Но в данном случае «таинственный» означало нечто другое. «Индейцы» лукаво скалились. На костре поджаривали с полдюжины заячьих тушек, содранные с них шкурки были распялены на прутьях. По кругу, сменив трубку, пошел бурдюк с акациевым самогоном. Вертов присел к костру.

— Ты не знаешь, что такое «таинственный», — сказал молодой «индеец». — Но мы сначала думали, ты его ищешь. Тут часто приходят, которые ищут «таинственный». Приходят, уходят, а другие ищут и не уходят. Один все ищет, пока не нашел. Но ты не ищешь.

— И что это такое — ваш «таинственный»? — спросил Вертов.

Бедуины дружно засмеялись.

— «Таинственный» у нас значит — Тикаль. Есть в долинах кочующий город Тикаль. Говорят, кто в него входит, уже не выходит. Но ты не войдешь. Тебе нужна наша одежда.

Бедуины снова засмеялись, Вертов почувствовал себя одураченным.

— Ну да, ну да, — он встал, бормоча под нос. — Про это я у земляка спрошу. Он-то все знает. И про Тикаль тоже. И побольше вашего, между прочим.

В другой группе раздались выкрики, бедуины стали вскидывать руки. Несколько гармоничных звуков вырвалось из ружей, им ответили издали: между холмов теснилась прерывистая цепочка каравана. Первые три всадника, облаченные в желтые плащи поверх белой бедуинской одежды и в пышных тюрбанах, уже поднимались по склону к лагерю. Огромные их верблюды царственно вышагивали, и тут Вертов услышал, как по лагерю пронеслось: Дро Медар.

21.

Акин сидел на холме, в отдалении от лагеря, прикидывая, насколько процессия уязвима. По его расчетам, понадобилось бы три пуле-

метчика, засевших с двух сторон, чтобы минут за десять управиться с караваном. Идеальная позиция для обстрела. Первый, дождавшись, пока хвост колонны вольется в ущелье, запрет выход сзади, второй расстреляет всадников в упор, последнему достанется самая интересная часть. Пожалуй, это было бы его место. Вот три представителя кланов въехали в лагерь. Позади совсем юные «индейцы», у них даже ружей нет, ведут навьюченных скарбом животных, за ними бедуины разных кланов: «кормители верблюдов», «стяжатели трав», «воспитатели машин», те самые, которые научились примитивному ремонту механизмов... А где же этот маленький засранец, самозванный Дро? Ага, вот. Два спаренных верблюда в середине колонны несли обширный паланкин, окруженный с десяток солдат «третьей ереси». Поэтому он и самозванец, а ни черта не настоящий пророк, ему всегда нужна была эта ширма мистификации, облако непроницаемости, чтобы производить впечатление. Настоящий Дро ехал бы на самом обычном верблюде, неприметный и усталый, как все остальные.

Этот караван состоял из «индейцев», которые несколько суток назад вместе с повстанцами атаковали «Стилобат». Повстанцы ушли в неизвестном направлении, а «индейцы», дробясь на небольшие группы, кочевали теперь каждый в свое поселение. Оказалось, «Стилобат» был отбит самым невероятным образом! В последний момент, когда станцию окружили и почти заняли, нагрянул международный отряд «Карфагена». Его успела вызвать небольшая кучка сотрудников, во главе с Амазуловым забаррикадировавшаяся в подвальной бункере на техническом уровне обслуживания реактора. Подкрепление действовало молниеносно, бой длился не больше четверти часа. Часть сотрудников, подобно Вертову, бежала во время штурма и числилась пропавшей. Бостромов, как выяснилось, и след простыл. Возможно, Вертов оказался единственным пленником во всей этой истории. Какую судьбу ему готовили «индейцы»? Дро Медар наверняка захочет допросить его. А Бостромов, конечно, сидит где-нибудь в степи, пьет свой чай и думает, что неплохо было бы сбежать в какой-нибудь вирмирк, а лучше в самый захолустный тарк, где можно остановить время и спрятаться так, чтобы его не нашли в ближайшую тысячу лет, потому что если это правда, что говорит Акин, то не только у международных сил, но и у Конгломерата возникнет вопрос, кто же такой на самом деле этот Ник Бостромов и для чего, собственно, все это затеял.

— Эй, таинственный! — завопил тот самый молодой бедуин, что подтрунивал над Вертовым.

Алекс оглянулся, но обращались не к нему. Среди прибывших был человек, землянин, одетый точно как бедуин, смуглый, в солнцезащитных очках, опоясанный несметным числом сумок, сумочек, мешочков, расшитый карманами всевозможных размеров. Этот «таинственный» тут же вскинул руки, приветствуя бедуина, и заорал на каком-то арабо-испанском наречии. Через пару минут неистового обмена новостями, оба были в курсе событий: «индеец» теперь знал все про осаду, а «таинственный» — про Вертова.

— Как же я рад, как рад! — заорал «таинственный» по-английски, направляясь к Вертову. — Надеюсь, у вас есть эти нормальные сигареты, а то я скоро двину кони от чертова курева из акации!

— Нет... я не курю... — смущенно ответил Вертов.

— Какая жалость, жалость, — говорил «таинственный», подходя и оглядывая Вертова. — А я как увидел вас, подумал, будет что курнуть. Значит, придется двинуть кони. А где этот ваш соотечественник? Может, у него что найдется?

Но Акин вовремя скрылся в толпе.

— И, значит, вы тут совсем недавно и еще не успели соскучиться по цивилизации? Какие новости в большом мире?

Землянин был явно не в себе, его сумочки при каждом движении подпрыгивали, дужки очков были перевязаны во всех возможных местах. Он был небрит, покрыт копотью, губы измазаны синим, а на лбу виднелись следы рисованного «третьего глаза».

— Так зачем вы здесь?

Вертов неопределенно пожал плечами.

— Вот и я тоже не знаю. Зачем пришел, зачем тут толкусь... Эта земля лишает вас смысла, смысла, — сказал он, беря Вертова под локоть и ведя за собой. — Когда ты приезжаешь сюда и ищешь... ищешь... — Он показал куда-то на горизонт. Его ладони в истрепанных перчатках все время как бы рыскали по сумочкам и мешочкам, по этому тряпичному набрюшнику. — Знаете, — доверительно вдруг сказал «таинственный», и руки его успокоились, — он великий человек. Да, он может быть ужасен, и зол, и прав. И он ведет войну. Он может тебя убить и помиловать, но только вот не надо его осуждать, осуждать. Словно обычного смертного... Но я не могу его понять... не могу. Путешествуя на верблюде, я читал Ронсара и Аристофана. Я искал «Тикаль просветления», понимаете?



Пятнадцать лет назад американский миллионер Гудвин Хоппер, человек с безумными глазами, вечный путешественник, прибыл на Марс, чтобы отыскать Тикаль, таинственный город блаженных, о котором узнал на Земле. Со временем он перенял одежду бедуинов, растратил состояние, оброс сумасшествием и пошел за Дро Медаром, помешавшись на нем. Его первым словом на бедуинском наречии было «таинственный». Встречая индейцев, он спрашивал: «Где найти таинственный, таинственный?» — до тех пор, пока сам не породнился с этим словом. Тикаль был загадочным миражом, не раз описанным в марсианской эзотерической литературе. Считалось, что он — точка, в которой перестает время и достигается бессмертие. Ему противостоит буддийская сансара, то есть печатная матрица миров. Видение фата-морганы являлось иному путешественнику в пустынных районах планеты: фантастический город со множеством башенок, кампанил, дворцов и белоснежных куполов кафедральных соборов. Венецианский скайлайн. Ведь может такое быть, что отражение Венеции из вод лагуны спроецировалось на какой-нибудь особый, восприимчивый слой атмосферы, пелену серебристых облаков, а потом этот крошечный кадр в один из ярчайших дней был излучен в космос, откуда его впитала марсианская поверхность. Положение скорее сказочное, чем хоть сколько-нибудь реальное, но оно все равно влекло эзотерически настроенных паломников в степи, каньоны, пустыни, чтобы искать, искать Тикаль, город без времени и пространства, ибо тот, кто войдет в него, в эту точку мирового средостения, солнечного сплетения Мирового Верблюда, потеряет себя и обретет бессмертие. Город пребывания блаженных, вокзал миров, связывающий миллионы планет, космопорт прибытия и отбытия душ, пересечение всех параллельных линий, в котором одновременно совершались миллиарды путешествий. Тикаль — вселенский вокзал бесконечного воображения, Тикаль — метафора «космологической сингулярности». Войдя в него, лишишься цикла перерождений, выпадешь из «колеса сансары».

— У тебя же есть эта тетрадь? — спросил «таинственный». — Тетрадь? Про время? Так мне сказали. — На Алекса смотрели безумные, алкавшие ответа на все вопросы мира, голубые глаза.

Только сейчас Вертов заметил, что в сумочках, мешочках хранились пожелтевшие листки, записные книжки, засушенные травы, жучки, а из нагрудного кармашка торчали лапки геккона.

Вертова спас сигнал общего сбора, весь лагерь пришел в движение, Алекс, отдав честь и щелкнув каблуками, скрылся в поднявшейся пыли.

22.

Долгий вечер стоял над развалинами городка. Каменная лестница, ведущая на агору с миниатюрным Парфеноном, чаша амфитеатра, заросшие плющом арки, деревце, укоренившееся в центре фонтана, аллея разрушенных колонн — все это некогда был псевдоантичный полис, построенный на заре колонизации. Городок скоро покинули: не хватало воды, изменились планы освоения планеты, — и искусственные руины смешались с настоящими. На картах он не значился. Бедуины, делая крюк, заезжали сюда с проторенных путей запастись водой и переночевать, приткнувшись к развалинам стен.

Вертов, которому молодой бедуин назначил встречу за лагерем, долго блуждал среди каменных блоков, потом сел на низкую ограду, дав догнать себя Акину.

— Да вы теперь точь-в-точь бедуин, — сказал тот, подходя.

Днем над Вертовым произвели шуточный обряд посвящения в «индейцы», обрядив в бедуинские одежды. Безлунные небеса накрывали планету длинными сумерками.

— Я здесь полтора года, а все равно что в плену, — сказал Акин, тяжело дыша и присаживаясь. — Я соврал, я не занимался вирмирками. И ни разу там не был. Я бывший начальник службы охраны «Стилобата». Военный. Бостромов добился моего смещения, я же человек со стороны. Он интриговал, убирал с должностей неудобных людей. Знаете, что он придумал? Завел две службы слежения, чтобы они присматривали друг за другом. Если бы мне не пришлось бежать, «Стилобат» ни за что бы не взяли, никто из этих дикарей не сунулся бы внутрь станции. Бостромов много лет планировал захват власти. Но теперь у него все окончательно сорвалось.

— Слушайте, Акин, — раздраженно сказал Вертов, — Бостромов не хотел сообщать на сторону о проблемах с повстанцами, «Стилобат» занимается нелегальной деятельностью. Сами знаете.

— Знаю. Да и вы, похоже, совсем не новичок. А я вот хочу подвести Бостромова, так сказать, под международный монастырь. Знаете, кто такой Дро на самом деле?

— Кто?

— Да самый натуральный головорез. Агент Конгломерата под кодовым именем Треф. Хотите расскажу его спецназовскую подноготную?

— Он же из бедуинов? Разве не так?

— Да, из бедуинов. Родился, жил. Потом служил на Земле. Двадцать лет в «горячих точках», послужной список из пятнадцати спецопераций. Блестящий военный. Когда ваш Бостромов додумался, что Дро Медар должен быть конкретным человеком, а не легендой, Трефа командировали сюда. Возглавить повстанцев. Это была его очередная спецоперация. Эта бодяга с повстанцами и «третьей ересью» — план Конгломерата и лично Бостромова. Что, не знали? Да, повстанцы нужны, чтобы создать военное напряжение. Ввести войска Конгломерата и обозначить его зоны влияния. Но в какой-то момент Треф попросту плюнул на Конгломерат и Бостромова, а ложные повстанцы стали настоящими, неуправляемыми. Ваш Бостромов просчитался. А вы думали, все так просто? Такая маленькая безмятежная планетка? Планета Меланхолия?.. У Трефа просто крышу сорвало от власти. Вместо того, чтобы играть роль провокатора, он все сделал по-настоящему. Совместно с «третьей ересью» устроил резню в нескольких колониях. А теперь, видите ли, он отец «индейского» народа. Против Дро выступили несколько кланов, которые возненавидели его за раскол в «индейском мире». «Индейцы» теперь используют оружие и всю боевую технику. Скоро здесь будет бедуинская гражданская война...

— Слушайте, что я скажу, — сказал Акин после минуты молчания. Сквозь усталость прорывалась тревога. — Этот Дро Медар завтра будет вас допрашивать... расспрашивать... Он же не такой дурак, как этот ваш вождь. Ему про вас донесли, он понимает, что вы со станции. Так вот в ваших интересах сотрудничать с ним. Расскажите все, что знаете про Бостромова. Не знаю, какие у вас там с ним отношения... Но про меня ничего не говорите. Вообще. Поняли? В ваших же интересах.

— А если я не соглашусь? — усмехнулся Вертов.

— Это ваше дело. — Акин презрительно сплюнул. — Только имейте в виду, что я вам сказал. Про натурального головореза и все остальное. Ваша жизнь для него ничего не значит.

Акин был неприятен Алексу, непонятно, что у него на уме.

— Ладно, знаете, что такое Тикаль? — спросил Вертов, пытаясь снять напряжение от разговора. — «Индейцы» про него говорят.

— Нет, не знаю. Какая-нибудь ерунда, — вздохнул Акин, поднимаясь. — Надеюсь, вы меня поняли. Бостромов — это зло, против которого надо действовать сообща.

Вертов некоторое время сидел, пока Акин удалялся в сторону лагеря. Когда тот исчез из виду, из-за ближайшей колонны выглянул бедуин, назначивший встречу. Он подслушивал за беседой. Приблизившись, протянул Алексу две сумки, связанные вместе, которые можно было перекинуть через плечо и так нести.

— Вождь сказал, иди давай, — прошептал бедуин и повел мимо развалин.

Они миновали амфитеатр, аллею и, пройдя насквозь развалины дома, вышли в степь.

— Вождь сказал, иди давай, — повторил бедуин, показывая в сторону холмов. Только сейчас Вертов догадался, чего от него хотят. — Пиши эту... таинственный... книга... вождь сказал.

Видимо, Дро не нравился не только Акину, но и вождю, который решил устроить Вертову побег. Тетрадь снова спасала его. Алекс кивнул, бедуин оскалился на прощанье и тенью скользнул в разрушенный город.

## 23.

Одна сумка оказалась бурдюком с водой, в другой лежали лепешки, походная кастрюлька с шайбами универсального пищевого концентрата, моток веревки, огниво, совмещавшее зажигалку, фонарик, автоген. Еще была рукописная карта местности, на которой заботливая линия соединяла точку-путника с цивилизацией. Каньон многократно ветвился, пуская ложные отростки, и проще было найти этот самый «Тикаль просветления», чем самостоятельно выбраться из марсианской топографии.

В полдень Вертов сделал привал, сверяя ландшафт с картой. Место, отмеченное крестиком с подписью «Вилла», находилось по другую сторону Каньона, сразу за штриховкой обширных «пажитей». До «Виллы», вероятно, не больше двух дней. Пайка хватало с запасом. На шайбах концентрата было выдавлено: мясной, фруктовый, рыбный. Надо нагреть жестяную посудину, положив шайбу на дно, и через

десять минут получишь полную кастрюльку бульона или киселя. Помешивая закипающий концентрат, Вертов сделал пару глотков акациевой водки, которая тоже была уложена в сумку, и посмотрел на овраг, отсутствующий на карте.

Первый приступ настиг его часа через два, он уже несколько раз обходил широкий овраг. Алекс почувствовал острое желание убрать эту балку с карты, тогда местность разгладилась бы, как покрывало. Ведь он умел замедлять время, а с ландшафтом в Велмири мог справиться даже школьник. В панели инструментов Алекс поискал необходимые тулзы, тонкую подстройку пространственной кривизны, потянулся к верхней строке консоли и, стерев, словно со школьной доски, командную строку, увидел бесконечный ряд числа Пи. Число содержало все: пирамиды, динозавров, хвощи и трилобиты, цивилизацию шумеров, эволюцию насекомых, траекторию струи картины Поллока и чувство эйфории, непременного счастья. В конце ряда, дрожа, нарождалась новая цифра. Пал Рим и плыли каравеллы Колумба, человек отправлялся к Луне и строил океанские города, а цифра еще находилась в младенчестве. Все удавалось, все шло, как велено — Алекса затаркивало. С новой цифрой возникла неопределенная, новорожденная реальность. Число дышало, пульсировало, вычислялось и, добавляясь к реальности, осуществляло самое ее. Жизнь на Земле бежала математической строкой, вычисляясь делением, умножением, вычитанием организмов, просчитывая все алгебраические возможности. Плодитесь и размножайтесь, цифры, логарифмируйтесь и умножайтесь, существа!

Вертов брел по марсианской равнине. Изможденный, несколько раз падавший — болело колено и плечо, — он шел в сумерки, за горизонт, над которым высоко-высоко вился золотистый, расплетенный в мякотную бахрому авиационный след. Его линия бесконечно стремилась к оси абсцисс, никогда не достигая ее, словно закат, в котором засыпало солнце, приближаясь к ночи, мучаясь бессонницей, зависшей компьютерной программой, вечерним светом, который ни во что не мог разрешиться, словно падение в черную дыру, и астронавт навечно приклеен к невидимой точке на горизонте событий. Алекс взывал к Земле, слал срочные телеграммы: запретите хождения в тарки, отключите форсирование и замедление. Шевцов, слышите, это се-

кретная задача, пока ничего определенного сказать не могу. Никаких цифр и документов. Эта миссия должна пройти быстро и незаметно. Дешифровки, планы сепаратистов, Дро Медар. И Бостромов решил избавиться от Вертумна. Но зачем, зачем?! Затем, что Макьявелли!

Вертов отхлебнул из бурдюка, взял шайбу концентрата. Фиолетовую. Погрыз ее и стал растирать в ладонях, опускаясь среди высоких, гривастых ковылей. То самое болотце, к которому он шел, да, именно оно, мелкое, с вязкими берегами, окаймленное ветром, лунными переливами. Об этом он писал стихи, о «переменных светах», когда жил здесь, в тростниковой хижине. Ты ведь знаешь, Вертов, когда удаляют вирмирк, невычищенными остаются заповедные уголки. И в твоей душе, Вертов, запечатаны тени всех предшествовавших существований, которые мы получаем в подарок от нерадивого вирмиркера.

Утро не наступило, Вертов откупоривал бурдюк и никак не мог напиться. Тяжелея и уменьшаясь, стягивал под себя пространство зыбучими песками. Из-за валунов за ним следили пустынные духи, питавшиеся страхом. Не подавай виду, не смотри, но, истончившись за месяц блужданий, упади ничком и притворись. Тогда обманешь их, поселившись среди камней, чтобы выслеживать одинокого.

Шептали духи: на теле пространства есть города, а время — распахнутое передвижение между ними конечность и точечность пребывания в царстве воображения переходить узлами силлогизма в разверстых водах открылись лунки забвения выщербленные поглаживанием воспоминаний все это терпеливо объясняет почему существуешь ты попеременно не можешь осознать себя сразу во всех местах иначе бы зачем тебе ограничение скорости света. И когда мысленно путешествуешь от пятки до подбородка дихотомия способна провести через города углубляясь во все углы так что выбираешься из остывающего кратера сна под пристальным взглядом утра словно микроскопический марко поло по холодным стенкам и на небесной щеке еще видна родинка луны.

Жажда выгнала Вертова к излучине реки между брусчаткой берегов. Говор струи и буруны стремнины сводились к контрапункту городского рынка на площади. Купола церквей и мачты колоколен отражались в лагуне, набережная влажнела, словно кафель бассейна, и в нем перекачивалось отражение собора. Алекс устало сел на камни, по-собачьи, понимая, что теперь у него есть задние и передние

лапы. Он высунул язык и, прислонив к воде, стал лакать борта лодок, ошметки пристани, вдребезги расколотый фарфор собора, пресные паруса облаков и ускользящих чаек. Собор был железнодорожным вокзалом, одним из терминалов вечности, плацдармом десяти тысяч путей сообщения. Космопортом, перенесенным из лагуны и собранным в венецианский Сан-Марко. Не утолив жажды, Вертов пошел навстречу миражу, и врата города Тикаль отверзлись и впустили его.

## 24.

Придя в себя, Вертов обнаружил, что привязан веревкой к дереву по примеру Одиссея, который похожим образом обезопасился от сирен. Мера была спасительной, хотя Алекс не помнил, чтобы обматывался веревкой и затягивал такие крепкие узлы, оставляя руки свободными.

Через четверть часа он готовил на костре порцию мясного концентрата. Жизнь продолжалась, интоксикация отступила. Слева была степь, справа — Каньон, площадка перед деревом испещрена верблюжьими следами. Судя по их глубине, животное с наездником оставались здесь пару дней. Тетрадь, которую Алекс спрятал в бурнусе, обнаружилась в сумке. Там же — листок, покрытый знакомым почерком.

«Я вышел на твой след три дня назад, пересекая небольшой ручей, — так начиналось письмо Бостромова. — Живя на Марсе, понемногу становишься следопытом. Ты сбился с дороги. Был без сознания. Не следовало отпускать тебя так часто в вирмирки. Интоксикация и не таких крепышей брала. Амазулова здорово потрепала.

Ты, конечно, захочешь знать правду — про «Стилобат», Анчурию, про меня, в конце концов... Я всего лишь пешка... Почему я должен был лететь сюда, стать руководителем станции, инициировать движение сепаратистов? Все было решено задолго до меня. Меня вели за руку, хотя я думал, что действую сам. Даже самые интересные вирмирки оказываются пустышкой по сравнению с реальностью, которая в очередной раз утерла нам нос.

Вертумн, прощай.

Н.Б.»

Странное письмо, которое ничего не объясняло. Бостромов, конечно, сукин сын и авантюрист, подумал Вертов, но без него было бы скучно на этой дикой планетке, где все только начиналось.

Пологий спуск вел к Каньону, который в этом месте сужался. Другой его край виднелся даже в сумерках, к рассвету Алекс достиг его. Дальше начинались «пажити» — многокилометровое поле пшеницы. Вертов шел по дорожной колее, которая, судя по карте, вела к «Вилле». В прорехе засеянного поля чернели развалины домов, заросший рощицей хутор, а потом возникло огромное строение, напоминавшее сторевший комбинат. Это были земли «первичного освоения», где строили первые на планете здания — «шагающие заводы». Громадина как раз была одним из таких заводов, машина-фабрика. Год за годом передвигаясь, медленно циркулируя по дикой стерне, она обслуживала сотни тысяч гектаров, превращая их в плодородные земли. Первые фермеры жили на этих передвижных машинах. Много позже их стали переводить в автономный режим, а на окультуренных пространствах строили хутора, городки, виллы. Должно быть, этому «шагающему заводу» не меньше ста пятидесяти лет, а то и все двести. «Завод», целый металлический городок, выглядел исполинским промышленным самосвалом, пожалуй, даже как пара десятков таких самосвалов. Вертов поднялся на самый верх одного заводского сегмента, окислившегося и почерневшего, местами обрушенного. Неизвестно, сколько десятилетий назад здесь в последний раз был человек.

25.

Вход в поместье, обозначенный на карте как «Вилла», открывала ажурная арка с затейливой надписью, обыгрывавшей оплетку плюща: «Le Manoir De Jedd Baudouin». Джедд Бодуэн, основатель славного рода, потомки которого станут называть себя Бедуинами, был отчаянный человек. Потратив все сбережения на билет в один конец, он арендовал «шагающий завод» и на плато, где до этого не взросло ни травинки, стал сеять и собирать урожай. Еще ни один следопыт не бродил по равнинам, а первые бедуины появятся только три-четыре поколения спустя, когда марсианские Бодуэны уже славились своими сельскохозяйственными товарами во всем восточном полушарии.

Поместье Бедуинов, которое застал Вертов, находилось в своем рассвете.

Интерьеры дома подражали допотопным земным вкусам времен «Прекрасной эпохи». Кухней управлял повар из местных, сохранив-



ший кулинарные традиции, забытые даже на Земле. Вертова водили по поместью, в большой зале устроили пышный прием, а до этого показали главную семейную реликвию — под стеклом хранился тот самый билет в один конец, маленькая пожелтевшая картонка, с датой отлета, со штемпелем контролера. Собралась вся большая семья из нескольких поколений, все говорили по-французски, а дети для гостя декламировали «Пьяный корабль» Рембо.

Переодеваясь в отведенной ему комнате, Вертов впервые за долгое время увидел в зеркале свое отражение. Сначала в бедуинских покрывалах, а потом в старомодной, щеголеватой одежде начала двадцатого века. Светловолосый, среднего земного роста, с правильными чертами лица, только что побрившийся и оттого сиявший белизной подбородка, он казался самому себе героем странной повести, кем-то вроде Лоуренса Аравийского в зазеркальной стране, настолько нереальной, что, может быть, расположенной по ту сторону Тикаля, внутри виртуальной обманки, порожденной «Стилоботом».

За столом Вертов поведал свою историю, умолчав о секретных делах станции и что последние три дня провел в бессознательном состоянии.

— Что вы знаете о Дро Медаре? — спросил он главу семейства, пожилого мужчину с эффектными, черными с рыжей искрой бакенбардами, совершенно грандиозными, отлого стелившимися на воротник. Его звали Джедд, как и первого марсианского предка, но уже Бедуин. Все Бедуины за столом выглядели как некие сказочные гулливеры. И чувство нереальности пронзало Алекса каждый раз, когда он задирает голову, чтобы обратиться к кому-нибудь. Красавица-внучка, марсианка на выданье, выше Вертова на две головы, не сводила с него глаз.

— Да в общем-то ничего... — ответил легкомысленно Бедуин. — Есть только слухи. Что он то ли вождь какого-то бедуинского союза, то ли авантюрист. Знаете, ведь не все бедуины «индейцы», только религиозные племена считают себя «индейцами Марса». С этой их верой в планеты-органы. Или что-то подобное. Мы не принимаем их всерьез. Да и они никому не докучают своей мифологией. Повстанцы, о которых вы сказали, появились несколько лет назад. Но, судя по новостям, не представляют совсем никакой угрозы. Мы живем в мире с местными племенами. Да и они нас очень уважают. Ведь мы тоже Бедуины, на входе в поместье об этом так и сказано. — Он рассмеялся и продолжил: — Марс очень маленькая планетка по сравнению с Зем-

лей. Деревенский вариант. Я бывал на Земле. Ни один наш город не идет ни в какое сравнение с вашими по перенаселенности. Мы проживаем тут совсем вальяжно... А этот ваш Гудвин, этот американец, знаете, несколько лет назад мы его пригласили к себе. Невыносимый человек. Уже тогда было ясно, что он сходит с ума. Расспрашивал нас про какой-то город. Выпытывал, как его найти. Думал, мы скрываем его от посторонних. — Снова смех, в этот раз уже всей семьи. — Но расскажите же что-нибудь о Земле! Жан-Жак, мальчик, что ты молчишь, ты ведь собираешься лететь, спроси же что-нибудь!

«Мальчик» за два метра ростом в черном сюртуке и белоснежной манишке сконфуженно наклоняется к Вертову и, застенчиво картавя, просит рассказать про Париж. И Вертов целый вечер рассказывает дружному аристократичному семейству земные новости полугодовой давности.

## 26.

Прежде чем отбыть в космопорт, несколько месяцев Вертов провел в клинике. Законник, приставленный со стороны международного обвинения, советовал не выгораживать Бостромова, наоборот, дать как можно более подробные показания против. Во-первых, он ничего не знал о делах Конгломерата и Бостромова, во-вторых, серьезно пострадал от «вирмирковой интоксикации», — из этого следовало, что по делу «Стилобата» он будет проходить не как свидетель, а в числе пострадавших.

Люди в черном, представившись адвокатами от Конгломерата, тоже посещали Вертова. Запирались с ним в палате, вели многочасовые беседы. Намекали, что, вероятно, не все его воспоминания имеют одинаковую степень достоверности.

— Совершенно верно, — подтвердил Алекс, наученный законником. — Я стал жертвой «вирмирковой интоксикации».

Он рассказывал про Джаддарский анклав, про побег, про бедуинов и Тикаль.

— И что было, когда вы вошли в Тикаль? — спрашивал первый «адвокат».

— Ничего, — отвечал Вертов. — Я думаю, этот вход символизировал мое желание выйти из вирмирковой интоксикации.

— Выход через вход? — ерничал второй.

— Тикаль, — объяснял Вертов, — был окончательной точкой выхода из всех возможных входов или, лучше сказать, входов-выходов. Хотя за вход, вероятно, надо принять случай с Аллехом.

«Адвокаты» сменили тактику и стали вежливо настаивать, что Алекс не совсем вменяем. Что почти все его воспоминания с небольшой погрешностью можно считать за длинный вирмировский сон с редкими произвольными выходами в реальность. Третий «адвокат» сказал, что не все, отнесенное Вертовым к реальности, совпадает с действительным положением дел. Например, семья Бодуэнов вовсе не давала в его честь обед, а нашла его возле дома в бессознательном состоянии и оказала помощь. А вообще, если Алексу так хочется принять участие в суде, говорили «адвокаты» без обиняков, то проходить он будет как обвиняемый, а не пострадавший, и ответит «по всей строгости».

Законник перестал приходить. Тогда Алекс и рассказал «адвокатам» про Левкоева.

Вертову кололи успокоительные и водили в сад. Яркие сны, наполнявшие жизнь, прекратились, и он днями сидел под яблоней, наблюдая за коллегами по несчастью. У одного из кармашка больничного халата выглядывал геккон.

— Вы случайно не Левкоев? — спросил Вертов высокого, широкоплечего, очень худого человека. Тот покосился и прошел мимо. — У вас геккон в кармане. Наверное, царь халдейский?

Левкоев, а это действительно был он, схватил Вертова за грудки.

— Я Вертов, — задыхаясь, стал объяснять Алекс. — Не знаю, о чем вы подумали, но я здесь по той же причине, что и вы.

С Левкоевым они подружились и подолгу беседовали. Тот был неизменно угрюм и все время тосковал. В моменты прояснения они сидели под яблонями, и он рассказывал обо всем, что знал.

— На самом деле справиться с анчурским языком не смог бы никто, — убеждал Левкоев, поглаживая геккона. — Бостромов, чтобы избежать дешифровки, заложил в тарк мутацию языка на случай взлома. Поэтому-то при всех своих талантах и стараниях вы ничего не добились.

— Но зачем ему это было нужно? Ведь он меня за этим вызвал, для дешифровки.

— Я думаю, Бостромов уже совсем не тот человек, которого вы знали в юности. Вы ему нужны были, чтобы показать руководству, что делаются какие-то шаги. А на самом деле он вел двойную игру.

— Какую игру?! Зачем?! — Вертов горячился и жестикулировал, окружающие оборачивались на него.

Левкоев рассказывал по порядку.

Дро Медар действительно был исторической личностью, легендой, которую Бостромов использовал в своих целях. С одной стороны, образ Дро стал идейным ядром объединения бедуинов, которые уверились, что готовы встретить его после столетнего отсутствия. С другой, для Конгломерата это был правительственный проект по созданию сепаратистских сил, вызревания групп повстанцев, замаскированных под идеологическое движение «третьей ереси». Руками бедуинов намеревались захватить часть планеты. Вполне вероятно, сперва планировали «возродить» Дро Медар в виде компьютерного вируса, который проникнет в компьютерные системы колоний, а также научных станций разных государств, и обрушит их изнутри. Но «цифровое воскрешение» не было понятно бедуинам, не имело вообще никакого эмоционального подкрепления. Нужен был Дро Медар во плоти. Возможно, на его позицию рассматривали Бостромова. Но нужен был коренной бедуин, великолепный воин, умевший поднять за собой массы, нужен был военный, а не ученый, и тогда Бостромов предложил такого кандидата, который вдобавок ко всему своим выдвижением был обязан главе «Стилобата» — на роль вождя подыскали профессионального военного, спецназовца родом с Марса, который последние двадцать лет проводил спецоперации на Земле. Некоторое время все шло по плану. Повстанцы набирали силу, правительство через Бостромова тайно оказывало им поддержку. Бостромов решает, что это его звездный час, теперь повстанцы должны захватить «Стилобат», а потом и другие колонии и станции. Тогда он устраняет от руководства Акина, начальника охраны, человека самостоятельного и проницательного. Только вот того Бостромов не предусмотрел, что у Трефа на уме то же самое, что его подчинение в первое время было показными, а сам Бостромов как связующее с Землей звено Трефу перестал быть нужен. Повстанцы уже по-настоящему нападают на «Стилобат». Тут случайно обнаруживается — и я здесь непосредственный участник, — что в одном тарке воспроизводится ситуация, похожая на то, что творится вокруг «Стилобата». Дикие повстанцы и цивилизованная власть. Бостромов телеграфирует Конгломерату, что выход найден, вспоминает про своего старого друга Вертова, специалиста по языкам, который способен помочь в расшифровке языка анчурских повстанцев. Такова предыстория событий, в которые ввязался Вертов.

— Что было потом, вы знаете.

— Вы забыли объяснить самое главное для меня — зачем нужна мутация языка?

— Бостромов быстро понял, что Анчурия — это искусственный интеллект. Он скрывал это всеми силами, потому что был уверен, что в тарке вся ситуация воспроизведена абсолютно точно, и боялся, чтобы никто не разгадало его планов. Они могли стать понятными из изучения Анчурии. После того как Лжедро выступил открыто, у Бостромова был один выход: дожидаться военной помощи и подавить повстанцев. Но, как вы знаете, не успел.

— Реализуй Ник свои планы, что бы тогда было?

— Я думаю, было бы создано нечто удивительное, новое. Вся эта «экологическая тишина», «третья ересь» и другие концепции — все это идеи Бостромова. Он действительно хотел выполнить заветы настоящего Дро и объединить Марс под своим началом.

Тут Левкоев оживился:

— Я думаю, у него были на это все права. То, что вы сейчас услышите, покажется вам неправдоподобным. Ник Бостромов не был сиротой. Даже родителей не имел, поскольку был генетическим клоном человека, жившего на Марсе сто лет назад. Это ошеломительное знание он носил с детства: что он тот самый «первый марсианин», Дро Медар, который обещал вернуться через сто лет. И с детства готовился к своей миссии. — После паузы он добавил: — Теперь Бостромов ушел к своим бедуинам, скрылся среди них на много-много лет, чтобы однажды, когда-нибудь, снова...

Хорошо, что Левкоев успел об этом рассказать. Врач часто спрашивал Алекса, с кем это он беседует. Вертов пожимал плечами. А после назначения нового препарата Левкоев исчез. Не хотелось верить, что эти события связаны. Ведь не мог же он все это придумать за Левкоева. Вечера Вертов проводил на первом этаже лечебницы, ожидая по телевизионному порталу подтверждения новых сведений. Что «Стилобат» вот-вот расформируют, что «третья ересь» вместе с Лжедро объявлена вне закона, а Бостромов в розыске. Что Анчурию признали первым «истинным искусственным интеллектом», разумным вирмирком, созданным Бостромовым, который держал это в тайне, настаивая, что подобное невозможно. Но в планетарных новостях рассказывали об урожаях, об освоенной возле Скиапарелли целине, — никакого Бостромова и даже бедуинов.

Выслушав эту историю, «адвокаты» сказали:

— Никакого Левкоева не было. Сотрудник под таким именем на станции не числился.

— А Акин?

«Адвокаты» переглянулись.

— Всю эту объяснялку с Левкоевым в главной роли, — сказали они, — ты, Вертов, в горячке выдумал, а потом изложил нам.

Тетрадь, которая стала бы ударным аргументом, исчезла при оформлении в лечебницу. Сгинуло и письмо Бостромова.

— Все, что тебе нужно знать, это что полстанции временно пошло с ума от слияния их сознаний с Велмири, — сказали «адвокаты» в последнее посещение. — Бостромов проводил эксперименты над сотрудниками, не выводя их из Велмири, а, наоборот, связывая сознание с виртуальностью. Тогда якобы и случилось нападение бедуинов и повстанцев, а на самом деле ничего этого не было.

Конечно, так было бы выгодно Конгломерату, чтобы все временно пошло с ума и ничего на самом деле не было. Вертов подписал бумагу, что не может проходить по делу как свидетель, поскольку его воспоминания носят хаотичный и фантомный характер. А сам он страдает от серьезного нервного заболевания, полученного в результате стресса во время перелета с Земли на Марс. К бумаге в клинике приложили заключение о частичной невменяемости Вертова и невозможности использовать его показания в суде. На следующий день он покинул лечебницу с билетом в аэропорт Кассини.

27.

Добираясь к Кассини, встретишь места совершенно марокканские или тосканские, иногда мелькнет итальянская вилла или дворец в мавританском стиле. Здесь «Бедуин» бежит цветущими садами, которые в пору бесконечно длинного лета видны даже из космоса: брошенная с юго-востока горсть сиреневой пыли. Темнеет Каньон возле Жемчужной земли, перевернутую чашу горы Олимп обтекает атмосферный фронт, устремленный к равнине Амазония. Над «Стилобатом» лежат тучи, и, наверное, крошечными копытцами дождь сейчас топчет степь вокруг него.

За окном поезда длились сельские пейзажи, пригород обширной, раскидистой агломерации с дачными поселками. Когда возникали томительные остановки, казалось: сейчас появятся бабушки, спешащие к электричке. Заполнив пропыленные вагоны, повезут они в своих дачных сумочках и корзинках сквозь космические пространства провинциальный, деревенский Марс.

Вечером на стекло легли крапинки дождя, того самого, который Вертов догонял с момента прибытия. В вагоне запахло теплым, пыльным полустанком. Пока «Бедуин» стоял на очередной станции, Вертов наблюдал, как в обе стороны по перрону спешат люди. Всегда в профиль. Вот человек, похожий на какую-то цифру или букву. А по существу, это хаотичное движение, подумал Алекс, есть протекание текста, сплетение и прохождение строк сквозь цитаты из разных жизней-походок. Если уметь читать эти иероглифы, необязательно отслеживать строку до конца, достаточно извлечь несколько знаков, чтобы понять, куда ей назначен путь, как это делает программный код, особенно если научиться им управлять, — тогда он будет потакать и показывать то, что угодно Вертову.

Под перестук «Бедуина» снился шаттл на пути к Земле, а полчаса назад Вертов вошел домой. Снова Рождество, и за окном тот же медленно, умиротворенно падающий снег, искрящийся близко подлетевшими к окну снежинками, и огромный, разбросанный дисковидными жилыми массивами город светился под сходящей с небес снежной сыпью — длинными, заплетенными в снегопад лучами, подводной иллюминацией. Мегapolis-сад, совершенное творение человечества двадцать третьего века от Рождества Христова.

Как обычно, Алекс включил новостное поле и, манипулируя жестами-посредниками, выбрал популярные сюжеты. Просмотрев, смахнул поле и, оставив течь через комнату медленную смену цветовой гаммы, миниатюрное северное сияние, лег в левитационный гамак.

Все давно спали. Тишина была совершенной, как в том сне, когда его сын Макс рассказал, что время повернуло вспять, и Алексом овладела окончательная, коренная уверенность, что время замкнулось, и его сны образовали длинную, блуждающую петлю.

«Теперь время пойдет назад, — думал он. — Из прошлого к настоящему. То, что на краю Вселенной, — прошлое для нас, и теперь оно движется к нам, в настоящее. Через миллиарды лет настоящее

и прошлое встретятся, и тогда наступит единственное временное наклонение: Всегда. Не будет времени и пространства — будет одно Всегда. Бесконечное, истинное Бытие. И в этот момент вся материя, все атомы и частицы, все бывшие тела и души встретятся в одной точке, из которой все вышло и в которую все войдет обратно. Как в игольное ушко. И пройдут в это игольное ушко все: и чистые, и грешные, — и сольются, и вспыхнут».





Валерий Бочков

## КЛЕОПАТРА ЧИСТЫХ ПРУДОВ

*Но когда я увидел эту третью девушку, то поразился ее красоте. Я благодарил небо, что проглядел ее прежде: без сомнения, я мог бы иметь ее четырнадцать часов кряду. Звали ее Сент-Илер — та самая, что под этим самым именем прославилась год спустя, когда один милорд увез ее в Англию.*

*Джакомо Джироламо КАЗАНОВА  
«История моей жизни»*

### Часть первая

#### ТУТ

#### 1

Не люблю смотреть на спящих. Они так беззащитны, так открыты. Лица спящих просты, без обычных гримас, которые, как людям кажется, придают лицу выражение значимости или добродушия, или ума. Как можно ненавидеть спящего — глаза его закатились, в щелочку под вялым веком виднеется белок глазного яблока. Ненависть к спящему нелепа — с таким же успехом можно ненавидеть покойника. Глядя на спящего, я всегда думаю о смерти.



Кулик заснул сразу. Я вернулась из ванной, а он уже спал. Подмыться да зубы почистить — это сколько? — минут пять, от силы семь. Спал он с открытым ртом, но не храпел, буду честной — спал тихо.

Три часа назад, на съезде с Можайского шоссе, Кулик пытался, впрочем, не очень настойчиво, принудить меня к минуте. Не к месту

вспомнилась Янка Руднева — она произносила это слово с мягким знаком посередине и у слова появлялся французский привкус.

Мы съехали с Можайки на какой-то проселок. Ливень хлестал как сумасшедший, фары выхватывали куски придорожного мрака, обозначая там какие-то смутные формы, которые, не успев родиться, проваливались в кромешную темень. Кулик воткнул четвертую скорость и мягко опустил ладонь на мое колено. Не отрывая взгляда от дороги, он сдвинул руку повыше и сжал пальцами мое бедро, точно проверяя упругость мышцы.

У меня наготове было два вопроса: что ты сказал жене? И второй — неужели она тебе поверила? Работает безотказно. Его ладонь пропутешествовала в мою промежность, мизинцем он настойчиво тер шов на моих джинсах. Мне стало смешно: взрослый мужик — неужели он всерьез думает, что вот такое скобление мизинцем должно меня возбудить?

Словно угадав мою мысль, он начал говорить. Вот тут он мастак, это он умеет. Говорил негромко и неторопливо, даже забыв на время про джинсовый шов. Дворники нервно сновали по стеклу, своей прытью диссонировав с вальяжным баритоном.

— Там (пауза) рядом с дачей, — он ткнул небритым подбородком куда-то вбок, — течет речка Снопить... Неприметная речушка, каких не счесть по Руси. Один берег пологий, другой покруче. В заводах кувшинки желтеют, камыш острым листом шуршит. У мельницы заброшенной — омут, там карась с налимом ходят...

Чтобы ненароком не рассмеяться, левой рукой я обняла Кулика за шею, пальцами начала поглаживать бритый затылок. Костистый череп, колючий и шишковатый, наощупь напоминал теплую обивку старого дивана.

— Главное успеть до утренней зорьки, — в голосе появилась мечтательная душевность. — В предрассветный час, когда и дальний лес, и мельница, и мостки — все становится призрачным, аморфным, когда весь мир утопает в сиреневой дымке, — какое же счастье выудить из фиолетовой воды меднобокую рыбину — за миг до рассвета...

Я добралась до дальнего уха. Мочка была мясистая и на удивление холодная.

— ... и чешуя на ладонях будет сверкать, как потускневшие золотые монеты из тех сундуков с затонувших испанских галеонов...

Ушная раковина казалась резиновой. Точно — медицинская резина, из такой грелки делают. Лишь бы не читал стихов. И он тут же начал:

*Звезда упала. На устах у всех  
за нею вслед желанье просияло:  
что истекло и что нашло начало?  
Кто провинился? Чей искуплен грех?*

Он сделал паузу, ожидая восхищения. Я решила подыграть — ну, не законченная стерва же. К тому же моя память набита словесным хламом из разряда лингвистической мастурбации, три семестра «Теории критического анализа» даром не проходят:

— Поэзия балансирует на грани религии и магии, от которой произошла, и выбор между тем и другим неизбежно ведет к отказу от поэзии — или от веры. Вследствие этого разлома, жизнь большинства поэтов так трагична. Поэт — это шут, юродивый, скоморох — его редко воспринимают всерьез. Но если уж...

Кулик не дал договорить. Жаль — так я могла еще минут сорок молотить. Перебил, повысив голос.

— Нет! — страстно. — Нет!

И тут же:

— Поэт — это безумец, который голым выскакивает в грозу с надеждой, что в него попадет молния.

Кулик замолчал, приподнял гордую голову и даже слегка выставил вперед челюсть. Мой ход — пауза оставлена специально для меня. В огне фар косой штриховкой мельтешил дождь, шоссе блестело как мокрая крыша.

— Выходит... — сдавленным голосом имитируя вожделиние, произнесла я. — Выходит, гроза — это ...

Пауза. Его ход.

— Нет, милая, ты — молния!

Кулик посмотрел на меня, пристально и строго, будто прикидывая на глаз мощь моего электрического заряда. Настоящий повелитель стихий и ловец молний. Его ладонь накрыла мою, он притянул ее и прижал к своей промежности. Мягкий бугор гениталий оказался весьма средней величины. За окном проплыли дохлые огоньки неведомой деревни, какая-то будка на столбе вроде тюремной вышки, все это на берегу черного водоема с желтым прожектором на той стороне. У Янки Рудневой была личная квалификация мужских гениталий — от «свистульки» до «пушки». Я сжала пальцы, комок под моей ладонью до «пушки» явно не дотягивал.

Кулик перешел на третью передачу. Движок надсадно пыхтел, в кабине завоняло выхлопом. Мы взбирались на невидимую гору. Кулик развел колени, ухватив мой затылок, попытался наклонить голову — все молча. В ребра — весьма ощутимо — воткнулась ручка переключения передач. Он продолжал давить на затылок. Это что — заветная фантазия или уже какая-то дура проделала тут такой аттракцион? От штанов пахло мокрой тряпкой, так воняло в классе после «влажной уборки» — мелом, детским потом и протухшими тряпками. Запах счастливого детства, он с тобой навсегда.

— Мой дорогой, — обратилась я прямо к его гениталиям. — Давай повременим. Если машина влетит в колдобину, то я могу просто откусить его.

Я слегка сжала пальцы. Он убрал руку с затылка — равнодушно. Надулся: мол, тебе же, дуре, хотел радость показать. Щурясь, стал всматриваться в дорогу.

Как можно быть таким убожеством — монеты из тех сундуков с затонувших испанских галеонов — ну как можно произносить такую пошлость вслух, даже если она и пришла тебе на ум?

Я разогнулась, правой рукой нашарила сбоку рычаг, рывком отодвинула кресло назад. С наслаждением вытянула ноги. Не так чтоб длинные, но весьма стройные, кстате, тридцать восьмого размера, с хрупкими лодыжками и мускулистыми икрами, которые переходят в упругие ляжки — не забудь про миниатюрные коленки ручной работы — и упираются в ягодицы — пара крепких и правильной формы ягодиц, далее убедительная талия (изящная — штамп, но он в точку), грудь среднего калибра — две штуки тоже — с задорными сосками. Что еще — плечи, руки, с любовью вылепленная шея, лицо, плюс два иностранных языка (один из них — китайский) и надежда, если не на спасение, то хотя бы на вечный покой.

## 2

Я бы никогда не смогла работать проституткой. Не вокзальной шлюхой, а настоящей профессионалкой в сапогах змеиной кожи на хищной шпильке — с постоянной клиентурой, графиком у массажиста, в парикмахерской и в маникюрном салоне. Физиологическую часть я бы еще кое-как потянула, если исключить анал и поцелуи в рот;

в конце концов, совокупление можно рассматривать как вид аэробики — акт средней интенсивности сжигает триста калорий и считается неплохим кардио для укрепления сердечной мышцы.

Психология — вот что смущает. Как утомительно скучно, боже, как омерзительно было бы погружаться во внутренний содом каждого клиента, распутывать фобии и раскладывать по полкам комплексы, выслушивать нытье про жен, тещ и мам, про подружек, брошенных сто лет назад; вникать в кухонную банальщину подленьких измен и незатейливого вранья, да еще с именами и датами — позапрошлым летом на Кипре, Ленка из маркетинга, Мальдивы-Сейшелы-Канары, Селиванова-стерва из бухгалтерии, круиз, лыжи в Альпах (шале только для своих, русских нет вообще) и, конечно же, Таиланд и Маринка с триппером — господи, этого не компенсируешь никакими гонорарами.

Я пытаюсь — безуспешно — убедить себя, что отсутствие монетарной составляющей в моих сексуальных эскападах, выводит мой блуд на уровень чуть ли не антропологических исследований, фокусом коих является наблюдение за девиациями и рефлекторикой мужских особей, относящихся к представителям так называемых творческих профессий, на деле же не больше, но и не меньше, чем беспорядочные половые сношения с неумелыми художниками, бездарными музыкантами и посредственными писателями. Под кроватью в папке хранятся трофеи — эскизы и наброски, несколько непохожих портретов, книжки в мягких переплетах с автографами на титульном листе, пара тощих рукописей на дешевой бумаге и даже самодельный CD с невнятной фортепианной сонатой, посвященной мне. Впрочем, соната как раз получилась ничего. Но всего этого мусора явно недостаточно чтобы заткнуть дыру в моей душе. Дыру размером с небольшую галактику.

### 3

Он — Макс Кулик (с ударением на «у», имя и фамилия — псевдоним), женат дважды, первый раз — по дури, второй — из корысти (кинопродюсер, мужиковатая, на полголовы выше и на три года старше), выпустил четыре книги, был сперва обласкан премиями и критиками, назывался новым Буниным и даже юным гением, тогда длинноволосый и красногубый, с профилем матадора, сейчас бритый под ноль — лысеем-лысеем, чего уж там, — но зато при аккуратненькой

бороде, что придает ему вид беса или торговца сухумской чурчелой; каждое интервью начинает с преамбулы «Я человек не слишком образованный и не очень умный», чтобы в основной части выступления сверкнуть эрудицией и остроумием; носит яркий шарф, преподает в лите, ведет мастер-классы на любую предложенную тему, входит в редколлегии, жюри и президиумы, но продолжает одеваться, как подросток, — кеды, майка «Секс-пистолс», капюшон. Курить бросил, пьет умеренно.

Я — Ангелина Злобина с Чистых прудов, мертвая неудачница, завистливая и с дрянным характером. И добавить к этому нечего.

#### 4

Дача снаружи выглядела паршиво. Деревянный сруб, выкрашенный в шоколадный цвет. Изнутри — еще хуже. В основном из-за стыдных попыток выдать бедность за дизайнерский концепт с неловкими вкраплениями уродливых элементов, вроде меловых кораллов по пояс или здоровенных ракушек с вагинальной розовостью нутра, мол, глядите — путешествуем по Карибам, а вот, полюбуйте — коврик из Танзании с орнаментально стилизованным жирафом. По стенам картинки с Монмартра, эстампы из Флоренции, на диване и креслах кожаные подушки с мумиями и Нефертити.

Единственное, что радовало — запах здоровой дачной плесени. Смесь гнилой антоновки, погреба и мертвых мышей. Кулик заставил меня разуться в прихожей. Сам тоже снял ботинки и остался в серых носках. Я рассчитывала на обзорный тур по комнатам, но мы застряли в первой — должно быть, гостиной или столовой, не знаю, как они ее называют.

Камин, мелкий, очень незначительного, какого-то стеснительного размера, был выложен диким камнем, на полке сверху стояли красивые фотографии Кулика и кинопродюсерши, в затейливых рамках, даже золотых. В углу темнел копченым ликом Николай-угодник и лампадка с карамельным стеклышком: ныне, присно и во веки веков — аминь. Была еще бордовая картина с рамой как бы из музея с платиновой табличкой и громадные лосиные рога.

Кулик неслышно подкрался сзади и сжал мои ягодички. Я вздрогнула, он хрипло прорычал мне в затылок, дохнув коньяком. Понятно — переходим к главному номеру программы. Мимоходом подумалось:

будь Кулик маньяком, он запросто мог бы укокошить меня здесь. Зарезать? Не, это вряд ли, жалко паласа, кремового с густым ворсом; скорее, стал бы душить — повалил на пол, сам сверху, полиэтиленовый пакет на голову...

— Раздевайся! — приказал тихо.

Сел в кресло — развалился, в левой руке бутылка коньяка, правой расстегнул молнию на штанах, просунул туда ладонь.

Я вышла на середину комнаты. Через голову, вывернув наизнанку, стянула черный свитер. В окне отразилось бледное тело с черной полоской лифчика. Снаружи хлестал ливень, грохот стоял адский, никогда не думала, что обычный дождь может так шуметь. Спустила джинсы. Неловко путаясь в тесных штанинах, сняла.

Кулик механическим жестом подносил бутылку к губам и отхлебывал из горлышка, его глаза становились темнее и будто ярче. Он смотрел пристально, не отрываясь, словно боялся что-то упустить. Снаружи заворчал гром. Я расстегнула лифчик и кинула в него, целясь в лицо. Промахнулась. Лифчик повис на спинке кресла. Инстинктивно прикрыла соски ладонями. Было зябко, стыдно и скучно. Смертельно захотелось выпить.

Изображая руками смутно гавайские жесты, я медленно приближалась к креслу. Больше всего мне хотелось сдохнуть или хотя бы на время исчезнуть. Оба желания являлись невыполнимыми в силу причин, не зависящих ни от кого из присутствующих: тут, там и далее везде — до самого конца вселенной.

## 5

Дальнейшее описывать тошно: тело, голубоватое от обильно растущих повсюду (даже на лопатках и плечах) седоватых волос, неубедительная татуировка на предплечье — что-то брутальное с кинжалами и цепями, — выпирающий живот при всеобщей худобе, — Кулик яростно срывал с себя одежду, отбрасывал ее; одновременно хватал меня за ляжки и ягодицы и пытался рывком насадить на воображаемый фаллос, поскольку реальный напоминал скорее земноводное — мелкое и квелое, — а уж никак не сакральный символ мужской силы и могущества. Символ, по калибру, оказался покрупнее «свистульки», но до «пушки» явно не дотягивал. Кажется, такой размер квалифицировался Рудневой как «дудка».

К тому же нам так и не удалось растормошить его (да, слово «дудка» мужского рода). Кого тут винить — Кулика или меня не знаю, но на протяжении всего действия «дудка» вел себя снисходительно, словно делал нам одолжение. Интерес проявлял, но весьма вялый. Несколько раз ехидно вышмыгивал из меня.

Мы барахтались сперва на диване. Кулик силло хрипел, я задыхалась под его весом. Напоминало это неумелую драку. Его неказистое тело состояло из острых углов. Воняло коньячной сивухой, потом и приторным одеколоном.

Когда мы сползли на ковер, Кулик завалился на спину и усадил меня сверху. В четыре руки нам удалось заправить «дудку» в меня. Для подъема духа я начала восторженно стонать и закидывать назад голову. Кулик уже рычал совсем по-звериному, очевидно, тоже пытаюсь как-то воодушевить себя. Я азартно елозила взад-вперед, «дудка» продолжал выскользывать. Кулик пальцем запихивал его обратно. За окном хлестал ливень, раскаты грома звучали совсем близко. У меня ломило спину, колени стерлись и горели от чертового паласа. Через силу я выкрикивала неубедительные «Дай мне», «Хочу еще» и прочую чушь. Казалось, мучение будет продолжаться вечно.

## 6

Мука все-таки закончилась.

Я выползла из-под него — последняя фаза пытки проходила в миссионерской позиции, — задыхаясь, скользкая от пота, опустошенная и в смертельной тоске, я откатилась в сторону и закрыла лицо ладонями. Жалость к себе, отчаяние и несправедливость мирового устройства — шершавым комком застряли в горле. Я непроизвольно всхлипнула, и чуть громче, чем хотелось.

— Ты что? — Кулик навис надо мной, вцепился в мои запястья. — Что случилось?

Он тряс меня, зачем-то он пытался убрать руки от лица.

— Что с тобой?

Я снова всхлипнула, на сей раз нарочно. Распахнула глаза и невинно уставилась на него. Кукла Маша — говорящая и с глазами.

— Что? — В его голосе улавливался скрытый то ли восторг, то ли предвкушение какой-то радости.



— Ты знаешь... — я невинно моргнула (на самом деле мне было трудно представить, что я сейчас произнесу эту фразу), — ты знаешь, ты — мой первый мужчина. До тебя со мной были лишь мальчишки.

Мне удалось сказать это и не рассмеяться. Фраза пошлая и глупая, использую ее лишь с девственниками и робкими дилетантами. К тому же я дрянная актриса, и безусловно Кулик заслуживает лучшего обхождения. Но он застал меня врасплох, к тому же я дико устала, да-да-да — у меня ныла спина и горели стертые колени — я пребывала в черной тоске. Впрочем, вся эта дребедень тоже никак не может служить оправданием.

Дальнейшее оказалось еще гаже.

Кулик разжал пальцы и отпустил меня. Пятясь, отполз к дивану. Уперся спиной. Взгляд пристальный и слегка дикий. Мокрые, по-бабьи пухлые губы, слишком яркие для мужика. Потные волосы грязными разводами прилипли к груди, живот тоже был волосат. Бесплезная «дудка» съежилась в «свистульку» и стала не больше моего клитора.

— Ангелина...

Он сделал целомудренную паузу, а я чистосердечно удивилась, что он помнит мое имя.

— Если начистоту... — продолжил он с интонацией, словно собирался поведать мне тайну. — Мне ты казалась более искусенной, что ли... Более...

— Развратной?

— Нет, скорее, изощренной.

Я смиренно опустила глаза, пытаясь представить, куда он клонит. Из меня на ковер вытекла маленькая лужа. Я хотела подняться, он схватил мою руку.

— Я сейчас, — сказала.

— Не надо!

— Ковер...

— Черт с ним!

Притянул меня, посадил напротив. Пальцами — указательным и большим — взял меня за подбородок, чуть приподнял, разглядывая лицо. Потом бесцеремонно прихватил мой сосок и сжал — весьма чувствительно, до боли. Похоже, он решил, что после моего сказочного оргазма, со мной можно делать все, что ему взбредет в голову. В последнем романе Кулика героиню насилуют пятеро узбеков, после чего она выбрасывается из окна.

— А с девчонками,— он снова сдавил сосок,— с девчонками ты спала? Ну, началось. Невинно спросила:

— Зачем?

— Ну как...— Он сглотнул.— В Элладе юных гетер отдавали на обучение опытным лесбиянкам. Для развития чувственности. Среднестатистический мужчина не понимает всей тонкости женских настроек. Мужской оргазм прост и незатейлив, это все одно, что сравнить битье в бубен с игрой на арфе.

Очевидно, себя Кулик причислял к некоей сексуальной элите. К рыцарскому ордену умелых и неотразимых Дионисов и Приапов, способных даровать высшее наслаждение парой ловких тычков своего волшебного фаллоса. Мне стало жаль кинопродюсершу — симулировать божественный оргазм, а после додрачивать себя, пока он моется в душе. Хотя, может, у нее есть кто-то на стороне — тоже какие-то студентики или практиканты со студии.

Кулик дотянулся до коньяка, сделал большой глоток из бутылки. Протянул мне. Я отпила, стараясь не касаться губами горлышка. Вкуса не ощутила, коньяк был пресный, как вода комнатной температуры.

— Когда вы сидите передо мной в аудитории, я не могу отказать себе в фантазии и вообразить каждую из вас — вот так...— он вытер мокрые губы ладонью,— как ты сейчас...

Кулик забрал бутылку, отхлебнул.

— Руднева, кстати, которая за тобой...— еще глоток,— знаешь, какими глазами она на тебя смотрит? Я бы на твоём месте непременно с ней...

— С Рудневой?

— Да! — он азартно закивал.— Чудесная девка! Настоящая валькирия — боже! Какой круп, господи! А какие ляжки! Брунгильда!

Его «свистулька» приподняла розовый клювик и выглянула из мотка пегих волос. Неужели снова полезет?

— Вот если бы ее сюда заманить — представляешь?

Без энтузиазма я пожала плечом.

— Алкоголь, немного кокаина. Музыка атмосферная, нью-эйдж, типа, или «Сигур Рос»...— Его лицо выглядело неопрятно, борода, бабьи губы красные.— Да-да, я думал про это, думал, если грамотно организовать, то очень даже может сработать! Очень!

До меня дошло, что он здорово пьян. Ливень продолжал хлестать с какой-то inferнальной яростью. Мне стало жутко до мурашек, как это бывает в скверном сне.

— Она ж, Брунгильда, будет себя ощущать в безопасности, понимаешь, я же вроде как с тобой, самки никогда не опасаются самца, если он с другой самкой.

В саду полыхнуло белым, тут же шарахнул гром. Я вздрогнула и оглянулась, в большом окне отражалась комната, рога на стене, два голых тела на фоне дивана. Кулик схватил меня за шею — зло и больно.

— Какая же ты дура, Злобина! Ты сама не понимаешь своей власти! Я ж видел, у Брунгильды глаза василиска — сапфиры, алчущие лакомств, когда на тебя глядит, — сладострастные, похотливые глаза! Ты ж нецелованная мышка, тайный персик, монашья целка — вот ты кто! Маленькая чертовка — да! С тебя сериал снимать надо из жизни древней Эллады про греческую рабыню с мальчишеской грудью, про танцовщицу на канате или финикийскую гетеру!

Он зарычал и звонко хлопнул в ладони. Из сада ответила могучая канонада. Он усмехнулся и одобрительно кивнул.

— Пиши, что любишь! Люби, что пишешь! Впусти с себя жизнь, отдайся ей! — Кулик замахал кулаком перед моим лицом. — Пусть она тебя вздрючит, эта сука жизнь! Только так! Только так можно стать настоящим мастером — через боль, через страдание, через любовь! Через смерть! Понимаешь ты, манда татарская, через смерть?!

## 7

Слова эти я уже слышала раньше — в аудитории, не про манду татарскую, про писательское кредо мастера. Не очень ясна была логическая взаимосвязь с групповухой: с его подростковой фантазией оттрахать меня и Рудневу на пару. И еще — откуда такая уверенность, что он нас двоих потянет? Техника исполнения и артистизм, продемонстрированные Куликом полчаса назад, заслуживали от силы вялую троечку.

Он продолжал орать, авторитетно и с надрывным пафосом, жестикулируя и выставя руки картинным манером, заученно и нелепо. Вдруг запнулся и замолчал. Неожиданно помрачнел, схватил меня за щеки и стиснул. понизив голос, прошипел:

— Ты что ж, думаешь, мне самому это по нраву? Перед вами, крошечками, наизнанку душу выворачивать? На всю группу таланта — во! — Кулик выставил мизинец. — С гулькин...

Гром перекрыл матерное слово.

Он принялся ругать писателей, называя фамилии и обидные клички. Особенно досталось авторам экранизированных книг. Так — тупо, зло и неизобретательно — матерится пьянь с рабочих окраин. Никогда прежде я не слышала от него такой грязной, такой грубой брани. Пафос сменился глухой злостью. Исчезла плавность жестов. Он побелел лицом, даже ярко-алые губы поблекли.

— У меня ж первая публикация в пятнадцать лет была! Журнал «Дружба народов»! Премия «Дебют», премия «Лицей», — он азартно хлопал ладошкой по голой ляжке, — премия «Русский Букер»! «Букер», твою мать, Злобина! Тебе, зассыхе, такого не выдать во веки веков — ты это хоть понимаешь? Сука! Сволочь! Мразь!

Он вцепился в голову руками, точно хотел содрать лицо с черепа. Зашелся в кровавом рыке — царь Эдип, ничуть не меньше. Рык перешел в стон, стон — в тихий вой. Он сгорбился, сник, стал будто мельче и младше, притих нищим переселенцем на богом забытой пристани. Съежился и замер. Лишь изредка беззвучно всхлипывая горбатой спиной.

## 8

Когда я вернулась из ванной, он уже спал. Мельком взглянула — рот был приоткрыт с детской невинностью, руки раскинуты, удивленные ладошки глядели в потолок. Придерживая на груди концы полотенца, я вплотную подошла к окну. За моим черным силуэтом отражалась желтая комната. Я попыталась разглядеть свое лицо, в силуэте была лишь чернота, внутри которой хлестал серый дождь.

Больше мне тут делать было нечего.

Происшедшее, включая дорогу, заняло чуть больше трех часов. Облегчения от завершения всей этой мерзости я не испытала никакого. Наоборот, догадка, промелькнувшая вначале, обратилась в уверенность: все останется по-прежнему, словно меня тут никогда и не было. Даже если я буду возвращаться сюда снова и снова хоть тысячу лет.

Я вышла в прихожую. Распахнула дверь, ливень ворвался грохотом водопада. Пахнуло промокшей сиренью, ночью, грозой. Фонарь над крыльцом освещал сад, глянцевый и темный, моргающий мокрыми бликами. По плиткам дорожки неслись потоки дождевой воды. У за-

бора, уткнувшись в сиреневый куст, стояла машина, на который мы приехали — старая «королла» морковного цвета.

Дальнейшее произошло как-то само собой, без особого участия моего разума: я отбросила полотенце и голой вышла под ливень. Сбежала по ступенькам — стремглав, совершенно не боясь поскользнуться. Неслась во всю прыть — как бегала девчонкой. Лужи оказались почти теплыми, дождь тоже.

Я пронеслась по мощеной дорожке, с разбега вскочила на капот «короллы». Полый металл гулко ухнул под моими пятками. Капли звонко барабанили по корпусу машины, точно били в пустую железную бочку. Ловко — одним махом — я запрыгнула на крышу. Раскинула руки крестом, подставила лицо ливню. Начиналось самое восхитительное, самое главное — то, ради чего стоило возвращаться сюда.

Я смеялась, захлебываясь дождем, хохотала, кажется, что-то кричала. Экстаз, переходящий в истерику, словно кто-то пытается защекотать тебя до икоты, до слез, до смерти. Да, как в детстве, когда от хохота можно напустить в трусы.

Я размахивала руками, как птица, прыгала. Крыша гремела и прогибалась под моими крепкими пятками. В дешевой японской жести оставались вмятины, но мне было плевать на крышу. Мне было плевать на все! На приличия и условности, на нормы поведения в обществе и правила хорошего тона. На успех, славу и богатство — плевать-плевать-плевать!

Плевать на всю эту дурацкую жизнь, которую мы устроили с единственной целью — мучить друг друга.

То был апофеоз свободы, триумф безнаказанности. Миг абсолютного счастья. Миг, ради которого стоит жить. Миг, за который не жалко умереть.

Как всегда, молния шархнула внезапно. Каждый раз застает врасплох, даже когда ждешь и тебе кажется, что ты готова. Я лишь успела задрать голову. Ослепительно белый шар лопнул прямо надо мной и разлетелся холодным фейерверком, из центра шара зигзагами вырвались искрящиеся щупальца, одно из щупалец целило мне прямо в макушку, оно неслась вертикально вниз, как копьё.

На мгновенье время остановилось — капли ливня застыли в полете, синие электрические брызги замерли острыми осколками вдребезги разбитого стекла. Неоновый перпендикуляр почти коснулся моей головы. Я успела услышать гром — то был треск разрываемого наполам черного неба.

Часть вторая

ТАМ

9

Моим соседом оказался суетливый мертвец с внешностью некрасивого итальянца-южанина с громким смехом и ухватками карточного шулера в маскарадном камзоле с золотым шитьем и кружевным воротником из реквизита какой-то комедии Бомарше вроде «Севильского цирюльника». Этот Фигаро пару раз пытался заговорить со мной, но я делала вид, что сплю. Под конец поездки я действительно задремала. Когда проснулась, итальяшка приставал к соседу справа, лысому прокопченному старикану с внешностью отставного марсельского грабителя.

— Настоящий живописец не может не любить запаха краски, — мрачно оборвал старикан итальянца. — С этого и начинается искусство — с запаха! Великое искусство!

— Кстати, — подхватил моментально тот, — мой брат тоже художник. Благодаря моей рекомендации он получил заказ на роспись шпалер в резиденции кардинала Аррузио...

— В задницу твоего кардинала! — заорал лысый. — И брата тоже! В жопу!

— Весьма и весьма! — не унимался Фигаро. — Вы же помните мое приключение на острове Корфу, ту уморительную историю с мертвым бараном? Ни разу сердечная склонность не нарушила на Корфу моего душевного покоя: разве только случилось у меня приключение с дочерью прачки, о котором говорю лишь потому, что благодаря ему расширились познания мои в физике. Остановлюсь, с вашего позволения, на этом подробнее...

Кто-то тронул меня за локоть. Смуглая женщина в сари изумрудного цвета с оранжевым цветком на груди — она сидела слева и глядела на меня оленьими глазами. На лбу у нее была нарисована темно-красная точка — бинди.

— Вам, европейцам, непросто все это понять, — она ласково погладила мою руку. — Пестуй муладхару и обретешь силу прыжка лягушки. Двумя пальцами выше ануса, двумя пальцами ниже йони, на четыре пальцы в ширину...

— Любопытно, что восточная традиция,— тут же встрял итальянец,— не только оправдывает феминическую мастурбацию, но и считает ее непреложным условием возвращения чувственности и культивации эроса у особей прекрасного пола...

Индианка ласково ему улыбнулась, а до меня дошло, что на лбу у нее не бинди, а входное отверстие от пули малого калибра. Итальянец воодушевленно продолжил:

— Для девочек здесь нет большой опасности, ибо они могут потерять лишь весьма малое количество вещества, которое к тому же происходит из иного источника, нежели зародыш жизни у мужчины. Однако есть у нас доктора, полагающие, что бледность у девиц происходит именно от этого.

## 10

Впереди показался вокзал. Циклопическая конструкция, похожая на Вавилонскую башню, отлитую из матового стекла. Текучесть линий и гибкость форм сочеталась с филигранной кропотливостью отделки — изнутри здания сочился мягкий свет. Прозрачные капсулы, вроде нашей, бесшумно проникали внутрь. Зрелище напоминало демонстрацию работы ловкого механизма, часового, скорее всего, швейцарского, или какой-то затейливой игрушки для развлечения монарха, придуманной гениальным художником-изобретателем, — как если бы Леонардо да Винчи стал богом и получил безграничную возможность воплощения своих безумных конструкций.

Их было много, этих перламутровых капсул, и двигались они скоро, однако плавно и легко, точно скользили по невидимым рельсам. Никаких рельсов не было по причине отсутствия сил трения и тяготения, впрочем, и остальные законы земной физики здесь особой роли не играли тоже, что вкупе с невозмутимой тишью персикового неба, сливочной белизной перистых облаков и чувством ленивого покоя невольно наводили на мысль о загробной жизни.

За моей спиной кто-то меланхолично произнес:

— Самое удивительное, что все это может находиться внутри одной снежинки.

Другой голос шепотом отозвался:

— Или на острие иголки.

— И добавьте туда же всех ангелов священного Августина...

Обсуждать происходящее считалось неприличным, на эту тему не говорили — старались не говорить. «Где мы и что это такое», каждый решал интимно, сам с собой. Нарушителей карали: на моих глазах францисканский монах, затеявший проповедь, просто лопнул, как мыльный пузырь. Он утверждал, что вокзал является точной копией Дантова ада — только вверх ногами — и все грешники доставляются на надлежащий уровень, соответствующий тяжести их прегрешений. Лопнул без звука и исчез без следа. Впрочем, элемент здравого смысла в такой теории безусловно присутствовал.

Капсула, не сбавляя хода, проскользнула внутрь вокзала и мягко встала. Сверху лился сладкий матовый звук, округлый и ласковый. Трудно было определить, какой из органов чувств за что отвечает: слух тут сливался с обонянием, зрение с осязанием, я себя ощущала сверхчувствительной — здешние запахи были восхитительны — точно я проснулась среди ночи, а за окном конец мая, полная луна и куст жасмина.

Здешние стихии имели плавное свойство перетекать из одной в другую, богатство теней от голубого до темно-лилового, градации света от лимонного до вязко-медового — добавить сюда проворство бликов — превращали мир в затейливый витраж, но не плоский, вроде окна в соборе, а в объемный и подвижный — почти живой, в котором и ты сам одно из звонких стекол.

Тот монах уверял, что степень наказания зависит от материальности проступка: грехи невоздержанности — гнев и уныние, сладострастие, обжорство — не должны входить в категорию смертных и караться бесконечной пыткой.

## 11

А может быть, я неверно толкую происходящее. Придаю сну или бреду свойства чего-то более значительного? Загробный мир? Ад? Чистилище? Не слишком ли упрощенно — до примитивного: ведь, согласитесь, даже самые мудрые из нас не так уж мудры. Проверенные мысли, что уютней плюшевых тапок под кроватью.

Ведь тот — наш мир — если отвинтить его нижнюю крышку, не так-то хитро он и придуман, колесики деревянные да пружинки — не



сложнее шарманки, а уж снаружи и говорить нечего — бутафория, кое-как сколоченный и наскоро покрашенный макет, не более...

... А может, это просто болезнь, и я пребываю в клинике на Воробьевых горах в состоянии глубокой комы — кто знает? кто оттуда возвращался, и всё ли у вернувшихся оттуда ладно с памятью — тоже вопрос.

И еще: если лишить нас привычных мер и ориентиров, то мы тут же станем приспособлявать известное к непонятному. Метрами измерять любовь или тоску. Взвешивать в граммах синеву ночи. Это вместо того, чтобы попробовать разобраться. Постараться вникнуть и понять. Так двоечник подгоняет решение задачи к подсмотренному в конце учебника ответу — муляж истины, который не сочнее яблока из папье-маше, раскрашенного вялой гуашью. Нельзя использовать логику мускулистой мысли там, где кружева сотканы из дымки небытия.

## 12

Сверху нежно звякнули хрустальные бубенцы, оповестившие о том, что капсулу можно теперь покинуть. Мы вышли в зал нашего уровня с высоченным куполом, который просто не мог быть такой высоты, исходя из конструкции фасада здания вокзала.

Было многолюдно, впрочем, как всегда. И как всегда, при таком обилии пассажиров меня поражала тишина и отсутствие толчеи. Тишина — не совсем верное слово, правильное сказать — шорох или шепот. Так шуршат снежинки, падая в глухой деревенской ночи.

Какое-то время я держалась вместе с соседями по капсуле. Загорелый старикан наконец успокоился, на прощанье произнес, не обращаясь ни к кому конкретно:

— Когда остаюсь наедине с собой, у меня не хватает смелости увидеть в себе художника в великом значении слова; я всего лишь развлекатель публики, понявший время. Это горько и больно, но это истина.

Он сморщился. Индианка с пулевым ранением во лбу тронула его руку и улыбнулась оленьими глазами. Итальянец хохотнул:

— Маэстро! Возьмите себя в руки и отнесите в безопасное место!

Художник отмахнулся от него и пошел прочь. Следом ушла индианка: она приложила ладонь к груди, склонив голову, сделала шаг назад и растворилась в толпе.

— Позвольте, сударыня, — итальянец тонким мизинцем заправил седоватую прядь за ухо, — позвольте сопроводить вас под аркады, синьорита...

— Синьора, — перебила я почти грубо. — Не позволю.

— Однако же, я имею сообщить сведения исключительной притягательности для вас...

Он подался ко мне. От него пахло сдобными булочками с корицей. Запах что-то мне напомнил, что-то мучительно неуловимое — кажется вот-вот, и ухватишь, а нет — ускользнуло.

— Книги... — Итальянец зашептал мне в ухо: — Они запрещены Трибуналом Пяти, эти книги. «Ключ Соломонов», «Зекор-бен», «Пикатрик» и наставление по влиянию планет «Плутона», какое позволяет с помощью благовоний и заклинаний вступать в беседу с демонами всякого чина...

— С корицей... — пробормотала я.

— Что? — Он запнулся, приоткрыв рот.

Вместо ответа я смачно поцеловала его в губы.

Вокруг сновали пассажиры, долетали обрывки фраз — вялые и легкие — безвольные, как тополиный пух.

— ... территория абсолютной свободы...

— ... истинное устройство...

— ... регистрация ночи...

Сверху зазвучала музыка, некая квинтэссенция всех вальсов — Кальман, Чайковский, Прокофьев были слиты в один сосуд и перемешаны кем-то умелым с превосходным музыкальным вкусом. Пассажиры сбились в пары и начали вальсировать.

— Позвольте?

Итальянец ухватил меня. Ловко и со знанием дела закружил — вот ведь щеголь, вот проныра! Зашушукал шепотом в ухо, жарким и щекотным. В ход пошли губы и язык. Ушная раковина стала центром вселенной, все мое существо, хихикая, блаженно перетекло туда.

Легче листа, пустая, как скорлупка, голова летела кругами, восьмерками, какими-то уж совсем немислимыми фигурами. Пол исчез — да и был ли он? Итальянец уже не казался таким уродливым, к тому же у него добавились еще как минимум две пары рук. С проворством похотливого осьминога он сжимал мою талию, ласкал мочку уха и массировал сосок левой груди, одновременно расстегивая лифчик и старался просунуть жаркую ладонь между моих слабеющих ляжек.

Я впиалась в его карамельный рот. Нежно, жадно, страстно — как Руднева учила, — будто губами перезрелый персик хочешь высосать. Обвила руками. Мои ногти рвали шелк его камзола, миланское золотое шитье, воздушные кружева, сотканые усердными девственницами в слепых кельях брюссельских монастырей.

Весело трещал батист рубашки.

Бронзовые пуговицы, литые, с силуэтом крылатого льва, пулями летели во все стороны и падали в бездну, распахнувшуюся под нами. Я обхватила его цепкими ногами, скрестила их. Сдавила мускулистые ягодицы и начала движение. Как шоколадная папуаска, что скользит по полированному стволу пальмы к вожделенному кокосу. Упруго и ритмично, каждым толчком приближая полет.

Оргазм был чудесен, как глоток родниковой воды в темнице. Как утро отмененной казни. Как синее лето с желтым солнцем. Я захлебнулась и обратилась в стон. Звук растаял, едва окрасив воздух малиновым. Порочная ночь вздрогнула и замерла на полпути к безгрешному рассвету. Истома безмятежно перешла в меланхолию, та сменилась грустной пустотой; неясная звезда моргнула в прорехе холодных туч и погасла. Умерла. Все — занавес.

### *Часть третья*

### СНОВА ТУТ

#### 13

Чертов дождь — я снова про него забыла. И снова забыла спросить, какая у него машина. Опыт предыдущих заходов не всегда совпадает с реальностью последующих. Прячась от ливня под козырьком кофейни, я достала телефон и еще раз проверила последний текст. Все правильно — девять тридцать вечера, высотка на Восстания, левое крыло. Три восклицательных знака, красное сердечко и два банана.

Мне хочется обставить мой выход таинственно. А с другой стороны непринужденно. Как совместить — неясно, чувствую, что краска течет по лицу, наверняка потекла и тушь. Вечерний город гремит, сверху давит коричневая тьма, сырая и тяжелая, которая исполняется теперь вместо заката в нашей столице. К ночи коричневое перетечет в чернильное —

без звезд и месяца — свинцовая тень, набухшая дождем, придавит город, расплзется по бульварам, просочится в переулки, проберется в щели приоткрытых форточек, залется в жилища спящих грешников. Тайно, безжалостно, неотвратно. Куда вообще подевались звезды?

Машина свернула с Баррикадной — важная, чересчур белая и слишком большая. Шелестя шинами, прокатила по лужам, разбрызгивая желтизну фонарей. Я вжалась в тень. Фары наощупь скользнули по мокрой стене, по ногам, вспыхнули на золотом боку водосточной трубы. Потекли дальше, выхватывая лишь серую пустоту, наскоро заштрихованную дождем.

Хлопнула дверь кофейни, оттуда пахло теплыми булочками с корицей и убежавшим молоком. На миг мое сознание куда-то провалилась, в какую-то невыносимо уютную муть с тоскливым персиковым выдохом на перистых облаках. Когда я вынырнула, его машина стояла передо мной. Морковного цвета «королла». В темноте салона призрачное лицо лунного цвета и торопливая рука, призывно зовущая внутрь.

Я открыла дверь, взглядом скользнув по крыше, — как новая, ни единой вмятины. Забралась и села, хлопнула дверью, слишком громко.

— Извини... — тихо сказала.

Он что-то буркнул ядовито-приветливо. Мы развернулись и въехали в переулок.

— Тебя никто не видел? — спросил.

Тон непринужденный, но с подкладкой из шершавого беспокойства. Мы обогнули высотку. Кровавая вывеска шахматного бара — ферзь и рюмка, мутные окна, еще одна вывеска — эта синяя с женским силуэтом из неона, салон красоты, должно быть. Костяшки его кулаков казались зеленоватыми в свете плывущих фонарей. Остановились на светофоре перед Садовым. Поворотник нервно начал цыкать. Наконец повернули, уже на красный, пугая суетливых пешеходов. Неуклюже втиснулись в правый ряд.

— Пригнись. Пожалуйста, — добавил, — тут студенты, да и на знаковых нарваться можно.

Безропотно сгорбилась, уткнув подбородок в мокрые коленки. Куртка сзади задралась, свитер тоже. Полоской голой спины я ощутила холодок сквозняка. Или то был его взгляд. Машина двигалась рывками, мы едва ползли.

— Чертовы пробки, — проворчал он, — через Климашкина нужно было...

Тут он, пожалуй, ошибался. Тишинка и Грузинская обычно забиты до самого Белорусского. Я рассматривала узор резинового коврика с засохшей грязью, застрявшей в бороздках. Лужицы, они натекли с меня, казались каплями черной смолы, иногда в них вспыхивали летящие блики. Узор коврика вдруг сложился в мрачную африканскую морду, морда оскалилась, подмигнула и пропала, рассыпавшись путаницей невинного орнамента. Откуда-то тихо дуло, тянуло теплой гарью и машинным маслом.

- Извини... Свернем сейчас. — С грубой лаской добавил: — Ты как там?
- Дивно! — Голос получился сдавленным, точно меня душили.
- Кстати, — сказал интимно, — готовься к сюрпризу, Злобина.
- Всегда готов! — Крякнула я из темноты.

## 14

Свернули, он попросил потерпеть еще и не высовываться. На Можайку вырулим, сказал, — вот тогда.

Спина затекла и ныла. Я покорно молчала, пытаясь по изгибам улиц и поворотам догадаться, где мы сейчас едем. Он изредка строптиво обзывал соседних водителей, а то принимался бурчать, как будто про себя отвечал на не заданные мной вопросы.

Я взглянула на часы — десять ровно. Впереди была ночь, впереди была почти вечность. Я постаралась расслабить затекшую спину, шею тоже ломило. Вот уж никогда не думала, что лопатки могут так ныть.



Меня ожидала еще одна упоительная ночь — таинственная, ма-нящая, волшебная — полная жгучей страсти, восхитительной неги, тайного блаженства. Ночь любви. Между прочим, Клеопатре — если, конечно, верить легенде — за одну такую ночь отдельные безумцы были готовы платить жизнью.

Платить жизнью? Тень догадки моргнула и пропала. Жизнью? А почему бы и нет? В конце концов, на свете есть вещи и поважнее.



Евгения Матикова

## БЕЛЫЙ

Когда Федя притащил ангела в дом, матери не было.

Ангел оказался очень легким, хоть и выглядел как настоящий мальчик лет трех, с тонкими руками и ногами, торчащими из-под белой рубашки.

Федя стащил его с санок, пронес через сени, уложил на высокую кровать с периной. Кровать заскрежетала, и солнце показало испуганные пылинки.

Ангела Федя нашел в лесу. Лес начинался на холме, похожем на верблюжий горб, за который обычно уходит солнце-яичница. Ангел лежал под высокой старой сосной, пушистой с одного бока и обтрепанной с другого, на колючем апрельском снегу, бездвижно и смиренно, и был таким белым, что Федька его едва заметил. «Может, из гнезда выпал», — подумал Федя, но никакого гнезда на сосне не было.

Дом, где жили мама, Федя и его брат Саша, был выкрашен в темно-зеленый цвет. Но с тех пор, как умерла бабушка, дом не красили, краска облупилась и выцвела, и дом стал похож на соленый огурец. В нарядных, выкрашенных домах в деревне жили только те, кто работал на молокозаводе, приличного строгого вида была кирпичная школа, которую пять лет назад закрыли из-за недостатка детей в деревне, и белая нарядная часовня, которую еще не достроили.

Федя уложил ангела и сел рядом на стул, чтобы отдышаться. В доме было зябко, пахло сыростью и лекарствами, нервно тикал будильник. Он сидел и пытался услышать, когда придет его мама. Ему всегда казалось, что он слышит ее шаги, даже когда она еще за калиткой, за перекрестком, за деревней.

Федя смотрел на мамину большую фотографию на стене — густые волнистые волосы, скулы, длинная шея и плечи. На фотографии подпись — Люба Ильина. Федя не умел читать, но старший брат Саша выучил с ним букву, прописную Л, и Федя часто чертил ее на полях газет карандашом или на пыльных обочинах палкой. Рядом висели их с Сашкой фотографии, сделанные три года назад. Саша — серьез-

ный, пошел в первый класс, темные волосы вьются, сидит смирно, глядит умно, излучает надежду на большое будущее. Рядом — фото трехлетнего Феди, белобрысого и лопухого, голова круглая, как у отца-пьяницы, улыбается во весь рот.

Уже наступили сумерки, деревню будто накрыли крышкой, а белый ангел так и лежал неподвижно. Федя подносил ухо к его груди, чтобы найти сердце, но ничего не услышал, а потом поднес пальцы к его носу и поймал еле уловимое теплое дыхание. «Значит, живой», — обрадовался он.

Мама и Саша пришли очень поздно, они были в городе в центральной больнице.

— Мам, смотри, кого я нашел! — вскочил со стула Федя, как только они появились на пороге.

Мама и брат вошли в комнату. Мама откинула одеяло и увидела худого и странного незнакомого мальчика. У ангела была кварцевая кожа, полупрозрачная, хрупкая, тонкая, как замерзшая утром осенняя лужица, надавишь на нее — и с треском нарисуеться паутина трещин, а из них засочится холодная серо-голубая вода. Волосы у него были пушистые и почти белые, еще не налитые цветом, как у годовалого ребенка, а губы — ярко-розовые. От него пахло свежестью и прохладой, будто он состоял из лесного воздуха. Из-за спины у него торчали крылья, совсем маленькие, цыплячьи. Мама осторожно перевернула его на бок и потрогала их, настоящие ли. Крылья были настоящие и росли прямо из лопаток.

— О, Господи, — прошептала мама.

— Настоящий, что ли... — удивился Саша.

— Мы играли с Ибрагимом у школы, а потом я хотел идти вас встречать, — Федя говорил быстро, запинаясь, — ... и мимо часовни пошел, которая строится, а там свечка горела, настоящая! А я желание загадал — пусть Сашка выздоровеет — и свечку задул. А потом на холме нашел вот его. Он настоящий! Волшебный! Он нам поможет, мам!

Мама по привычке хотела отругать Федю, что опять водился с приезжим Ибрагимом и один пошел на холм, а по дому ничего не сделал, но остановилась, замолчала.

Они долго стояли втроем, уставившись на ангела, не понимая, кто он и что с ним делать. Осторожно трогали его, боясь прикоснуться к прохладной коже, укрывали одеялом и двумя пуховыми платками сверху, аккуратно брызгали на него водой, чтобы очнулся. И он

очнулся. Открыл глаза, промычал что-то, выпил теплого молока и снова заснул.

Ночью стало тихо. Дом наполнился густой темнотой. Федя долго ворочался с боку на бок, но спал крепко и безмятежно, как спят дети после волнительных праздничных дней. Саша часто просыпался, то от боли, то от кашля, скрипел железной кроватью, а мама Люба не спала почти всю ночь. Она не могла объяснить сама себе, но чувствовала, что незнакомый странный мальчик, волшебный ангел — ее заслуженная награда за то, что жизнь не сложилась, что так рано умерла мама, что приходится убиваться на двух работах, а денег все равно не хватает, что болеет Саша и никто не может его вылечить. Люба была уверена, что ангел — ее заслуженное чудо.



Утром они проснулись, и каждый почувствовал, что в доме стало как-то светлее, свежее и будто бы просторнее, то ли потому, что апрельское солнце светило ярче и дольше и весна наполняла улицы жизнью, а может оттого, что от ангела пахло хвоей и зеленью.

Саша предложил называть его просто Белый, потому что никто не знал, человек он или нет.

Белый был слаб, истощен и будто бы болен — не мог есть, только пил молоко, не мог говорить, но все понимал, улыбался сам себе и гулил, как ребенок. Его кормили, одевали, умывали и причесывали, не хлопали дверьми и тихо разговаривали, когда он спал. И с каждым днем Белый становился свежее, крепче, белее, а крылья его росли.

Больше всего о Белом любил заботиться Федя. Он разговаривал с ним, обнимал, и часто они вместе смеялись непонятно чему.

Теперь мама Люба приходила домой с работы в хорошем настроении, будто бы и не уставала. По вечерам она вязала тяжелые пуховые платки и варежки, продавала их и покупала молоко, сметану и сливки у соседки.

— Молоко от всех болезней, — говорила ей соседка, отдавая вместо привычной одной банки три. — Но ты Сашу к бабке-то свози на всякий случай. Это ж сглазили его, я тебе говорю. Вот и врачи даже болезнь назвать не могут!



Люба кивала и спешила домой. Она поила Белого теплым парным молоком, делала разрезы для крыльев на старых Фединых кофтах, чтобы одевать его, нежно причесывала, иногда называла «мой мальчик» и радовалась, замечая, что каждую неделю его крылья растут. Она смотрела на него с радостью и гордостью, как смотрит хозяин на свой богатый урожай, как мастер смотрит на свою совершенную поделку.

Саша много кашлял. Ему казалось, что его легкие вымазали грязью, и эту грязь невозможно выкашлять, избавиться от нее — каждый день она вытягивает из него маленькими порциями силы и надежду. Каждый раз, когда Саше становилось очень плохо и казалось, будто его тело выжимают как мокрую тряпку, Белый приходил к нему, садился на кровать и держал его за руку. Тогда Саше становилось легче, и он мог рисовать в клетчатых тетрадках поезда с острыми локомотивами, похожими на пулю, спортивные машины, по форме похожие на обточенный морем галечный камень, остроносые самолеты и ракеты. Он рисовал обычной дешевой ручкой старательно, аккуратно; по-инженерному дотошно продумывал каждую деталь и следил за симметрией. Изрисованные тетради он прятал на шкафу, чтобы не достал Федя и не увидела мама.

— Поскорее вылечи моего брата, — слышал он, как шептал Белому Федя, когда гладил его по уже большим, оперившимся крыльям, на ощупь похожим на тонкий настенный ковер с оленями, который висел рядом с маминой кроватью. — Саша поправится, и мама будет с нами играть, мы даже в город съездим, я обещаю! — Но в ответ Белый или бессвязно мычал, или восторженно улыбался.

К концу лета крылья у Белого выросли почти до колен, Федя гладил их и мечтал, что они вместе когда-нибудь полетают, Саша почти всегда лежал в кровати, у него не было сил гулять, он разговаривал все реже и тише и только рисовал в тетрадках самолеты, улетающие в облака, и ракеты, удаляющиеся от Земли.

Когда пришел ноябрь, и небо будто накрыли пыльным мешком из-под картошки, а трава стала ржавой и мокрой, Саша почти не вставал. Грязь в его груди засохла, и кашель стал совсем безнадежным. Люба снова начала давать ему лекарства, от которых Сашу тошнило.

— Не играй с Белым, — раздраженно говорила она Феде, — не отвлекай его. Ему дело нужно сделать, а ты мешаешь ему.

Она все чаще сажала Белого на кровать к Саше, и его боль немного утихала, но болезнь не отступала. Люба купила лампаду и каждую ночь зажигала ее перед иконами, доставшимися от родителей. Иногда молилась, поглядывая то на иконы, то на Белого. Молилась робко, без надежды, будто стучалась в дверь к большому занятому начальнику, боясь его побеспокоить, уверенная, что ее все равно не услышат, не пустят, грубо крикнут: «Он занят».



Была долгая и черная ночь. Саша не мог заснуть, потому что стучал дождь, однообразно и бесконечно, как стучит железная дорога. Он опять кашлял и стонал, и Люба почти не спала. Она вставала, делала уколы, переносила Белого на Сашину постель.

— Ну давай, вылечи его, — тихо просила она. — Почему ты его не лечишь?! Ты не понимаешь, как? Ну, так спроси, спроси у Него, — Люба кивнула в сторону икон, отражающих свет лампы. — Ну? Лечить скорее надо, слышишь, зимой ему еще хуже будет.

Но Белый только улыбался.

— Все хорошо у меня, мам, не волнуйся. Мне легче. Иди спать, — отвечал матери Саша.

И она погладила Сашин лоб, его густые волосы, укрыла, легла и заснула, когда в окно ударились сто тридцать шестая капля.

Белый мальчик сидел на кровати и гладил Сашу своей рукой с тонкой, почти целлофановой кожей, и Саше по-настоящему становилось легче. Саша чувствовал, как сдавливающая боль, похожая на огромный невидимый пресс, наконец, отступила, и из легких пропала вся тяжелая и склизкая грязь, и он смог, наконец, легко дышать.

Саша спокойно проспал всю ночь, а утром умер.



Люба больше не вязала, не ходила к соседям за молоком, не ездила на работу, не провожала Федю в школу. Она куталась в старый изношенный серый платок и лежала, притянув колени к подбородку. Иногда она слышала, как Федя с Белым хрустят квашеной капустой и огурцами,

как Белый что-то лепечет на непонятном языке, как расправляет свои уже огромные крылья, как Федя бормочет себе под нос, пытаюсь сделать уроки. Каждый звук будто колот ее, не хотелось ничего слышать, ничего думать, ничего решать. Она хотела изолироваться, погрузиться в вакуум, в защитную оболочку, остаться без звуков, запахов, мыслей.

Люба слышала, как лепечет Белый, и ничего не понимала. Она кормила его и, без того уставшая, вязала ночами, чтобы иметь еще хоть немного денег — для чего? Почему он делал Саше легче, но так и не вылечил его? Зачем он появился, но не принес никакой пользы? Для кого он был создан, если не смог сделать чудо? Большой и вечно занятый начальник будто снова хлопнул тяжелой дверью прямо у нее перед носом, Люба чувствовала себя обманутой, маленькой, незаметной и ненужной.



Первым морозным днем выпал снег. Посыпал на замерзшую дорожную грязь, на сухой бурьян, на треугольные крыши домов. Снег шел недолго, старательно сшивал небо и землю, прятал горизонт. В доме стало прохладно, Люба лежала на диване и вдруг очнулась. Из соседней комнаты она услышала звук бьющейся посуды, хлопающих крыльев и радостного гуления. Люба осторожно поднялась с дивана и прошла в соседнюю комнату.

Белый, распахнув свои большие белоснежные крылья, парил у потолка и улыбался. Люстра была разбита, шторы упали, на полу валялись осколки посуды, фотографий, висевших на стене, опрокинутая скатерть, разбитый будильник, со шкафа попадали Сашины тетради — валялись измятые и порванные. Белый мальчик научился летать и искренне радовался долгожданному умению.

Люба замерла, глядя на растрепанного и счастливого ангела. Медленно оглядела комнату, долго смотрела на рисунки самолетов на дрожащей от взмахов крыльев странице упавшей тетрадки, а потом быстро надела куртку и накинула на голову платок. Обулась в валенки и вышла во двор. В сарае достала Федины санки, подкатила их к дому. Зашла в дом, схватила Белого за ноги и обвязала его платком, чтобы он не мог двигать крыльями. Усадила его на санки, укрыла тонким шерстяным одеялом и покатила.

Санки ехали тяжело, нежный первый снег таял и обнажал подмерзшую грязь. Люба шла быстро, как только могла, часто вдыхала холодный воздух и, наполненная злой энергией, бубнила себе под нос:

— Раз ничего не можешь, то и нечего тебе с нами жить. Вон, летать научился, откормили тебя, так и лети себе откуда пришел. Зачем появился? Это все Федька... притащил тебя... глупый ребенок. На тебя только молоко переводить. А польза от тебя какая?

В гору ехать было очень тяжело, и дыхание у Любы сбилось. Белого уже начал грызть мороз, он дрожал и постанывал.

— Кто виноват?!.. Ты и виноват. Заставил в себя поверить, думала, ты и правда ангел, а я, дура, и поверила. А может, надо было лучше к бабке той сводить...

В лесу Люба без труда нашла ту единственную сосну, стащила Белого с санок и усадила, прислонив к стволу. Развязала крылья. Он дрожал, скулил и хватал Любу за руки, цеплялся за ее пушистый платок, пытался прижаться к ней, чтобы согреться.

— Ну все, лети давай. Кыш, говорю, лети. — Люба замахала руками, но Белый остался сидеть под деревом.

Она схватила веревку и поволокла санки домой, не оборачиваясь.

— Не виноват... А кто тогда виноват?! Саша? Федя? Я? Бог? Кто виноват-то? Он один и виноват. Вот и наказание ему. Заслужил, пусть и летит теперь, — убеждала себя.

Люба вышла из леса и остановилась. Ноги ее совсем не слушались, а пальцы не разгибались от впивавшейся веревки санок. Спина ныла, и болели плечи. Она села на санки, чтобы отдохнуть, и глядела вниз, на деревню. Видела посыпанные снегом дома, старые и тусклые, окруженные огородам и сараями, заброшенную школу в два этажа и с футбольной площадкой, недостроенную высокую часовню, дорогу, только наполовину покрытую асфальтом, крошечную избушку — фельдшерский пункт. «Скоро Федя должен из школы приехать», — вспомнила Люба и представила, как он придет домой и расстроится, расплатится от того, что никого нет, ни мамы, ни Белого. Она обернулась назад, увидела за деревьями верхушку обтрепанной одинокой сосны. В горле у нее стало тесно, ей хотелось, чтобы кто-нибудь ее обнял и разрешил, наконец, наплакаться вдоволь. Она поднялась и быстро, как только позволяли ей уставшие, непослушные ноги, пошла в лес. Белый мальчик все так же сидел под сосной, кутался в свои огромные крылья и дрожал. Увидев его,

Люба еле заметно улыбнулась, развязала свой серый платок, подошла к Белому и укрыла, потом взяла его ладони в свои, подышала на них, сжала, чтобы согреть. Снова пошел мелкий, тихий снег. Люба обнимала ангела и чувствовала, что спина больше не болит, ноги не ноют и в горле больше не тесно.

И она поняла, зачем им нужен Белый.



Леонид Бешин

ДЕНЬ СТАРОЙ ОДЕШДЫ

*«... тот, кто у себя дома в старом рваном пиджаке  
принимает вечность...»*

*Борис Поплавский*

|

Есть у меня одна причуда. Я, собственно, весь соткан из причуд, их у меня множество, словно игральных карт в колоде, и каждая (не только оперные «Три карты! Три карты!») достойна внимания. Но одна из них — особенная, на редкость странная и даже эксцентричная. Во всяком случае, не все ее одобряют, а некоторые так и просто гнушаются мною из-за этой причуды.

Иного при виде ее так и режет, словно бритвой по глазам (неспроста я упомянул эту самую бритву)...

Тем не менее я позволяю себе ее иметь, поскольку — закоренелый холостяк — живу один и потихоньку старею. По утрам нацеживаю настой маньчжурского гриба из банки с затынутым марлей горлышком, поливаю цветок, название которого уже и не помню.

И даже замечаю, что иногда разговариваю сам с собой.

Однако есть у меня работенка — не то чтобы репетиторствовать (хоть я и мог бы, поскольку друзья называют меня не иначе, как кладезь знаний), но обучать юные дарования... магии. Нет, нет, вы не подумайте: магии шахматной игры. Тут я мастак, граф Сен-Жермен (он-то наверняка выигрывал с седьмого хода). И стоит мне с шахматной доской под мышкой, погромыхивающей фигурами, выйти на бульвар, как все почитают за благо тихонько удалиться.

Удалиться, лишь бы избежать позора: сесть со мной за доску и проиграться вдрызг.

Чемпион бульваров, второй Капабланка или Алехин (если бы еще второй, а то ведь — двадцатый или тридцатый) — как себе не позволить иметь причуды. Их мне, может быть, и не хватает, и я себе в этом по-

творствую, даю поблажку: чуди, братец, чуди. Поблажкой же грех не воспользоваться, поскольку, увы, их не так уж много в нашей жизни, поблажек.

Вот я и пользуюсь: по первым и последним понедельникам месяца донашиваю старую одежду, скопившуюся у меня в гардеробе. Сам гардероб у меня тоже старый, разохшийся, со скрипучими дверцами и вечно застревающими выдвигаемыми ящиками (в детстве это было лучшее место, чтобы спрятаться от мамы, затаиться и до сладкого удушья надышаться нафталином). И висящая в нем одежда имеет вид заношенного тряпья.

Я бы отвез ее на дачу, как это принято в московских семьях (там всегда найдешь ватную телогрейку, фуражку без кокарды и резиновые сапоги), но дачи у меня нет: по суду оттяпали родственники. Хотел собрать мою старую одежонку, уложить в тюки и выбросить на помойку, чтобы ее растащили бомжи, но мне стало жалко.

Жалко не столько ее самой, сколько частички (пылинки) моего прошлого, да и меня самого, каким я был пять–десять–двадцать лет назад.

Между тем, приглядевшись, я обнаружил, что не такое уж это все тряпье. Некоторые свитера, кофты, брюки, костюмы вполне пригодны к носке и даже способны бросить вызов моде, всегда склонной не столько изобрести что-то новое, сколько перетряхнуть старый гардероб.

И я решил: буду хотя бы два раза в месяц надевать и донашивать мою ветошь. Конечно, предварительно отдам ее заштопать, почистить, прогладить горячим утюгом (лучше всего чугунным) — словом, привести в божеский вид.

Я немедленно этим занялся. Мне даже стало интересно, поскольку я смутно чувствовал, что старые одежды на нас неким образом влияют. Не просто придают что-то походке, жестам, манерам (заставляют в знак приветствия кланяться и приподнимать над головой шляпу), но таинственно воздействуют на нашу жизнь, открывают ее сокровенные тайны и меняют судьбу.

Словом, мне тоже захотелось выиграть с седьмого хода, захотелось воспарить, вознестись, взлететь...

## II

На дворе стоял август, по утрам дождливый, облачный (тоска собачья), но ближе к вечеру — солнечный, с закатным заревом у горизонта, похожим на остывающую жаровню, и фиалковыми лоскутами неба.

В мой самый первый понедельник меня потянуло в нотный магазин, где я особенно часто и охотно бывал раньше, отдаваясь усладе завязтого меломана, и куда и теперь иногда заглядывал.

Заглядывал, хотя и без прежней охоты, а скорее так, по привычке.

Тут следует уточнить (и не без горького сожаления): *тот* магазин теперь торговал сантехникой — раковинами, бачкам и унитазами, а от нотного остался лишь жалкий прилавок, втиснутый между штабелями коробок и ящичков.

Там, словно у древнего алтаря, священнодействовал сухонький, сгорбленный старичок, носивший потертую ермолку, гордившийся своими длинными, посеребренными сединой пейсами, засохшей розой в петлице и музыкальной фамилией — Малер. Но я все равно считал его прилавок если и не алтарем, то, во всяком случае, *магазином* и расписной потолок (парящие музы с лирами в руках), остатки лепнины, колонны, увитые гирляндами, относил к нему, не признавая никакого права на них новых владельцев.

Я благоговейно брал в руки и перелистывал партитуры Моцарта, Бетховена и Чайковского, сохранившие запах нотной печати (поскольку их никто, кроме меня не перелистывал). Все прочее же старался не замечать и с презрением отворачивался от ненавистных уродов — фаянсовых бачков и унитазов.

Вот и сейчас я, не глядя по сторонам, пробрался к моему прилавку. Я поздоровался со старичком Малером (а заодно — с Моцартом, Бетховеном, Чайковским и музами на потолке, приветствовавшими меня звуками лиры) и купил ноты «Благородных и сентиментальных вальсов» Равеля. В другой день недели я наверняка не стал бы их покупать, но в этот день — День старой одежды, — не мог не купить, поскольку... впрочем, чтобы это объяснить, следует начать издали, с тех времен, когда мне только исполнилось четырнадцать лет.

С врученной мне наградой — книгой «Дети капитана Гранта» (за отличную учебу и примерное поведение), я перешел в седьмой класс. Родители были рады моим успехам, но при этом решили, что школьных



занятий для меня явно недостаточно. По их мнению, я справляюсь с ними легко, и у меня остается слишком много свободного времени.

Свободное же время, как и всякая форма свободы, в те годы считалось чем-то опасным, таящим некую угрозу, вызывающим подозрения. Сами они боялись свободного времени, поскольку не знали, что с ним делать (нашинковать и заквасить, как капусту, засолить, как огурцы, или пустить на моченые яблоки). И их преследовало смутное беспокойство, оттого что я, успевавший по всем предметам гораздо лучше, чем когда-то они, и в этом знании могу их опередить.

Поэтому у родителей возникла мысль, превратившаяся в стойкое убеждение (истинная убежденность тогда приравнивалась к подвигу), что меня надо дополнительно чему-то учить.

Учить, чтобы я зря не слонялся по двору, не лазал по чердакам и подвалам и не водился со всякой шпаной. Я пытался возразить, что чердаки и подвалы меня не влекут и со шпаной я и не думал водиться, поскольку настоящая шпана не каждого примет.

Но родители, напуганные всякими дурными примерами, меня не слушали. Для моего обучения они, хорошенько подумав и посоветовавшись со знающими людьми (самыми знающими были наши соседи по коммунальной квартире — те, у кого был телевизор), выбрали музыку. Это казалось занятием особым, привилегированным (в отличие от шахмат, по своему дворовому статусу занимавшими место рядом с домино), а они всегда мечтали о привилегиях.

Но жизнь их этим не баловала, и мои родители надеялись: уж если не они, то хотя бы я...

Прежде всего они спросили меня, на каком инструменте я хотел бы играть. Я с уверенностью назвал баян. Мне казалось, что учиться музыке стоит лишь для того, чтобы играть в гостях или, как тогда говорилось, в *компаниях*. В гости же рояль или арфу не потащишь (да и смешно было бы тащить), а вот баян — в самый раз, пожалуйста.

Поэтому я упорно стоял за баян и ни на что прочее (остальные инструменты были для меня именно прочими) не соглашался.

Но однажды передо мной раскрылись волшебные свойства другого инструмента, стоявшего у одной из нашей соседок, сестер Алябьевых — Тамары Аркадьевны и Катерины Аркадьевны. Сухопарые, высокие, надменные, они носили длинные халаты, расшитые павлинами, курили папиросы и по утрам кропотливо пили кофе (вся наша квартира, в отличие от них, глушила чай). Телевизора у них не было, но

зато в углу маленькой комнатушки стояло пианино, называемое ими почему-то роялем.

Сами они на нем почти не играли, но им очень хотелось, чтобы я им что-нибудь сыграл. Я сказал, что не умею, поскольку меня не учили. Но они не спешили со мной согласиться и ответили мне внушительным, упреждающим жестом, словно у них на этот счет было что-то припасено: мол, не спеши со своим неумением...

Они усадили меня на венский стул, стоявший перед *роялем*. Но им что-то не понравилось, они попросили меня привстать, подложили подушечку и какую-то толстую книгу и снова усадили. Затем взяли за меня педаль и показали, какие клавиши нажимать: «Черную... черную... белую. Черную... черную... белую».

Я не знал, зачем это нужно, но послушался (все-таки я был в гостях) и стал нажимать, как показано. И вдруг из-под моих пальцев полились дивные звуки — «Лунная соната». Не чьих-нибудь пальцев, а — моих, со ссадинами, царапинами, сломанными ногтями: для меня это стало таким невероятным потрясением, что я забыл про баян и отныне заболел роялем.

### III

Разумеется, обучение мне хотелось сразу начать с «Лунной сонаты». Но Тамара Аркадьевна, ставшая моей первой наставницей, затягиваясь папиросой, небрежно сказала, что там очень трудная третья часть (на этих словах она выпустила розовое колечко дыма) — мне не совладать (выпустила подряд два колечка). И усадила меня за этюды Черни, сонатины Клементи и прочий педагогический вздор, призванный подготовить неискушенного новичка, каким был я, к исполнению венских классиков.

Сколько времени уйдет на подготовку (такой вопрос я задал Тамаре Аркадьевне)? Она надменно уклонилась от ответа и лишь произнесла: «Милый, ты же поздно начал — в четырнадцать лет. Поэтому что нам с тобой время. Сколько уйдет — столько уйдет». Но, судя по ее лицу, на котором ответ все же угадывался — таился в глазах и уголках губ, — это была вечность. Мне уже казалось, что последний этюд Черни (а он написал их несметное множество) я доучу на смертном одре. И маэстро, тронутый моим прилежанием, сам закроет мне глаза, уронив слезу на свои кружевные манжеты.

Меня охватило беспросветное уныние, и я пожалел — раскаялся в том, что по глупости отказался от баяна.

Единственным спасением для меня был тот самый нотный магазин, куда я зачастил и где стал пропадать — во всех смыслах этого слова. Да, я пропадал там часами, и я — пропадал. Пропадал, как юноши моего возраста пропадают, связавшись с девицами из подпольного оазиса свободной любви, или попросту борделя, куда сносят все добытые правдами и неправдами деньги (у нас в школе старшеклассники со знанием дела поговаривали о таком борделе). Я же этой участи сумел избежать, но все деньги, вместо борделя и школьного буфета (дома готовили обед лишь по воскресеньям), тратил на ноты и поэтому, к ужасу родителей, худел, бледнел, становился как спичка.

Этой спичкой, по их словам, оставалось лишь чиркнуть о коробок, чтобы она вспыхнула, обуглилась и сгорела, изошла синеватым дымком.

Бедные родители не догадывались о причине моей худобы, о том, что в моем заветном магазине я на полученные от них деньги с упоением скупал ноты, причем не какие-нибудь простенькие, а — сложнейших произведений. Это был уже не жалкий педагогический, а настоящий концертный репертуар. Сыграть по ним я, конечно, не мог, но мне ничто не мешало поставить их на пюпитр и попытаться разобрать — осилить хотя бы несколько тактов. Всего несколько, но этого было достаточно, чтобы во мне ожили и запылали самые разгоряченные мечты, мечтам же иногда доступно то, чего не могут пальцы.

При этом мне казалось, что по ту сторону пюпитра, из некоего зазеркалья (пианино блестело лаком, как зеркало) на меня наплывает сотканное из воздуха, из тончайших эфирных нитей сумрачное лицо композитора: Моцарта, Бетховена, Шуберта. И его рука, сжимающая гусиное перо, тянется к обратной стороне нотного листа и *оттуда* выписывает те самые половинки, четвертинки, восьмые и шестнадцатые, которые я с мучительным старанием извлекаю — выковыриваю из клавиатуры.

Так на моем пюпитре оказались и вальсы Равеля. Я попытался разучить несколько тактов и вдруг почувствовал непреодолимое желание сыграть их целиком, от начала до конца, настолько необыкновенное, завораживающее воздействие они на меня оказывали. Мне показалось, что это лучшая музыка, какую я когда-либо слышал, и не просто музыка, а выраженная в звуках тайна обо мне самом. Тайна, которую

я никогда не открыл бы другим, но автор ее неким образом угадал, подслушал и воплотил на бумаге.

Теперь я готов был целыми днями играть и Черни, и Клементи, лишь бы поскорее добраться до Равеля. Но, как я ни старался, как ни мучился, просиживая целыми днями за пианино (родители купили мне собственное), вальсы у меня получались не благородными, не сентиментальными, а — просто никакими. Черни оставался Черни, а Равель — Равелем, и от отчаяния я их забросил, эти недоступные для меня вальсы, а вскоре и купленные мною ноты исчезли с пюпитра и где-то затерялись.

#### IV

И вот в понедельник (мой первый День старой одежды) я снова купил их, эти ноты «Благородных и сентиментальных вальсов». Я бережно раскрыл их, поставил на пюпитр и, как все пианисты, собирающиеся играть с листа, разгладил ладонями страницы, усмиряя их волнообразный выгиб. Разгладил и вдруг заметил, что они на моих глазах странно суживаются до размеров маленького оконца, причудливо свертываются и уходят некоей проекцией в неведомое пространство по ту сторону пюпитра.

Я невольно протянул туда же руку, но рука моя в это пространство не попадала: ее что-то выталкивало, словно мяч из воды. «Что за чудеса! Что за фокусы!» — воскликнул я удивленно, и вдруг понял, что это пространство не имеет физических измерений и доступно лишь некоему умственному — волевому — усилию. Я невольно приподнял над головой мою старую шляпу и вытер ладонью лоб...

И тотчас оттуда, из зазеркалья моего пианино, до меня донесся глуховатый, слегка надтреснутый голос. Я никогда его раньше не слышал, но мог поклясться, что это голос самого Мориса Равеля:

— Ну что, старина, ты все-таки хочешь одолеть мои вальсы. Дерзай, приятель. Теперь у тебя все получится.

Я не без страха (суеверного ужаса) вступил в разговор, но все-таки постарался, чтобы мой голос не слишком дрожал:

— Почему вы так считаете? Я в этом не уверен. В музыке я жалкий дилетант-недоучка. Да и играю всего по часу в день, пока соседей нет дома. К тому же я поздно начал.

Он помолчал, чтобы возразить мне не сразу, а лишь после того, как возникнет обманчивая уверенность, будто он со мной согласился.

— Это не столь уж важно, дружище. Я играю ненамного лучше тебя, а с этими вальсами неплохо справляюсь. Я даже записал их на пластинку. Можешь послушать. Мне за себя не стыдно.

— Послушаю, спасибо. А если быть дилетантом не важно, то что же, в конце концов, важно?

Он снова ответил не сразу, словно на этот раз ему нужно было убедиться, что я его верно пойму и от меня не ускользнут некие существенные оттенки смысла, которые ему хотелось до меня донести.

— Важно то, что мы оба с тобой благородные и сентиментальные чудаки. Нам эти вальсы, собственно, и предназначены. Открою тебе секрет. Может быть, даже страшную тайну. — Он понизил голос, словно собираясь пугать детей, но при этом имея в виду скорее взрослых. — Я писал их для себя самого и — для тебя.

— Когда вы их писали, меня и на свете не было.

— Ах, милый мой, это не значит, что тебя не было вообще. Ты был, но в ином пространстве — так же, как и я сейчас. Меня рядом с тобой нет, но мы разговариваем. Кроме того, протяни руку за пюпитр, и я отсюда, из зазеркалья, пожму ее. Ну, смелее...

Я не без робости снова протянул руку и... почувствовал пожатие его руки.

— О, маэстро!

— Видишь, моя рука не холодная, не ледяная, как у мертвецов. Значит, я не мертвец, а живой. Вот и ты был живым, когда я писал эти вальсы. Вернее, не ты, а твоя душа, души же у нас с тобой, похоже, родственные, хотя я француз, а ты — русский.

— Вы полагаете?

— Я в этом уверен. Мы оба ненавидим пошлость, расплывшуюся за последнее время и у нас, и у вас, хотя вы и Третий Рим... гм... простите меня за шутку.

— Почему же? Для нас это не шутка. Мы по-прежнему считаем себя Третьим Римом.

— Ну, и исполать, как говорится. Считайте, кем вам угодно... Нас же не убудет с того, что мы — Пятая Республика. А я с вашего позволения продолжу. Мы с вами придерживаемся старомодных понятий о чести, о служении высшим идеалам, о рыцарском поклонении даме. Ну, и мало ли что еще нас сближает... К примеру, костюм. Мы с вами

одинаково старомодно одеваемся, предпочитаем сдержанные тона. И до зеркального блеска начищаем ботинки.

— Допустим, но я все же о другом. По части поклонения дамам все-таки вы как француз впереди. Мне же в любви всю жизнь отчаянно не везло. Это даже скверно, отвратительно, как мне не везло. Плюнуть хочется, если вдруг вспомню.

Тут он стал сухо покашливать, посапывать, издавать фыркающие звуки, явно закипая гневом.

— А кому везло?! — в гневе воскликнул он тонким голосом, почти фальцетом, вибрирующим на верхних нотах. — Кому, я вас спрашиваю?! Одинокому и глухому Бетховену, имевшему несчастье влюбиться в эту кокетку и пустышку Джульетту Гвиччарди?! Шуберту, привязанному однополой любовью к своему близкому другу и умершему если не от сифилиса, то от брюшного тифа?! Брамсу, изнемогавшему от любви к Кларе Вик, когда ее муж и его учитель Роберт Шуман сидел в сумасшедшем доме?! Прокофьеву, которого развели с женой-иностранкой и вынудили жениться на комсомольской активистке и патриотке?!

Я возразил, стараясь не терять учтивости и любезности:

— Слишком много примеров, и все равно мой для меня, уж вы простите — единственный. Я вынужден признать, что семейная жизнь у меня, увы, не сложилась. Меня любила лишь одна моя собака.

— Ах, как вы, русские, умеете себя жалеть, — ворчливо заметил он. — Бросьте. Ваша бывшая жена и сейчас вас любит и готова к вам вернуться. Впрочем, я бы этого не хотел. Это отвлечет вас от главного.

— Что же для меня главное?

— Музыка, — ответил он с недоумением, означавшим, что другого ответа быть не может. — Вам, сударь, еще надо многое выучить и сыграть. Отчитаться перед вечностью, так сказать.

— О, вечность! И мне с моими корявыми, негнущимися пальцами перед ней отчитываться?

— Да, вам с вашими пальцами. Недаром вы сегодня так торжественно оделись. Как на праздник. Поэтому прежде всего будьте любезны выучить *наши* вальсы. — Он выделил голосом особо значимое слово. — Затем, пожалуйста, мою «Лодку в океане». Затем что-нибудь Дебюсси... только не «Остров радости»: это весьма двусмысленная пьеса. Что они там выделывают, на этом острове, хотел бы я знать. Впрочем, извините, за шутку, не подобающую французу. Ну, а остальное на ваше усмотрение... Чайковский, Рахманинов, гениальный

и божественный Скрябин. И, ради Всевышнего, бросьте эту скверную привычку разговаривать с самим собой. Тоже мне старик нашелся. В вашем-то возрасте... Лучше с Богом разговаривайте, как Бетховен. Хотя это не каждому дано, но вы сможете...

— С Богом? Никогда не пробовал, но... попробую, раз вы советуете. Вы же для меня в музыке почти, как бог.

— Ну, это лишнее. — Он счит нужным показать, что ему не чужда скромность. — А так все правильно. Молодцом. За работу, дружище! Дерзайте!

Голос оборвался, и я почувствовал себя так, словно очнулся после обморочного сна. «Что же это было?» — спросил я себя вслух и вдруг вспомнил свое обещание расстаться с дурной привычкой. «Что это было?» — повторил я уже не вслух, а про себя, и этот по-новому заданный вопрос стал для меня ответом.

## V

Смеркалось; углы моей комнаты затягивало полупрозрачным сиреневым сумраком, а в коридоре было совсем темно. Но я люблю такое время, когда еще можно не зажигать унылый электрический свет. Вот только малиновый шар солнца совсем опустится за горизонт, придется включить настольную лампу, а пока... сумерки скрадывают привычные очертания предметов, лишают их плотности, вещественности, придают им что-то зыбкое, призрачное, нездешнее.

Страшновато. Того и гляди прошмыгнет домовый в заштопанных полосатых штанах на подтяжках; леший, желая полакомиться сладеньким, потянется кошачьей лапой к сахарнице, приподнимет крышку и схватит целую горсть; болотная кикимора (у нас тут неподалеку пруды и лесные топи) обчихает, обсморкает все углы, повсюду развесит сушиться свое тряпье.

Впрочем, это мои фантазии. Даже после разговора с Равелем я не верю в сверхъестественное. Для меня достаточно естественных причин, чтобы объяснить происхождение любого якобы чудесного явления, и самая веская из них — воображение.

Уж оно-то вам преподнесет любое чудо.

Вот, скажем, шевельнулось, двинулось что-то в сумрачном углу моей комнаты, и мне уже кажется...

— Сынок, ты опять от меня спрятался. А ну-ка выходи. Там же душно, в этом гардеробе, и пахнет нафталином. У тебя может заболеть голова. Ты очень чувствителен к запахам...

Нет, не кажется, а я вижу — вижу воочию, как от стены отделилась призрачная фигура моей умершей матери, неслышными шагами прошла по комнате, простирая руки перед собой, и постучала в дверцу гардероба. Пришлось и мне протянуть руку и скрипнуть дверцей, как будто я и впрямь выбрался из гардероба, где уже устал сидеть, дожидаясь ее прихода.

— Вот я, мама.

— Ты всегда был умницей. Ну, расскажи, как ты тут без меня?

— У меня все хорошо. Видишь, живу по-прежнему в нашей квартире. Меня недавно подлечили в больнице — почти даром. Я по-прежнему бережлив, экономен, вот донашиваю старую одежду.

— А мои платья выбросил?

— Нет, они висят на прежнем месте.

— Не выбрасывай, пожалуйста. Ах, как бы я хотела их надеть! Особенно мое синее в белый горошек. Мне оно так шло. Оно такое красивое и к тому же... немного волшебное. — Мать решила упомянуть о том, о чем могла бы не упоминать, но не сдержалась и готова была упрекнуть себя за это.

— Что же в нем волшебного? — Я позволил себе лишь слегка улыбнуться, показывая, что она может верить в любое волшебство, наделять этим свойством любую вещь и все равно останется моей любимой матерью.

Она так же улыбнулась моему неверию, простительному для ее любимого сына.

— Вы здесь этого не понимаете, и я, к сожалению, не смогу тебе объяснить. Но в каждом из платьев — душа, как вообще в старых одеждах.

— Выдумщица ты моя. Ну, а ты как?.. Чуть было не сказал: поживаешь. Но, наверное, это не уместно.

— Вполне уместно. Я хорошо устроена. Мне выделили комнату, тихую, уютную, как в доме престарелых. На подоконнике — мои любимые цветы. Но что ж ты не едешь ко мне на могилку? Там оградка покосилась, и все репейником заросло.

Я только и мог ей ответить:

— Прости, пожалуйста. Очень много дел.

— Да какие тут у вас дела. Вот у нас ходят слухи, что скоро... суд.



Чтобы попусту не думать, о каком суде идет речь, я счел за лучшее принять сказанное на свой счет.

— Мама, суд уже был. И по суду дачу у меня отняли. Я не смог ничего доказать. Я не член дачного кооператива, а то, что я вложил такие деньги в ее постройку и прожил там всю жизнь, никого не волнует.

— Сочувствую, милый, но я про другое. Скоро Страшный суд.

— Не думаю, чтобы он был страшнее наших судов.

— Ах, не говори так. Грех.

— Бог простит, если, конечно, Он есть.

— А ты сомневаешься? — спросила мать так, словно следующим шагом после признания моих сомнений могла быть лишь готовность расписаться в собственной глупости.

— Как я могу судить о том, чего не видел? — Я воздержался от следующего шага и ответил вопросом на вопрос.

— А музыка? Ведь ее ты тоже не видишь...

— Но я слышу. — Я пожал плечами в знак своей невольной способности слышать.

— А Бога разве ты не слышишь?

— Мамочка, слушать музыку и слышать Бога — разные вещи.

— Одинаковые.

— Какая ты у меня заядлая спорщица. Хорошо, но ведь музыка бывает и демонической...

— Никогда!

— Почему же тогда некоторые знатоки и любители избегают слушать, скажем, Девятую сонату Скрябина, называя ее черной мессой?

— Потому что они глупцы. Черная месса — это умц... умц... умц. Электрогитара, ударные и микрофон. Иными словами, все примитивное, серое, скучное, бездарное. Сонаты же Скрябина в творческом отношении гениальны.

— Равель назвал их божественными.

— Вот! Вот именно! И он прав. — Мать оживилась, обнаружив свидетельство своей правоты в словах Равеля и моих словах.

— Что ж, спасибо за лекцию. Ты утерла мне нос. И по заслугам. Так мне и надо.

— Неужели обиделся? Вот уж зря... Это не мои мысли. Лекции по воскресеньям нам читает один из ангелов нижнего чина. Впрочем, извини, мне пора. Мне позволили быть с тобой совсем недолго. — Мать поцеловала меня в лоб и, не поворачиваясь ко мне спиной, стала не-

слышными шагами удаляться в глубину комнаты.— Исчезаю и даю тебе повод счесть мое появление всего лишь плодом твоего воображения. Разрешите я сама зажгу тебе свет.

Мать напоследок тронула выключатель. Вспыхнули сразу две лампы в светильнике, замигали, погасли и снова вспыхнули.

Но ее уже не было.

## VI

В последний понедельник августа я встретил мою бывшую жену. Впрочем, бывших жен не бывает, поэтому скажем так: я встретил жену моей юности (я женился в двадцать один год).

Мы с ней живем по разные стороны от Измайловского парка, где оба часто прохаживаемся, прогуливаемся — словом, совершаем моцион. Никто из нас не хочет уступать эти владения другому и отказываться от прогулок, тем более осенью, когда дождливая игольчатая хмарь висит над прудами и ветер морщинит воду, кружа плавающие кораблями сухие, вскоробившиеся листья.

Над облаками сквозит синева, а под ними горизонт то затягивает оловянной пеленой, то пронизывает солнцем, громады сизых туч распадаются, словно столбцы подтаявшего сахара, и лазурное сияние нисходит небесным светом, похожее на благодать.

Жаль пропускать такие дни, хотя и велик риск нам с женой пересечься, столкнуться где-нибудь на тропинке. Но мы все же стараемся не попадаться друг другу на глаза, а уж если попадаемся, то делаем вид, что друг другу не замечаем. Особенно это удается жене, непридуманной притворщице, и я не осуждаю ее за это.

Не осуждаю, поскольку и сам принимаю соответствующий рассеянно-отстраненный вид и прячу глаза, чтобы случайно не взглянуть в ее сторону.

Такой уж я *друг* и такая у меня *дружка*...

Жена сидела на скамейке в парке с такой смиренной озабоченностью, словно ей давно уже надо было встать, но так не хотелось, что после каждой попытки хотя бы слегка приподняться, она сдавалась и позволяла себе еще минутку-другую безмятежной лени. Она была в наушниках, что меня очень удивило и позабавило. Никогда раньше я не замечал в ней легкомысленного желания уподобиться моло-

деньким дурочкам, опутанным проводами и убежденным, что таким образом они слушают музыку.

Я сел рядом, на затененный край скамейки (жена принимала последний осенний загар). Немного подождал и кашлянул, чтобы привлечь ее внимание, внушить, что я не случайный прохожий, а бывший супруг.

Супруг ее юности.

— Мое почтение.

Когда жена обернулась, я привычным жестом приподнял над головой шляпу.

— Боже, как ты выглядишь! — воскликнула она, оглядывая меня сверху донизу. — Стал такой импозантный. Даже помолодел. Вижу, что занимаешься своим гардеробом. Раньше я за тобой такого не замечала.

— Я тоже не замечал за тобой... — Я отвернулся, чтобы не задерживать взгляд на ее наушниках.

— Ах, это! Почему бы нет? Я же не с нечистой силой якшаюсь, а слушаю музыку.

— Не музыку, а умц... умц... умц.

— Ладно, не придирайся. — Жена все же сняла наушники. — Ну, расскажи... Снова женился? Кто она? Модель? Оперная дива? Порно звезда, наконец?

— Кассирша в магазине.

— Ты как-то невесело шутишь.

— Могу для веселья добавить, что с некоторых пор я интересую только продавщиц и кассирш. Получаю от них знаки внимания, высушиваю и клеиваю в особую тетрадь.

— А твой костюм?

— Ты хочешь спросить, ради кого я так вырядился? Так это же все обноски, дорогая. Вспомни, эту кожаную куртку ты мне когда-то и подарила на сорокалетие.

— Ах, боже мой! Ты еще называл ее летчицкой и обещал, что станешь в ней парить над облаками. Вот видишь, как я тебя понимала. А ты не ценил, отсталый человек.

— Теперь ценю, — сказал я ей в угоду, хотя и не замечал за собой ни малейших признаков того, что я стал ценить ее понимание. — Ну, а ты как? — Я посмотрел на нее слишком пристально для вопроса, заданного лишь для того, чтобы поддержать разговор.

Она ответила мне таким же пристальным взглядом и произнесла то, что менее всего ему соответствовало:

— Я стала зимовщицей.

— Во льдах?

— Нет, на даче. Просто живу там всю зиму.

— Это, знаешь ли, не так-то просто. На это должны быть причины.

— Они есть, хотя это вряд ли тебе интересно.

— Обижаешь. Ведь и я когда-то тебя понимал. Да и сейчас понимаю,— добавил я не слишком искренне, чтобы не давать жене повод обольщаться и ценить мое понимание так, чтобы оно ей польстило.— Так какие же причины?

— Я одна. И хочу быть одной. А на даче для этого есть все условия. Могу заниматься гороскопами, магией, левитацией.

— Чем-чем?

— Или я что-то пугаю... Словом, чем-то таким... ну, ты понимаешь. Особенно когда в трубе воеет ветер, невидимкою луна освещает снег легучий...

— Мутно небо, ночь мутна. Неужели ты полюбила Александра Сергеевича?

— Я всегда его любила. Еще со школы. Но я не об этом...— Жена смутилась и слегка покраснела, словно школьница. — Не знаю, как ты отнесешься к моей просьбе, но все-таки рискну.

— Давай, рискуй.

— Собственно, это пустяк — не надо придавать особого значения...

— Говори, говори. Обещаю выполнить любую просьбу.

— Правда? Только не сомневайся, а то ничего не получится.

— Господи, что ж это такое? Ты меня заинтриговала.

— И интриги здесь нет никакой. Все эти глупости, суеверия и пред-  
рассудки разом отпадают. Только ответь мне сразу, согласен ты или не согласен.

— На что именно?

Жена опустила глаза.

— Давай летаем. Только сразу... сразу... ответь.

— Давай,— сказал я, не успев толком уразуметь, взять в толк, что мне предлагают и с чем я соглашаюсь.

Тогда жена взмахнула руками, словно дирижер, поднимающий оркестр в ответ на овации публики. При этом она загадочно и призывно взглянула на меня, явно поощряя повторить за ней ее жест. Я тоже взмахнул, подражая жене во всем из одного только равнодушного недоумения, вызванного ее нелепыми жестами и загадочными призывами: а почему бы нет, если уж ей так хочется?

И тут мы оба с чудесной легкостью оторвались от земли и повисли в воздухе на высоте двух-трех метров. Осваиваясь со своим новым положением, я невольно оглядывал свои руки и ноги, словно проверяя, все ли на месте.

— Ну, как? Не жалеешь, что согласился? — закричала мне жена (от высоты с непривычки закладывало уши).

Вместо ответа я закрыл себе ладонью рот, чтобы тоже не закричать от удивления и восторга, и замотал головой, что означало, наверное: нет, не жалею.

Затем мы стремительно поднялись в голубое, прозрачное небо с плавающими осенними паутинками и мелкими иголками дождя, высыхающими, не достигнув земли. Мы оба одновременно заплакали и засмеялись от счастья.

Засмеялись и — блаженно раскинув руки — полетели.

## VII

Земля, верхушки деревьев, скамейки Измайловского парка, пруды, дорожки с велосипедистами (во вращающихся спицах проскакивала змейкой золотистая радуга) разом оказались где-то внизу, отделились и уменьшились, словно в перевернутом бинокле. Облака же, наоборот, неправдоподобно увеличились, приблизились, и солнце засияло ярче, ослепило, и на минуту перед глазами возникла нездешняя белизна.

В воздухе по-прежнему плавали осенние паутинки, налипая на лицо. Полы наших одежд захлопали на ветру, как флаги. С меня сорвало шляпу и куда-то унесло. Остатки волос на голове встали дыбом. Ветер засвистел у меня в ушах, чем-то влажным забило дыхание, и я чуть не задохнулся, закашлялся, стал рвать на себе ворот рубахи и ртом судорожно хватать воздух.

— Это сейчас пройдет. Повернись ко мне лицом. Ну вот... Тебе хорошо? — спросила жена, не выпуская моей руки и делая вид, будто это я держу ее за руку. — И не страшно? — Глядя мне в глаза, она приготовила шуточный упрек на тот случай, если я признаюсь, что испугался.

— Немного непривычно. — Я старался не смотреть вниз и улыбаться. — Все-таки я раньше никогда не летал. — Мне стало досадно, что я оправдываюсь. А затем стало еще досаднее из-за моей досады.

— Скоро привыкнешь. Мне тоже пришлось привыкать, хотя у меня отец был летчик-испытатель, вся грудь в орденах, ты же помнишь. Между прочим, твои старые одежды, и особенно кожаная куртка, подаренная мною, удивительно приспособлены для того, чтобы летать. В этом их нераспознанные свойства, приобретаемые со временем. Да и сам ты — отчаянно смелый, я тобой горжусь. — Жена прикрыла мне маленькой ладонью рот, чтобы не услышать от меня банального отказа признавать свои достоинства. — Смотри, там внизу наша Яуза, Лефортово, где мы студентами пили портвейн прямо из горлышка, вместе с крошками от пробки, закусывали какой-то дрянью, и было так вкусно.

— Было восхитительно.

— Ну, уж не преувеличивай. Ты любишь преувеличивать. — Жена пыталась поправить разметавшиеся от ветра пряди волос. — А вот высотный дом, где мы катались на скоростном лифте — вверх и вниз, только циферки проскакивали в оконцах. И когда кабина падала в бездну, ты мне однажды признался. Только не спрашивай, в чем.

— В чем?

— Кажется, в неземной любви.

— По-моему, я признался тебе в любви на Ваганьковском кладбище, когда хоронили мою бабушку Елизавету. Шел мокрый снег, на дне могилы скопилась лужица, и было так грустно...

— Это уже во второй раз. А в первый раз ты признался от восторга падения. А после мы поднялись на самый верхний этаж высотного дома, и там такое круглое окно, из которого видна вся Москва.

— Жаль, что мы тогда не летали.

— Да мы вообще не летали, поскольку не догадывались о нераспознанных свойствах вещей. Скоростной лифт — не в счет. Все его свойства распознаны. Зато теперь...

— Как ты хорошо это придумала.

— Я ничего не придумывала. Помнишь, у Льва Николаевича Наташа на балконе говорит, что надо обхватить себя за колени, поднатужиться и — полетишь. Как мы сейчас.

— А мы не упадем?

— Видишь, ты засомневался...

— Кажется, я падаю. — Я почувствовал, что воздушные потоки подо мной перестают быть мне опорой и я сползаю с них, как рыхлое ватное одеяло с кровати. — Держи меня.

— Ничего ты не падаешь. — Жена на всякий случай меня поддержала. — Не смей так думать. И измени направление мыслей. Куда бы ты хотел слетать? Пользуйся случаем — выбирай. В Париж? В Италию? В Гималаи?

— Я бы хотел в Иерусалим.

— Не важничай. Зачем тебе? Ведь ты у меня законченный *афей*, ни во что не веришь. К тому же в Иерусалим летают, оседлав черта или ведьму, а это давно уже устарело, стало пережитком. Я придерживаюсь более совершенных и современных методов.

— Каких же? Умц... умц... умц?

— Дались же они тебе, эти умц! Никак не успокоишься. Нет, мой главный метод, позволяющий мне летать, — это любовь. Я им хорошо владею. Да и метлы у меня, как видишь, нет. Вернее, есть на даче, за сараем. Так что я перед тобой чиста, словно ангел.

— Тогда — в Калифорнию к нашему сыну, — сказал я, с облегчением услышав от жены ее признание и сочтя для себя нужным при удобном случае тоже признаться, что некие упомянутые ею методы (например, любовь) мне не совсем чужды.

## VIII

Наш сын Варфоломей учился так же хорошо, как и я, но наша похожесть лишь подчеркивала роковое различие меж нами: сыну доставались одни несчастья там, где мне удавалось быть счастливым. Поэтому жена предпочла бы, чтобы Варфоломей не был на меня похож и даже учился намного хуже, лишь бы это избавило его от несчастий. Но успехи, схожие с моими, казались ей причиной всех бед, словно я невольно отбирал у сына то, что по праву принадлежало только ему и отчасти ей, раз уж она как мать ему все-таки ближе, чем отец.

Об успехах нашего сына неустанно твердили наши друзья и знакомые. Твердили особенно охотно за столом и под рюмку, когда жена вносила на блюде заливное (сквозь подрагивающее желе смутно проступала украшенная лимоном и петрушкой спинка судака), разливала по тарелкам золотистый от жира бульон, почему называвшийся у нас бухарским, и раскладывала свой фирменный салат из тертой редьки с жареным луком.

Вот тогда-то все считали нужным отметить успехи: жены — в домашней готовке и умении накрыть к празднику стол (с этого всегда начинали), а Варфоломея — в школьных премудростях и науках, благодаря чему мы, как правило, подписывали ему дневник не глядя.

Гости не забывали упомянуть и мои любимые шахматы, и по застольной логике получалось, что сын все-таки во всем на меня похож: «Унаследовал отцовские дарования. Далеко пойдет. Нам еще в его кабинеты стучаться придется».

Однако подобные фразы вовсе не переполняли меня гордостью счастливого отца. Матери же Варфоломея (моей благоверной) они позволяли, проводив гостей, произнести с досадой, упреком и затаенной обидой: «Вот уж воистину похож! Похож как две капли воды! Не ребенок, а твоя копия!»

Произнести, лишь бы нашелся повод обвинить того, кто ни в чем не виноват, и не забыть при этом себя, воплощенную невинность.

Всему этому способствовало одно обстоятельство, хотя похожесть (или непохожесть), как уже отмечалось, была ни при чем. Здесь было важно другое, о чем говорить не хотелось, тем более после таких дифирамбов и восхвалений в адрес Варфоломея — вот женою и списывалось все на ту же случайно подвернувшуюся похожесть.

Мы тогда жили у Красных ворот, в квартире с длинным коридором и рядом раздвижных дверей (все по одну сторону), уподоблявшим ее вагону поезда. Нам ценою невероятных усилий, просьб и унижений перед директором удалось устроить Варфоломея в престижную, центровую школу. Он, повторюсь, хорошо учился, соображал и по математике, и по физике, с дурными компаниями не водился и даже однажды — по случаю Нового года — с успехом играл перед всеми собравшимися на пианино (наследственность сказывалась). Это пианино, некогда купленное мне родителями, я по настоянию жены принес в жертву. Конечно, было жалко с ним расставаться, но я привез его на грузовике, накрытое брезентом, привязанное канатами к борту, и торжественно подарил школе (грузчики внесли его в актовЫй зал под аплодисменты учителей и директора).

Это была наша маленькая победа, тем более что школа давно собиралась купить пианино, а денег на это вечно не хватало. Варфоломея стали хвалить, ставить ему высокие оценки (раньше вместо пятерок часто приносил четверки и тройки: учителя по негласному сговору снижали на один-два балла), и, казалось бы, все хорошо, можно только



радоваться. Но при этом радости у нас не было, поскольку Варфоломей обладал несчастным, изначально присущим ему роковым свойством — вечно попадать в трудные, даже безвыходные положения.

Мы подчас удивлялись, как ему это удается, поскольку не раз бывало: все счастливы, на горизонте ни облачка, ничто не предвещает беды. И вдруг словно бы поворачивается невидимая стрелка, слышится звук, похожий на треск разрываемой материи, и нам приходится вызволять сына из неприятной истории, в которую он роковым образом попадает.

Кто-то из его класса украл деньги, собранные на летнюю поездку в Крым. Подозрение падает на него, потому что он как дежурный запирает дверь классной комнаты и относит ключи нянечке. Кто-то курит в туалете и жжет бумагу — у нашего Варфоломея находят распечатанную пачку сигарет и обгоревшие спички, после чего директор, вызвав нас к себе, произносит: «Мы для этого брали вашего сына? У нас своих хулиганов достаточно». И нам приходится оправдываться, умолять, обещать...

Во дворе кого-то угораздило разбить окно футбольным мячом, все разбежались, и на месте преступления застают нашего сына. Варфоломей при этом растерян и счастлив оттого, что он самый храбрый, не стал прятаться и готов взять вину на себя.

Мы, конечно, возвращали украденные деньги в школьную кассу и извинялись перед директором за сигареты и жженую бумагу. Мы же платили за разбитое стекло и, конечно, вдвое больше того, что брал стекольщик, чтобы вставить новое. Мы не роптали и не позволяли себе упрекнуть сына, но нам становилось обидно: почему же он все взваливает на нас, сам же даже не пытается найти выход и выпутаться из затруднительного положения?

Иногда мы даже осторожно, со всяческими деликатными оговорками задавали ему этот вопрос: «Неужели ты сам не можешь себе помочь? Или хотя бы попытаться?» И Варфоломей искренне недоумевал вместе с нами, беспомощно разводил руками: «Получается, что не могу. Или не хочу. А может быть, то и другое вместе».

Похоже, что он попросту не знал, как поступают в таких случаях, как находят выход и выпутываются.

Мы надеялись, что с возрастом он чему-то научится и положение изменится. Не тут-то было. Все продолжалось, как и раньше, — с той лишь разницей, что теперь нам приходилось вызволять его из милиции, куда он попадал по недоразумению, нелепому невезению

и фатальному стечению обстоятельств. Варфоломея не раз отчисляли из университета, а затем увольняли со службы (он носил на подпись ненужные бумаги в глупом министерстве) — по мнимой вине и нежеланию доказывать собственную невиновность.

## IX

Словом, ничего не ладилось, и я невольно вспоминал, как когда-то в детстве у Варфоломея упрямо заваливался набок игрушечный самосвал, нагруженный кубиками, и они рассыпались по ковру — закатывались под диван, под буфет, некоторые неведомо куда, что и вовсе не найдешь.

Вот и вся его жизнь казалась мне теперь такими кубиками...

А тут еще начались девяностые годы, все зашаталось, стало оседать, оползать, словно талая наледь с крыши, распадаться и рушиться. И нам-то с женой выживать было трудно, мы не знали, что с нами будет завтра, а тут еще закрадывался панический страх за сына: совсем пропадет.

Вскоре он действительно остался без работы, причем, не будучи женатым, ждал рождения ребенка от женщины вдвое его старше, из подмосковного Одинцова, где у нее была изба, сарай, погреб и огороды. «На что вы будете жить?» — спрашивали мы сына, и он со знакомой блуждающей, оторопелой и блаженной улыбкой отвечал: «Как-нибудь выпутаемся. Тыкву буду выращивать и продавать на рынке. Или жареными семечками торговать».

От безысходности мы были бы рады, если бы Варфоломей и впрямь занялся огородом: хоть какой-то толк, какой-то заработок. На последние копейки, чудом уцелевшие после всех реформ, мы даже готовы были купить ему необходимый инвентарь: лопаты, ведра, грабли и даже маленький колесный трактор, если понадобится, лишь бы сын выбрался из этой ямы.

Время шло, но не наблюдалось ни малейшего признака, что он станет огородником и осуществит свое намерение — выращивать тыкву. Вместо этого сын увлекся совершенно фантастическим и нелепым проектом: создал и зарегистрировал не банк, не торговую марку, а коммерческое нечто, помогающее всем желающим выбираться из трудных, безвыходных положений.

Вот тут мы с женой — после горестных вздохов и сетований — вволю насмеялись, аж в висках заломило и слезы на глазах выступили. Очень уж забавная получалась петрушка. «Ты будешь помогать выбирать-ся? Ты сам за свою жизнь ни разу не выбрался, а тут станешь учить других?!» — спрашивали мы сквозь душившие нас приступы смеха.

Варфоломей терпеливо выдержал нашу петрушку и даже принес нам по стакану воды, поскольку затянувшийся смех превращался в икоту. После этого он безучастно и загадочно произнес, не глядя на меня, хотя и обращаясь ко мне: «Да, и ты хотя бы по шахматам должен знать, что лучший учитель тот, который сам играть почти не умеет и у всех проигрывает».

Варфоломей нашел себе компаньонов — таких же неустроенных, обремененных семьями и долгами. Надо было их видеть — взлохмаченных, небритых, диковатых, в выцветших тельняшках и баскетбольных кедах. Поначалу у них ничего не получалось: к ним никто не обращался за помощью. Само их *нечто* доверия не вызывало, расположенное сначала в бывшей трансформаторной будке, кое-как обклеенной обоями, с креслами и письменными столами, явно найденными на свалке. А затем — в подвале со штабелями досок, где ночевали бездомные коты и с шипением вырывался пар из обмотанных войлоком труб.

Но затем неведомо как что-то двинулось, тронулось, шевельнулось, вырывалось, словно пар из трубы. Появились — забрезжили — то ли первые клиенты, то ли пациенты, то ли просители. Словом, страдальцы тех самых девяностых, выброшенные на свалку, как старые кресла и столы. В безвыходном положении оказывались заводы, лаборатории, проектные бюро, колхозы, совхозы, библиотеки и кружки по интересам.

А также — светские дамы в мехах и драгоценностях (оставшихся на дне шкапулки), потерявшие мужей в тяжбах и склоках с их любовницами. И — бывшие начальники, лишившиеся должностей, кресел и преданных жен. Словом, Русь уходящая...

Они приносили последние сбережения, лишь бы им не то чтобы помогли, но пусть бы у них затеплилась хоть мнимая надежда, что жизнь еще не кончена, есть шанс что-то исправить, расчистить, вымести мусор, огородить, этак дотянуть до старости и сойти в могилу, как сходят в земляной погреб за квашеной капустой и солеными огурцами.

Вот так оно и вышло, что коммерческое нечто нашего сына процветало, открывались филиалы в других городах, а там и за границей зазвенел призывный звоночек.

Словом, ими заинтересовались и их сманили...

В конце концов сын и его компаньоны переселились за океан. Они помотались по Америке, присмотрелись, приценились и выбрали Калифорнию, откуда поступило самое выгодное и заманчивое предложение. Мы не знали, потеряли ли мы при этом сына или, наоборот, обрели, но теперь и нам выживать нам стало легче, поскольку мы перестали за него бояться. Да и Варфоломей писал, что у него все прекрасно, присылал фотографии своего особняка с подземным гаражом, аквамариновым бассейном и шафрановым теннисным кортом, уверял, что полюбил Америку и даже не скучает о России.

Не скучает, поскольку и ее привез с собой в багажных ящиках вместе со всем ненужным, лишним и необходимым.

Х

Чернокожая горничная в белом переднике поверх голубых, аккуратно продранных джинсов, улыбнувшись нам ослепительной, кофейного отлива улыбкой, с сожалением произнесла, что господина Варфоломея нет дома. Произнесла и посмотрела так, словно была готова пригласить нас войти, если услышанное от нее нам не помешает. Но мы отказались, не желая опережать события и предпочитая дожждаться сына, чье приглашение было бы для нас гораздо более желанным, ценным и приятным, чем любое другое, в том числе и исходящее от самой вышколенной прислуги.

Чтобы скоротать время, мы решили погулять по маленькому — не выше двух-трех этажей — городку и, может быть, даже пообедать, чтобы избавить Варфоломея от обязательства накрывать на стол и нас усердно потчевать. Расхаживая по улицам, мы благочестиво разглядывали вывески магазинов и маленьких ресторанов, делая вид, что вовсе не голодны, хотя и готовы из вежливости оценить достоинства местной кухни.

При этом мы несколько раз оборачивались, стараясь запомнить дорогу и исподволь следя за странной особой в старомодном темно-синем платье с оборками и набивными плечами, которая тенью нас сопровождала (если не преследовала), не приближаясь и не отдаляясь. Впрочем, старомодным ее платье назвать нельзя, поскольку оно было вне всякой моды и для Калифорнии — невиданным и экзотичным, словно праздничный наряд из перьев здешних индейцев.

В выбранном нами, наконец, ресторане она села позади нас, и, когда мы пообедали (аппетит был безнадежно испорчен) и подозвали официанта, чтобы поскорее расплатиться, оказалось, что по счету уже заплачено. Мы обернулись, чтобы выразить странной и эксцентричной особе свое недоумение, смешанное с неким подобием благодарности и признательности, но ее уже не было.

Она тотчас исчезла, словно не желая быть свидетелем нашей растерянности и замешательства...

Мы долго гадали, кто это мог быть, пока жена не высказала свою версию:

— По-моему, это та самая... из Одинцова. Жена нашего сына.

Я не возразил, но и не согласился — попросту ничего на это не ответил, хотя спустя некоторое время вынужден был признать, что жена права.

Когда мы вернулись, Варфоломей, не слушая горничную, пытавшуюся ему доложить, что недавние посетители прибыли снова, выбежал из дома нам навстречу. Он порывисто нас обнял, расцеловал, даже попробовал приподнять и закружить с такой радостью, что мы невольно расчувствовались, даже прослезились, и жена с легкой и деликатной запинкой произнесла:

— А мы прилетели тебя навестить. Может, мы не вовремя? Не совсем кстати? — Она, конечно, видела, что мы и вовремя, и кстати, но сочла нужным немного поцеремонничать.

Сын оставил ее вопрос без ответа, словно ответ мог быть только один и они оба его знали.

— Так вы вдвоем? Очень мило. Как много лет назад. Но как же вы прилетели, если у нас тут забастовка авиадиспетчеров и все рейсы отменены?

— А вот так... — Жена разрешила себе немного пококетничать и похвастаться, не раскрывая полностью своих карт. — На личном самолете, как уважающие себя родители преуспевающего сына.

Сын воздел руки к небу, воздавая должное тому, что нас не затрудняет выбор средств передвижения.

— Прощу в дом. — Широким жестом он словно бы разостлал перед нами невидимую ковровую дорожку, на которую мы не без боязни ступили.

— В самом деле, мы не предупредили... Может, мы вас стесним? Твои домашние не будут недовольны? — Жена все-таки хотела получить ответ на заданный чуть ранее вопрос.

— Ах, оставь! Какие разговоры! Прошу... прошу... — Сын вел нас по дому, открывая двери туда, куда следовало смотреть, и незаметно прикрывая туда, куда не следовало.

— Как твой мальчик? — Закрытая дверь дала повод жене спросить Варфоломея о его сыне.

— Он учится в Оксфорде. Боксер и голкипер студенческой команды. — Варфоломей показывал, что закрытая дверь может легко оказаться открытой. — Обещал на зимние каникулы нас навестить.

— Славно. А твоя жена? Ты нас познакомишь?

— Вы же знакомы... еще по Одинцову, — сказал Варфоломей, после чего возникла неловкая пауза: жене не слишком хотелось здесь в Калифорнии продолжать знакомства, возникшие еще в Одинцове.

— Ах, да! Но это было так давно, и обстановка сейчас... м-да... совсем другая... — пришел я на помощь своей жене, спрашивая ее взглядом, почему она так растерялась и не произносит того, что следовало произнести скорее ей, чем мне.

— Да, это было так давно... — заученно повторила жена с извиняющейся улыбкой.

— Клавдия Васильевна немного не здорова, но она к нам непременно выйдет.

— Прекрасно! — воскликнула жена, радуясь не столько тому, что Клавдия Васильевна выйдет, сколько тому, что она пока еще не выходит. — А твои апартаменты выглядят даже лучше, чем на фотографиях. Слава богу, что вы наконец избавились от той ужасной одинцовской избы с резными наличниками и геранью на подоконниках.

— Не совсем, не совсем... — При всем желании поддержать в нас чувство оптимизма, сын явно умалчивал о том, что могло стать для его родителей не слишком приятным сюрпризом.

В это время из-за угла коридора вышел рыжий кот с бандитским шрамом над глазом и, выгнув спину, стал тереться о мою ногу.

— А, понимаю! Вы взяли с собой из Одинцова кота — на новоселье! Таков обычай! — воскликнула жена, втайне радуясь, что ее ноги не удостоились столь же доверительного внимания сомнительного новосела.

XI

Варфоломея позвали на второй этаж, куда вела лестница, усыпанная свежими стружками, опилками и всем своим видом противоречившая респектабельной обстановке особняка. За дверью — там наверху — было шумно, многолюдно, слышались чьи-то возгласы, надсадный прокуренный кашель, отзывавшиеся эхом крики, скрип передвигаемой мебели, стук молотка и явно происходило нечто, требовавшее присутствия нашего сына.

Поэтому, извинившись, он с упреждающими жестами, призванными заверить, что его отсутствие не будет долгим, нас покинул.

Горничная тотчас приблизилась к нам из глубины коридора и заулыбалась, готовая его заменить и оказать нам необходимые услуги.

Но в это время распахнулась одна из тех дверей, куда нам не следовало заглядывать. Оттуда высунулась и тотчас скрылась взлохмаченная голова, словно наше присутствие вынуждало вспомнить о расческе, и чей-то голос нас тихонько, певуче позвал:

— Миленькие, сюды, сюды...

Мы засомневались, нас ли это зовут, и с удивлением посмотрели на горничную, ожидая от нее объяснений. Но она обреченно вздохнула и приняла позу, показывающую, что этот вздох может быть ее единственным объяснением, об остальном же нам надлежит узнать самим.

Иными словами, раз зовут, надо идти, хотя было бы гораздо лучше, если б не звали.

Мы нерешительно заглянули в комнату и тотчас отпрянули, обменявшись взглядами, еще более красноречивыми, чем слова. Взгляд жены можно было истолковать так: «Ну, что я говорила!» Мой же взгляд означал: «Да, ты была права».

Перед нами с умильно-сладким выражением на лице стояла та самая особа, которая нас недавно преследовала и оплатила наш счет в ресторане. Она была в том же длинном платье с оборками, какие в Калифорнии отродясь не носили, и незашнурованных ботинках, похожих на армейские берцы, простоволосая, в спущенном на плечи домотканом платке.

В руке она держала маленькое круглое зеркальце и, слюнявя палец, приглаживала непокорную, выбившуюся прядку полуседых волос. Заметив, как мы переглянулись при виде ее одежды, сказала:

— Вот донашиваю все старое — оно мне помогает. Похоже, что и вам, однако... — Она скользнула взглядом по моему костюму, как опытный портной на примерке, и произнесла: — Избу он вам сейчас покажет.

— Какую избу?

— Ту самую, бревенчатую. Здесь она, изба-то. И наличники, и герань на подоконнике, и даже погреб, в котором нас похоронят, — здесь, здесь. — Она засмеялась тихим, счастливым, воркующим смехом.

— Простите, а вы... из Одинцова? — в один голос спросили мы с женой.

— А откуда ж еще? Из Одинцова родимого — вот и тоскуй теперь о нем, вспоминай, кручинься, что вывезли, но обратно все равно не вернут.

— Почему же? Если хотите, мы за вас попросим.

— А потому, — ответила она так, как будто это слово не понадобилось ни в каких добавлениях, но все же добавила: — А потому, что отрезано... Вот платье на мне — единственное, что осталось. Да и вас мне жаль, родненьких, что по свету мотаетесь, носит вас, как и меня. Что твои паутинки в воздухе...

Жена сочувственно улыбнулась ей, что можно было истолковать как благодарность за такую искреннюю жалость, хотя мы в ней и не нуждались, и вспомнила про долг.

— Разрешите мы вам долг вернем. За ресторан.

— Э, милая... Брось. Не мельчи. Вы как сюда прибыли-то?

— Как и все. На самолете.

— Самолеты ж не летают.

— А мы прилетели еще до забастовки, долго жили в гостинице.

— А гостиница у нас полгода как закрыта. Но, может, вы такие важные гости, что для вас и открыли, а?

— Да, да, хозяйка была так любезна... — поторопилась заверить жена.

— Только не хозяйка, а хозяин, бывший повар на адмиральском флагмане, — поправила женщина, осторожно внушая, что, несмотря на наше отчаянное вранье она по долгу гостеприимства всему так же отчаянно верит.

## XII

Когда шум на втором этаже затих, нас туда позвали — не сам Варфоломей, но кто-то явно по его просьбе. Мы поднялись по крутой деревянной лестнице, толкнули дверь и оказались... в избе. В избе



с бревенчатыми стенами, геранью на подоконниках и русской печью, уставленной сковородами, чугунами и горшками. Пол был чисто выметен, хотя в углу оставались стружки и опилки — свидетельство того, что изба обновлялась и расширялась.

— Боже мой, что это такое?! — Жена зажмурилась, а затем открыла глаза, удивляясь тому, что увиденное не исчезло, словно мираж. — Что вы тут нагородили! Зачем это здесь?!

Варфоломей задумался над тем, как бы не сказать лишнего и в то же время выразиться так, чтобы сказанного оказалось достаточно и мы его хотя бы отчасти поняли.

— Я не буду читать вам лекцию, но, видишь ли, мы распространяем здесь в Калифорнии русский дух, знакомим с нашим народным бытом, традиционным образом жизни, нравами, обычаями... Это расширяет кругозор американцев, слишком ограниченный и зауженный. Кроме того, это помогает здешним жителям выбираться из трудных положений — ловушек, которые они сами себе устроили.

— Изба помогает — каким же образом? — Своим вопросом жена показывала, что каким бы образом изба ни помогала, она все равно останется для нее избой. — Извини, но это смешно.

— Напрасно ты так. — Варфоломей стерпел насмешку, как готов был все терпеть от матери. — Помогает не столько изба, сколько сам принцип ограничения своих потребностей, аскетизма, возвращения к истокам.

— И что же — американцы соглашаются жить в твоей избе?

— У меня не одна изба, а пятьдесят — по числу американских штатов. И американцы охотно соглашаются и подолгу живут. Из-за этого даже пришлось закрыть здешнюю гостиницу, поскольку номера в ней теперь не пользуются спросом.

— Ах, вот оно что! Чудеса! — не выдержал я. — И чем же они тут занимаются, твои постояльцы?

— Отсюда есть выход во двор, в яблоневоый сад, к реке, капустным грядкам и пчелиным ульям. Одно это заставляет их забыть бессмысленную погоню за миражами — прибылью, успехом, обжорством, богатством — и довольствоваться лишь самым необходимым. Они занимаются простым крестьянским трудом: возделывают огород, боронят поле, рубят дрова. И не стесняются вспотеть от затраченных усилий. А в доме они топят печь, варят щи в горшках. Усердно читают жития святых, даже молятся на иконы в красном углу. Это постепен-

но меняет их взгляды на жизнь, на окружающий мир, на самих себя. Американцы ведь слишком оскудели духом. Они утратили интерес к истории, географии и прочим наукам. Они не знают, кто такой Ганнибал, Тамерлан, Конфуций, Махатма Ганди. Не знают, где находится Остров святой Елены и кто туда был сослан.

- И ради того, чтобы их спасти, ты им прививаешь изьяной дух?
  - Повторяю, что важна не изба, а самоограничение.
  - И у тебя есть примеры усвоения твоих уроков?
  - Да, целые колонии здесь в Калифорнии сменили свои особняки на избы, отказались от покупок и перешли на подсобное натуральное хозяйство: все производят и готовят сами.
  - А как на это смотрят власти и полиция?
  - Пока терпят.
  - И не угрожают?
  - Они лишь ставят условие, чтобы мы не ругали членов Конгресса.
  - А вы?
  - Пока выкручиваемся.
  - Но все-таки ругаете?
  - Скорее мягко поругиваем и критикуем.
  - А не хотите ли вы с помощью избы... завоевать Америку? — спросил я так, словно за всем высказанным Варфоломеем могло скрываться и что-то не высказанное, но неким образом различимое в его словах.
  - Да зачем она нам, — ответил он, и различимое стало, хотя и высказанным, но при этом совершенно загуманенным и неразличимым.
- Мы пробыли у Варфоломея три дня, и он нам еще многое рассказал и во многом нас убедил. Вернулись мы домой тем же способом, каким пожаловали к нему в гости. Теперь мы могли быть спокойны. Изьяной дух оказывал свое целебное воздействие. Америка была спасена. Правда, это была уже не Америка...

### XIII

В первый, еще по-летнему отдающий ландышевой прохладой понедельник сентября, когда я, верный своей причуде, оделся соответственно этому дню недели, мне посчастливилось встретить моего однокурсника и старого друга Женю Айдагулова. Вообще-то он был Джангиром, но все его звали Женей (восточное имя ему как-то не

шло), а за глаза величали по присвоенному ему прозвищу — Айда Гулять.

Он родился в Москве, на Якиманке. Его предки служили под знаменами, покоряя Кавказ, и лежали в Москве на Ваганькове. И он считал себя русским, даже немного славянофильствовал, отстаивал патриотические идеи и убеждения. Вопреки этому у него было второе прозвище — Бай, поскольку в нем проглядывало и нечто восточное, властное, с хитрецей. Во всяком случае, держался он просто, но и при этом — надменно, с высокомерным холодком и не допускал принятого у нас студенческого панибратства.

Вот его-то мне и посчастливилось встретить после долгих лет разлуки.

Говорю — посчастливилось, поскольку я считал Женю своим лучшим другом, хотя никогда ему в этом не признавался, — во-первых, от свойственной мне тогда возрастной застенчивости, а во-вторых, как-то не был уверен, что и я для него лучший друг. Помимо меня он, несмотря на свое высокомерие, дружил со многими, был даже несколько неразборчив в дружбе (может быть, напоказ). И мне с моими признаниями не хотелось переусердствовать и показаться навязчивым, тем более что я не раз был свидетелем того, как он досадливо (почти гадливо) морщился, когда другие пытались ему внушить, что он для них лучший, единственный.

Я обещал себе, что никогда не уподоблюсь этим другим и не позволю себе так унизиться, хотя и моя сдержанность меня отнюдь не возвышала. Я не чувствовал себя полноправным другом Жени, чей призыв: «Айда гулять!» — никогда не встречал бы отказа. Я мечтал о полной откровенности, и меня не удовлетворяло положение, когда каждый чего-то не договаривал до конца. О чем я не договаривал, мне было ясно, но что оставалось невыговоренным у него, я мог только догадываться, и это меня мучило и тревожило.

Наверное, поэтому мы и расстались, долгое время не виделись и даже не перезванивались. И вот неожиданная встреча в нотном магазине, куда я по привычке заглянул. Мне хотелось, как всегда, перемолвиться словечком со стариком Малером и перелистать нотные новинки, Женя же больше поглядывал на сантехнику, из чего я сделал вывод, что ему понадобились новый итальянский смеситель, фаянсовая небесно-голубая раковина, бачок для унитаза, достойный Версаля (иногда я позволяю себе немного сарказма) или нечто в этом роде.

Но, к моему удивлению, он направился прямехонько в сторону нотного прилавка.

Мы поздоровались, как и положено обнялись (распахнули друг другу объятия), воскликнули: «Сколько лет, сколько зим!» Ну, и прочее, полагающееся по этикету встречи бывших однокашников. После этого, цепко и пристально меня оглядев, он произнес:

— Изысканно старомоден! Благородно консервативен! А тебе идет!

— Донашиваю тряпье.

— По бедности или соображениям идейным? Бросаешь вызов новой буржуазии? Одобряю.

— Вызовы я чаще бросаю врачам. Когда не могу доковылять до поликлиники, вызываю их на дом.

— Шутник. — Он легко уступил мне преимущество в том, в чем и не думал со мной соперничать. — Помню, какие ты стишки сочинял... А, знаешь, меня тоже потянуло на старые одежды. Сам не знаю с чего, но потянуло. Даже странно: я ведь вообще-то тряпье не люблю. Но, наверное, тут есть некая предопределенность. — У него вырвался нервный смешок, и он нехорошо улыбнулся. — Сегодня, представь себе, выбираю галстук у зеркала и думаю: «Дай-ка я повяжу самый старый, еще студенческих времен». Шальная такая мыслишка пробежала. И — повязал. Вот посмотри... ты оценишь. — Он расстегнул пиджак и показал мне галстук, чтобы я мог оценить.

Мне пришлось со значением кивнуть и произнести:

— С ним ты моложе на тридцать лет.

— Ну, уж ты брось. Нам ли с тобой молодиться. Я о другом. И мой галстук, и твои старые одежды — это не случайно. Раз уж ты и я сегодня встретились и так совпали, мы должны это неким образом ознаменовать. Я предлагаю... — Он ждал, что первым предложу я и, конечно же, окажусь в проигрыше.

— Выпить за встречу?

— Нет, дорогой мой. Напиться — это было бы слишком мелко, банально, не по-рыцарски. А ведь мы рыцари, черт возьми. На всем нашем курсе лишь мы одни... Поэтому я предлагаю по такому случаю набраться храбрости и рискнуть — удариться в откровенность и друг другу признаться. Признаться в чем-то таком, в чем раньше мы никогда не признавались. Не показывали, прятали, скрывали, таили в себе. Лишь иногда каждый из нас лишь позволял себе намекнуть — жестом, случайно оброненным словечком. И тотчас же — цоп! — словечко-то

и взято назад. «Ты что-то сказал?» — «Нет, нет, ничего. Тебе послышалось». И нет никакого намека, никакого словечка. Ну что, согласен? Не побоишься?

— Пожалуй. Хотя лучше было бы напиться...

— Это почему же?

— В основном все равно не признаемся.

— Ну, это кто как... Каждый пусть ручается за себя. Я вот готов поклясться, что признаюсь. С такой-то петлей на шее, как сегодняшний галстук, — уж точно.

— Тогда и я.

— Что ж, признавайся...

— Я мечтал, чтобы ты был мне лучшим другом, — промямлил я виновато, стыдливо, с опаской.

Промямлил и почувствовал желание тотчас отказаться от своих слов.

— А я всегда был твоим тайным врагом, — произнес он с вызовом, означавшим, что он от этих слов никогда не откажется.

#### XIV

Старик Малер никогда не позволил бы себе прислушиваться к нашему разговору: он был иначе воспитан и вполне мог упрекнуть нас, что мы — против всяких правил — вводим его в соблазн. Иными словами, не считаясь с его присутствием, пускаемся в откровенности, тогда как лучше — да и намного деликатней с нашей стороны — было бы обойтись без свидетелей.

Из этого следует, что о содержании разговора он догадывался по нашим жестам, выражению лиц и отдельным долетавшим до него фразам. Они-то и убедили его, что нас лучше оставить вдвоем. Лучше — поскольку иначе пребывание старика Малера вблизи от нас, чего доброго, даст повод заподозрить его в том, что он все-таки прислушивается (подслушивает), хотя всячески делает вид, будто все пропускает мимо ушей.

Поэтому, дождавшись паузы в разговоре, он кашлянул, привлекая наше внимание, и сказал, что ненадолго отлучится — пообедать у знакомого грузина. Нас же попросил не покидать его закутка и присмотреть за нотами. Конечно, они никому не нужны, но мало ли что...

Мы, разумеется, с энтузиазмом пообещали — клятвенно заверили, что присмотрим. И старик Малер удалился, оставив нас вдвоем, после чего я тоже прокашлялся (дурной пример заразителен) и произнес с показным безразличием:

— Тайный враг, ты должен был мне вредить, как я понимаю...

Я смахнул с себя пылинку, словно она была единственным свидетельством того, что мне чем-то навредили.

— А я и вредил... Неужели ты был в таком восторге от нашей дружбы и настолько слеп, что не замечал? Из-за кого тебя лишили стипендии, не послали на практику, даже хотели отчислить?

— Неужели из-за тебя? — Задавая этот вопрос, я словно бы спрашивал, как мне смотреть на Женю, если он ответит утвердительно.

— Тут была длинная цепочка, но ее первое звено... слуга покорный. — Он тронул галстук, щелкнул каблуками и слегка обозначил поклон.

— И это несмотря на нашу дружбу?

— В этом-то весь смак: быть явным другом и — тайным врагом. Вражда без дружбы — это банально, пошло, лишено терпкости, как прокисшее вино. Так же, как и дружба без вражды...

— По части вина ты у нас был знаток...

— Не был, а считался или казался, уж как кому нравится, знатоком же был ты.

— Да я и не разбирался в винах. С чего ты взял?

— Э, нет, братец. Разбираться ты, может, и не разбирался, но всегда попадал в десятку. Помнишь, какое вино ты принес на день рождения красавицы Барсовой? Мое сразу показалось кислятиной, и красавица Барсова первым танцевала с тобой.

— А целовался с ней ты...

— Причем, так, чтобы ты это видел. Мне хотелось, чтобы ты ревновал. Уж прости, но писателям, то бишь *поэтам*, — произнес он так, будто это слово внушало ему особое почтение, — хочется славы, а мне хотелось ревности.

— Но ты все-таки женился на Барсовой...

— Женился. Но она всегда просила купить или как-то раздобыть то вино, которое однажды принес ты. Мне это надоело, и мы разошлись.

— А почему ты заговорил о поэтах. Это намек? — спросил я, словно в этот момент ничто мне не могло мне так наскучить, как намеки.

— Слава богу, эту породу наконец извели, — заговорил он так, словно не слышал моего вопроса. — Нет больше поэтов, да и вообще

писателей. Нетути. Вместо них теперь — ПИПы, персональные издательские проекты. А то, бывало, им почет, уважение, всенародная слава, и они — властители дум. Не подступись. Теперь же они присмирели. Прикусили язык. Знают: если рыпнешься, станешь нетронутую природу защищать, протестовать против вилл и усадеб, понатыканных в заповедных лесах, их сразу осадят: «Сиди и помалкивай, ПИП».

— Это намек?

— Ну, что ты заладил. Конечно, намек. На тебя с твоими виршами. — Его взгляд мне что-то напоминал, о чем я, может быть, охотно и вспомнил бы, но только не сейчас и не здесь: взгляд был если не с угрозой, то с упреком, нехороший, недобрый взгляд.

— Да, это все студенческое, баловство, черный юмор. — Я на всякий случай заручился готовностью оправдаться.

— Баловство-то баловство, но уж больно хлестко. — Женя в отличие от меня не был готов принять мои оправдания. — Весь курс смеялся. Покатывались со смеху, как в цирке. Главное, каково название — «Стихи о хорошем человеке». И кто же этот хороший человек, позвольте спросить? А этот хороший человек — я, собственной персоной. Весь вечер на манеже, так сказать. Вот пример приведу, уж ты позволь. Я ведь наизусть помню. Ты в своих «Стихах о хорошем человеке» пишешь:

*Я стоял за утренней молитвой,  
Устремляя взор свой к образам.  
Ты вошел и полоснул мне бритвой —  
Полоснул мне бритвой по глазам.*

*Был мне голос во сне: «Стань мне ближе.  
Я твой верный, единственный друг».  
Я проснулся и с ужасом вижу:  
На груди моей дремлет паук.*

— Это я, стало быть, и есть тот паучок. На груди у тебя вздремнул. А вот еще пример:

*Бил ногами.  
И с разбитой мордой  
Меня бросил подыхать в кювете,  
Самый сильный,*

*Самый умный,  
Самый гордый —  
Самый лучший человек на свете.*

— Прости. Дело прошлое...

— Прощаю. Я тоже пробовал сочинить в таком же духе. Срифмовать иногда удавалось, но духа — не было. Поэтому я так и остался хорошим человеком, зато ты — поэтом. Кого ни спросишь: «Помнишь Бориса Ралдугина?» — он ответит: «А, этот наш поэт...»

— Зато ты у нас был славянофилом. Тебя уважали больше.

— В своем славянофильстве я был автодидакт. Все это у меня было сопряжено с волевым усилием. Попросту говоря, натужно. Славянофил Джангир Айдагулов, ха-ха. Со смеху помрешь. Ты же просто любил закаты над Яузой, осень в Лефортове, зиму на Патриарших... А я это не понимал. Аксаковых, Киреевских понимал, а это... это мне это не давалось, как высшая математика.

— Сколько раз я тебя звал и в Лефортово, и на Патриаршие.

— За это я тебя и ненавидел. Уж прости, но лучше бы ты не звал. А то какое великодушие! Какое благородство! И никакого цинизма — даже противно... — Он брезгливо сморщился, показывая, как ему противно все то, в чем не было цинизма.

— Ну, спасибо... — Я что-то взял с прилавка и тотчас положил на место.

— Не благодари. — Он посмотрел на меня с холодной снисходительностью. — Я тебя должен благодарить за то, что сегодня высказался. Ты снял камень с моей души. Ну, а теперь ты во всем признавайся. Твоя очередь.

Женя выжидательно сложил на груди руки. Я обернулся, словно он ждал чего-то не от меня, а от кого-то другого, стоявшего за моей спиной.

— А мне признаваться-то больше и не в чем. Я тебе все сказал. А мои вирши — тоже, наверное, от ревности. Я ревновал тебя ко всем, с кем ты дружил, и мечтал стать для тебя единственным другом, — сказал я куда-то назад, за собственную спину.

— Вот мы оба и признались. — Его взгляд показывал, что за спиной у него тоже что-то есть. — Может, лучше было не признаваться?

Мы хотели уже разойтись, но вспомнили, что надо дожидаться старика Малера. Вспомнили и — разошлись (он должен был вернуться с минуты на минуту).



XV

Последний понедельник сентября выдался пасмурный, рыхлый, туманный, словно подсвеченный с обратной стороны облаков желтой настольной лампой, то стелющийся от ветра волоконцами мелкого дождя, то покалывающий косыми иголками. Я снова оделся... скажем так, *по сценарию*. Иными словами, мне был предписан некий образ действий, и предписан не мной, а великим сценаристом. Или даже — Сценаристом (каждый волен понимать под этим, что ему угодно).

Итак, оделся и вышел из дома с предчувствием, что непременно кого-нибудь встречу. Бывают такие предчувствия, собственно, ни на чем не основанные: кого-нибудь... непременно... Кто это мог быть, я, разумеется, не знал и даже не пытался строить предположения, словно в этом заключалась бы попытка обмануть случай.

Случай же всемогущ, и его не обманешь, не предугадаешь, чем он обернется, какую личину примет, какую рожицу тебе покажет. Поэтому я просто гулял (шталался) по старой Москве (раз одежда старая, то и Москва — соответственно) и ждал.

Но мне никто не встречался.

Тогда я в отместку стал думать, что случай меня обманывает. В конце концов, он имеет на это полное право, оставаясь при этом случаем, и нельзя ему пенять. Так я себя убеждал. И все-таки неприятно было чувствовать себя обманутым. Из-за этого чувства я стал пытаться неким образом воздействовать на случай, понуждать его к тому, чтобы он себя проявил, высунулся из окопчика (а то окопался, видите ли), выманивать, создавать для него благоприятные условия.

Словом, всячески его ублажал, улещивал, прикармливал, будто жирного сома под трухлявой корягой.

Ради этого прикорма я посетил знакомые места, где раньше встречал многих друзей, приятелей (и приятельниц): университетский дворик, Александровский сад, Чистые пруды, Яузский бульвар. Никого. Я готов был возмутиться и вознегодовать, и вдруг там, где Яузский бульвар переходит в Покровский, случай, похоже, снизошел ко мне.

Вдали показалась некая фигура. Словно сотканная из туманной дымки, она пошатывалась на ветру, переламывалась пополам, меняла очертания, то удлинялась, то укорачивалась, то сминалась, то разглаживалась.

Когда туман разошелся, я увидел господина, безукоризненно, хотя и старомодно одетого, в плаще, застегнутом под самым горлом (цепочка продета сквозь пасть медного льва), в широкополой шляпе, чем-то похожего на графа Сен-Жермена, каким я себе его представлял, pilota Нестерова, первым сделавшего мертвую петлю, или гроссмейстера Таля.

Я заинтересовался, даже слегка привстал от любопытства, стараясь не показаться нескромным, и вдруг узнал в нем... СЕБЯ.

Да, не кого-то похожего на меня, не моего двойника, в конце концов, а себя самого. Себя! Я смутился, растерялся, замер от изумления. Почему-то заговорить с собой было труднее, чем с незнакомым человеком. Но я попытался преодолеть охвативший меня страх и — заговорил:

— Извините, вы — это я?

Столь хорошо знакомый мне незнакомец ответил слегка грубовато, насмешливо, что, впрочем, не лишало его фламандского добродушия:

— Ну, а кто же еще! Что ж, ты, любезный, себя не узнаешь?

Тут я зачем-то стал оправдываться, пустился в ненужные объяснения:

— Нет, вы не подумайте, я сразу узнал, но — засомневался. Все-таки нечасто встречаешь на бульваре самого себя.

Знакомый мне незнакомец едва заметно зевнул и с усилием подавил зевок.

— Хм... Апостол Петр тоже засомневался и, как известно, стал тонуть. Да и ты сам, когда летал вместе с любящей тебя женой, из-за своих сомнений чуть было не сверзился вниз. Ты этого хочешь?

— Нет, нет, что вы?! — Я попытался заверить его, что не испытываю никакого желания утонуть и сверзиться. — Разрешите еще вопрос. А для чего, собственно, вы мне явились? Может быть, я скоро умру?

— Не беспокойся. Лет десять еще протянешь. Гарантирую. Твой же приятель Джангир Айдагулов тебя не раз вразумлял: «До семидесяти пяти ничего не бойся». Тебе же как раз шестьдесят пять.

— Тогда для чего же?

— Явился-то? Чтобы ты на себя посмотрел. Себя узрел, так сказать.

— Только для этого? Я и в зеркало на себя могу посмотреть.

Мой незнакомец собрал у носа морщины, словно собираясь то ли чихнуть, то ли презрительно фыркнуть.

— Нет, причем тут зеркало. Посмотрел внутренним взором.

— А-а-а... — протянул я так, как будто мне все стало понятно.

— Вот тебе и а-а-а. Посмотрел? — Он отвел мне некоторое время на внимательный просмотр. — И что же ты в себе видишь?

— Если откровенно... — Я не был уверен, что откровенность меня не скомпрометирует.

— Валяй откровенно. Напрямую. Что тут жеманиться.

— Если откровенно, то свалку мусора.

— Вот! Молодец, что признался. Человечек ты и впрямь так себе, дрянцо помойное, хотя на твоё счастье музыка тебя спасает.

— А ты что — лучше?

— Не лучше и не хуже. Я во всем тебе подобен. И мое спасение — в тебе одном. Поэтому мой тебе совет. Теперь начни этот мусор в себе разгребать. Как когда-то на даче опавшие листья — грабелями... раз-раз...

— А может, поджечь, чтобы разом сгорело?

— Нет, будет дымить, и дым этот очень едкий, смердящий, от него глаза слезятся. Лучше потихоньку, не сразу. И так, чтобы никто не догадывался. Не надо бить себя в грудь: я, мол, такой хороший. Мусор в себе разгребая. Не надо громких заявлений о твоих благих намерениях. А то мусор весь выметишь, а *они* и вселятся. Они любят все чистое.

— Кто это *они*?

— Ну, есть тут одни заинтересованные товарищи.

— Ладно, учту. — Я не стал уточнять, кто намерен в меня вселиться, а решил выяснить для себя нечто иное. — С мусором внутри меня постараюсь покончить. А вон? От чего-то мне тоже следует избавиться? Выбросить вон? В мусор?

— Это твоё новое тряпье, что ты недавно купил. В мусор.

— А книги?

— Новые? Только что с прилавка? В мусор. Старые же сохрани. Они — настоящие.

— А ноты?

— С нотами подожди. До особого указания. Впрочем, одно указание ты получил от Мориса Равеля. Так следуй ему — учи программу. И начни непременно с вальсов — благородных и сентиментальных. Они ведь написаны для тебя. — Слишком хорошо знакомый мне незнакомец снова стал то сминаться, то разглаживаться, явно собираясь меня покинуть. — Ну, вот и все. Теперь прощай. Я тебе, кажется, все сказал.

— А шахматы? — выдохнул я напоследок.

— Сохрани. Поигрывай иногда. Ведь ты у нас Михаил Таль. Только если будешь снова летать, мертвую петлю не делай. Слишком рискованно, знаешь. Ни к чему.

После этих слов он стал удаляться, приподнялся над землей, повисел в воздухе и — воспарил.

Воспарил, как и я мечтал когда-то...



*Сухбат Арлатуни*

## КОГДА ЗЕМЛЯ БЫЛА ПЛОСКОЙ

— Заболел, — сказал Костян, как будто сам себе.

Подумав немного, упал на одеяло.

Кашель бился в нем, наружу не выходил, а только хрип. И горло горело.

— К Любаше сходи, — посоветовал Прапор. Прапор уже разделся и сидел в майке, разглядывая Костяна. Так раньше беззвучный телек на ночь глядел, с тупым солдатским интересом. — К Любаше, — повторил, зевнув. — Может, нальет что.

— И не только нальет, — вставил сверху Стас, второй сожитель.

Костян поднялся и зло вышел из комнаты.

Любаша была местным медпунктом. Медпункта на стройке не полагалось, да и сама Любаша имела к медицине непонятное отношение. Когда была в настроении, могла и укол сделать, и в горло заглянуть. Но чаще отсылала в город: «Я вам тут не поликлиника». Прибилась к стройке еще при прежнем прорабе, так и прижилась; для чего жила тут, непонятно. Но привыкли к ней, как к мокрой грязи и серым дням.

Костян осилил коридор и вышел, моргая, во двор. В Любашином окне мерцал свет от телека. Костян постучал ногтем в стекло; видел, как Любаша неохотно поднялась. Отодвинула занавеску, поглядела по-рыбьи в темноту. Оpozнав Костяна, ушла.

Открывала долго, шурша и звеня изнутри; как сейф в банке, устало подумал Костян. Снова закашлялся и попытался сплюнуть, но не удалось. Ладони как-то быстро успели замерзнуть, он сунул их в карманы, надеясь, что там будет теплее, но теплее не стало. Любаша, наконец, справилась с дверью и приоткрыла ее, обдав Костяна теплом и чем-то кисловатым.

— Ну? — поглядела.

Таков был обычный ее привет, Костян другого и не ждал. Хотя нет, сейчас, наверное, ждал, в своем положении. Ладони были как лед.

— Заболел.

— Все болеют. Заражать меня пришел?.. Заходи, холодно.

Костян аккуратно стащил сапоги, оставшись в толстых, негреющих носках. Любаша наблюдала за его действиями. Костян хотел спросить, зачем она так долго ему открывала, может, даже пошутить на эту тему. Но вместо шутки закашлял.

— В стену кашляй, — сказала Любаша.

Она была в обычной своей безрукавке на искусственном меху, волос был собран в тощую фигу. Накашлявшись, Костян скосил глаз в бесшумный телек, пытаюсь угадать передачу, но из-за слез не смог.

— Принимал чего-нибудь? — Любаша села в кресло, занимавшее полкомнаты. В нем она, как люди говорили, и спала: не раздеваясь, приоткрыв рот. Возле кресла краснела электропечка.

Костян помотал головой и кашлянул. Ему тоже хотелось устроиться на этом кресле, поближе к горячей печке и Любаше, но боялся, что тогда его точно выгонят. Сделал шаг и остановился, ожидая приглашения.

— Всегда таблетки надо при себе... — сказала Любаша, зевнув.

Устав ждать, Костян опустился на колени и обнял толстые Любашины ноги.

«Зачем мне эти ноги, — думал он, — грех... теперь точно прогони». И от этих мыслей сжал их еще сильнее.

— Так вот что у тебя болит, — скучным голосом сказала Любаша.

Потянулась, достала крем и стала шумно втирать в ладони. Поглядела в телек. Снова на Костяна, бессмысленно сжимавшего ее ноги в ковровых тапках.

— Дай встану.

Костян разжал, Любаша подошла к ящику и углубилась в него. Костян осторожно сел на кресло.

— Нет лекарств. Могу водки налить, на меду.

Костян услышал знакомое бульканье. Водки он не хотел, но вежливо влил в себя. Во рту стало неудобно. Мед никудашный, наверное.

Костян хотел еще раз обнять Любашу, чтобы как-то обозначить свою благодарность, но передумал. Заметил возле зеркала какую-то иконку и портрет отца Андрея рядом.

— Иди, — сказала Любаша, глядя в телевизор.

Костян приподнял брови. Только обвыкся, еще и водки толком не распробовал, а уже на дверь. А за дверью ночь и никакого человеческого слова.

— А ты иди к Батьку, — сказала Любаша. — Он тебе этих слов наговорит — по самое «не хочу».

И пошла к двери.

Не удивившись, что Любаша как-то пролезла в его мысли, Костян присел и принялся за сапоги. «Ладно, — думал. — Лекарств у нее все равно нет. И ноги как у зебры».

Поглядел на Любашу — не подслушала ли снова? Нет, с замком возилась.

— Завтра приходи, замок мне починишь.

Костян, уже в сапогах, кивнул. Замок так замок. Если доживет.

«Когда земля была плоской, — вспомнил, — женщины на ней тоже были плоскими. И рай был плоским. А потом все это стало накачиваться грехами, расширяться и округляться...»

Последнее Костян довспоминал уже на улице, слыша за спиной запираемую дверь и пуская пар.

Батёк жил недалеко, но идти к нему не хотелось.

В прошлом был он коммерческим попом. Обслуживал похороны, работая то в одной, то в другой фирме. Бизнес этот начал, еще когда настоящих священников маловато было, а потребности в культовых действиях росли. По образованию был трубач, подрабатывал в кладбищенском оркестрике. Вот как-то, когда фирма не могла вовремя обеспечить священника, Батьку и предложили «полевачить за попа». Как отпевать, видел не раз; кадило и спецодежду раздобыли. Так и пошло. Являлся по первому вызову, отпевал красиво, с подвыванием, клиент был доволен. Пару раз, правда, были стычки с настоящими священниками, грозившими Батьку судом земным и небесным. Но подходящей статьи, по которой можно было его привлечь, не находилось; и Батек продолжал работать, даже получая от этого какое-то скромное удовольствие.

Батюшки все же на Батька обозлились. Сын одного из них, как назло, работал в местном театре; решили Батька проучить. Пригласили как-то его на ночь почитать над умершим. Квартира большая, темная, хозяйева куда-то слиняли. Батек тоже думал улизнуть, но подвело чувство ответственности. Дальше понятно, что. Вылез из гроба тот самый актер... Хотя некоторые говорили, что никакого розыгрыша не было, все взаправду.

В любом случае, после того Батек пошатнулся и запил. В этом несвободном состоянии его и нашел отец Андрей. Отучил от зависимо-

сти, провел через курс реабилитации и покаяния. Батек побрился, успокоился и пошел учиться на плотника. Хотя что-то в нем еще оставалось, от прежнего.

Костян прошел по застывшей грязи мимо вагончиков. Здесь уже спали. «А я что не сплю? — думал Костян. — Зачем мне этот Батек?» Ответов в голове не было. Костян поглядел на Башню, кашлянул и постучал к Батьку.

— Уйди! — закричали из вагончика. — Завязал я, говорю, завязал! В церковь иди, там тебя отпоют!

Костян подождал, раздумывая, стукнуть еще или идти к себе.

Дверь вагончика приоткрылась, осторожно высунулась рука, сжимавшая какую-то иконку, а потом и голова Батька.

— А, это ты... — протянул Батек, щурясь во тьму. И дал знак заходить. Костян залез в вагончик и снова задумался.

— Не снимай, — суетился вокруг Батек. — Прости, обознался я. Ходят тут по ночам.

Свет шел из угла, где горела лампадка; поодаль шли кровати, заваленные плотницким инструментом. Те, кто когда-то на этих кроватях жил, или бежали со стройки, или, как Стас, нынешний Костянов сосед, переселились, устав от Батьковых причуд.

— Что пришел-то? — поглядел Батек.

— Заболел...

И уселся на одну из кроватей, сдвинув с шумом инструменты. Батек вздохнул и сел напротив.

— У Любахи был? Понятно. Печенье будешь? Хорошее печенье.

Костян помотал головой.

— Зря. Когда болеешь, питаться надо. Калории. О теле тоже печенье надо. Поешь.

Костян повертел в руках печенье и, чтобы не обидеть хозяина, надкусил.

— Совсем ты заболел. — Батек наблюдал, как Костян пережевывает печенье.

Костян в подтверждение кашлянул, но не рассчитал: кашель получился сильнее и дольше, чем требовалось; забрызгал крошками и себя, и Батька.

— Понятно, — сказал Батек. — У меня такое же было. Думал, уже все, отплываю... На вот, елеем помажься. Возьми, возьми, это еще отец Андрей оставлял... Нет, кстати, новостей?



Костян, докашливая и отирая слезы, снова мотнул головой.

— Ну да, откуда у нас... — Батек откинулся к стенке. — Телевизор без звука. Интернета нет, газет нет. То есть правильно, что нет. Справедливо.

То, чтобы на стройке не было никакого вай-фая и газет, было благословением отца Андрея. Одним из последних его благословений.

— Ну, как печенье? Я и говорю, свеженькое. Стой. У меня мед еще есть.

Костян вспомнил Любашину водку на меду, и отказался.

— Ну, как хочешь. Монастырский.

Батек выхватил откуда-то грязную банку и поднес Костяну к самому лицу. Костян похлопал глазами, поднялся и собрался уходить. Он вдруг как-то устал от этой заботы.

— Постой, — Батек схватил его за ватник. — Постой...

Костян поглядел на лицо Батяка и задержался.

— Скажи, может, хоть ты знаешь... Кто-то же должен знать. Прапор не знает. Или шифруется. Стас не знает, точно. Перед образами тут клялся.

Костян понял, о ком вопрос, и хрипло вздохнул.

— Он же должен был кому-то сказать, когда, — не унимался Батек. — «Вернись тогда-то, ждите». А? На ушко?

Вопрос этот, конечно, заботил всех, всю стройку, всех андреевцев. Общее мнение было такое: когда завершат стройку. Выстроят Башню, перережут ленточку... Но время шло, уверенности было меньше; а как стало ясно, что и в этом полугодии не сдадут и придется возле Башни зазимовать...

— Ты же недалеко был, когда его брали. — Батек стоял напротив Костяна, лохматый, с темнотой под глазами. — Может, успел тебе что... Молчишь? Ну, молчи. Ты же интеллигентный человек... Ты же старшим программистом в прошлой жизни работал, что ты все дурачка из себя строишь?

Это было уже против всех правил и благословений. Костян оттолкнул Батяка и распахнул дверь.

— Ну, прости... — Батек вцепился в него сзади. — Ну, сдуру... Меня эти достали — всю ночь: отпой да отпой...

Костян спрыгнул в темноту.

— Сбегу я! — крикнул ему в спину Батек. — И все вы сбегите! Не выдержите! Или заберут, куда надо!

Костян обернулся, чтобы ответить, но промолчал.

— Так ему и передай! — снова послышалось. — Сколько можно этот сортир многоэтажный строить...

«Вот как человеку плохо, — думал Костян, медленно отходя от вагончиков. — А я думал, это мне плохо». Башня, как и положено объекту, была слегка освещена, погавкивала сторожившая ее немецкая овчарка Глаша.

«Когда Земля была плоской, то и все люди на ней были плоские. Люди одной мысли, одного дела, одного сердца».

Это была его последняя проповедь, отца Андрея. Нет, не с амвона, почти на ухо. Вот на это ухо, которое под шапкой.

Надоел всем отец Андрей, крупно надоел. Проповедями своими, неумным миссионерством, взглядами. Что Костян раньше программистом был — Батек правду сказал. Был. В прошлой жизни. Все андреевцы в прошлом чем-то были. Батек — трубачом. Стас — менеджером где-то. Прапор — полковником, хоть и на пенсии. Не то что говорить, и вспоминать об этом не благословлялось. Благословлялось приобретать новую профессию, строительную, чтобы руками. Костян освоил малярку, но это оказалось не его. А вот кафельщиком пришлось в самую пору.

Прежний епископ глядел на их приход сквозь пальцы, а с новым возникли трения. Может, сам отец Андрей ему не понравился, был у отца Андрея такой талант, отдельным людям сильно не нравится. А может, приход считался «денежным», и новый владыка хотел кого-то из близких себе на него поставить. Потерпел-потерпел отца Андрея и предложил ему перевестись в другую епархию. Иначе обещал последствия.

Думали, отец Андрей бороться станет. Не стал отец Андрей бороться: тихо попрощался и уехал: «Любите нового настоятеля». Только полюбить нового не получилось. И так, и сяк полюбить пытались — а ни в какое, даже бледное, сравнение с отцом Андреем не шел. А тут сам отец Андрей где-то на северах возник, и местный губернатор, как сообщали, к нему благоволил и чуть ли не на руках носил. На приходе пошушукались, отправили туда гонца, того самого Прапора. Прапор вернулся посвежевшим, все подтвердил, даже «с горкой». Только на климат жаловался, но это не пугало; стали распродаваться и укладывать вещи. Полприхода туда перебралось. И Костян со всеми; кафель — он и в тундре кафель.

Первые три года все ладно шло. Церковь возвели, по оригинальному проекту: в виде шара. Верхняя часть — сама церковь, нижняя — зал. Миссионерство развернули, местных встряхнули, обдули от спячки. Зимы, правда, такие были, что «мама, не горюй». И земля плоская до самого небосклона, глядеть устаешь. Но отцу Андрею это нравилось. «Хорошо, что земля плоская». И улыбается по-своему.

А потом губернатора того взяли и сняли. Бизнес, правда, при нем оставили, так что продолжал андреевцев поддерживать. Но отношение к ним сверху уже немного другое стало. Вначале «немного», потом все больше и больше. Стали их на беседы вызывать, что они вредная секта; двоих с работы уволили. Отца Андрея напрямую трогать боялись, стали с прихода на приход, как мячик, перебрасывать, от райцентра подальше. Последний бросок — сюда, среди пустоты и плоскости, рядом с умершим селом.

Костяк общины, конечно, и сюда последовал. Отец Андрей стал задумчив, как человек, из-под которого выбили стул, и он висит в воздухе, не зная, то ли спокойно опуститься, то ли плюнуть и взмыть куда-нибудь.

Тогда у него и возник у него этот замысел. «Будем здесь Башню строить», — сказал Костяну, когда в машине вместе ехали. Костян поднял брови, пытаясь угадать. Общинный центр? Лекторий?

Через месяц уже были первые чертежи.

Община, конечно, была в недоумении, скребла затылок и качала головой. Смысл замысла отец Андрей не объяснял, от вопросов уворачивался. Строим — и строим, что тут спрашивать? Оставалось питаться догадками. Одни полагали, что Башня строится как наглядное пособие падшего мира. Другие, наоборот, — как образ солидарности... много еще чего говорили. А Костян ездил с отцом Андреем и закупал кафель. По прежней своей программистской жизни он знал, что есть вещи, которые человеческим языком сказать нельзя. А искусственный язык, чтоб описать смысл этой Башни, еще не создан. Либо создан, но людям пока не ведом.

Дальше... Дальше понятно что. Отца Андрея взяли, вначале общались о нем через СМИ, потом замолчали. Стройка тихо сама собой шла, то прежний губернатор подкинет, то еще какие-то благодетели. Постепенно пошло разложение, духовные трещины. Церковь закрыли, служить некому, нового не присылали, а даже если бы и прислали... Многие уехали, затосковав без церковной жизни или

просто... разочаровавшись. Среди оставшихся стали заметны слабости, водка, неправильное отношение. Но строили. Как могли. Как могли, так и строили.

До своей избы Костян почти дополз. Свет в ней уже погасили, помолились и спали.

Только свеча горела, оставленная для Костяна.

Прапор, как всегда, храпел; Костян погладил его по плечу, и тот замолк и зачмокал. Стас наверху перевернулся; спал в свитере.

Костян тоже не стал раздеваться, только куртку сбросил и загасил пальцами свечу. Лег и чуть не заплакал от усталости. Прочел про себя несколько молитв, какие наизусть помнил.

— Слышь? — заскрипел сверху Стас. — Завтра, говорят, заберут нас.

Костян молчал. Снова начал похрапывать со своей лежанки Прапор.

— В психушку областную, на обследование...

Костян вздохнул и пошевелил ногами. Слухи, что всех их заберут, гуляли по стройке не первый месяц. С того самого дня, как отца Андрея забрали.

— Этот раз вроде точно, — Стас свесил голову. — Наши бывшие сообщили, Еремеев и этот, корреспондент ... С утра к обороне будем готовиться.

Голова, повисев, исчезла.

«К обороне... — думал, засыпая, Костян. — Хорошо. И к Любаше зайти, замок починить».

Стас еще немного поворочался, Прапор похрапел и замолк, точно уже не Костян, но кто-то другой погладил его по плечу, темнота, наконец, затихла и успокоилась.

Волна внутреннего света накрыла Костяна, он потер колено и улыбнулся. Перед глазами его, как с аэросъемки, неслась бескрайняя белая земля. «Вот я и стал почти плоским, Господи. Ты разгладил меня, как фантик». Голос был отца Андрея, но Костян понимал, что слова относятся к нему, Костяну. И видел себя, плоского и счастливого, летящего над этой землей, такой же плоской, как и он сам.



И н н а    К ш м

## КАК Я БРОСИЛА КУРИТЬ

Я очень впечатлительный человек.

Из-за этого, я думаю, мне не светит выйти замуж. Только познакомлюсь с парнем — сразу начинаю представлять всякие глупости: как мы поженились и живем вместе. Пропать времени. Около миллиона лет — или пятнадцати.

Подаем друг другу стаканы воды. Выгуливаем собаку. И нам хорошо молчится вместе.

Фу! Скучнее только быть наказанной летом в десять лет.

Уже и не помню, за что меня тогда наказали: на месте этого воспоминания красуется дырка — как на дырявом шерстяном носке. И оттуда торчат скрипучие нитки-коротыши (моль прогрызла — или все-таки, как я всем говорила, носкогрыз?!)

Я одна в пахнущей молоком и мухами золотистой летней прохладе бабушкиного деревенского дома, а ревниво подглядываемый мною мир — через непромытое окошко — как чистилище или лимб: тусклый и бесцветный.

Да! Я прекрасно помню свое беспросветное детское отчаяние: что останусь здесь навсегда.

Чем занимаешься? Это меня спрашивают парни, знакомясь. Не подозревая, что прямо сейчас я в своем воображении штопаю им сотысячную пару дырявых носков.

Говорю: я учу детей рисовать. Даю задание, а сама рассказываю что-нибудь интересное. Мои смешные десятилетки водят шелестящими грифельными карандашами по шершавым листам — и слушают. Видно, что слушают!

Обожаю это: беззащитную теплоту внимательных детских затылков.

Вчера затылки внимали про «Раненого ангела» финского художника Хуго Симберга — удивительную, убивающую историю о незащищенности детей перед злом и перед добром. О нежности

и смерти. О беззаботных детских играх. О суровой и печальной метафоричности мира.

Два мальчика: один безучастный, пугающий, — и пасмурно взглядывающий на тебя второй. Они куда-то несут на самодельных носилках своего товарища: с поникшей льняной головой и кропоточащим крылом. То ли хотят его спасти. То ли собираются им пожертвовать.

После урока я собрала детские рисунки (тема была свободная): вид из окна, мой надуленный профиль, озирающаяся в углу класса пыльная голова Давида — и двадцать раненых ангелочков!

Когда я вспоминаю об этом, мое сердце открывается.

Я живу в уютном городке Олонец; здесь почти все друг друга знают — и, если вдруг, задумавшись, не улыбнешься знакомым, застыдят. Скажут: дочка уважаемых людей, выучилась на художницу в Петербурге, а такая невежливая.

Идешь по улице и только успеваешь здороваться да гладишь ласковые лохматые головы соседских собак. Удивительно! Слепые малыши, появляющиеся на свет весной, не больше ладошки, но лето промелькнет, а к тебе с веселым лаем уже подскакивают большие сильные псы.

Моя мама — она ветеринар — все время возится с животными, принимает у них роды, лечит, делает прививки, дает витамины, и я ей иногда помогаю, так что мамини четвероногие пациенты меня тоже признают и приветствуют. Спокойно не пройдешь — окружают, вскакивая на задние лапы, да еще норовят лизнуть с разбега в нос.

А десятилетки, которые у меня учатся, как только заметят, что я иду, отовсюду несутся навстречу счастливыми смеющимися коlobками. И, глядя на них, я тоже начинаю смеяться.

Я рада, что вернулась домой, хотя в большом беспокойном Питере мне понравилось (да и к сырости я с рождения привыкла). А что? Могла бы сейчас работать в каком-нибудь музее или галерее современного искусства. Только как бы я жила без обиженно сморщившейся от ветра Олонки (так обижается и сердится ребенок, если ему подуешь в нос)?

Над нею часто бывают облака и туманы — даже летом. Но иногда Олонка — наша река — такая тихая и прозрачная, что отражает все

вокруг диковинным зеркалом, так что и не разберешь, где верх, а где низ, где мир реальный, а где отражающийся.

Она вытекает из Утозера и течет, пока в нее возле острова Мариам не впадает «барсучья» река Мегреги, а потом Олонка задумчиво поворачивает к Ладожскому озеру: как человек, который почему-то передумал.

Мой город окружен тянущимися до горизонта золотыми и коричневыми полями — они как на картинах Хуго Симберга и Эндрю Уайета. А в самом Олонце повсюду старинные деревянные мосты с темными деревянными ледорезами внизу — излюбленные места детских игр. Но когда дети разбегаются по домам, унося свой солнечный звон, печаль и ждущую наполнения пустоту, — здесь становится невероятно тихо.

Люди на берегах Олонки живут с III тысячелетия до н.э. В Карелию они пришли, когда ледники освободили здешнюю землю. Но старый финно-угорский миф рассказывает о бескрайнем океане, над которым мечется одинокая ласточка и вдруг видит сияющее из воды голое колено девы Ильматар — будущей матери первого человеческого существа. Раскинув колени, та неторопливо расчесывает золотые волосы.

Птица садится на соблазнительное колено, чтобы снести крохотное яичко — только оно беспомощно скатывается вниз: желток превращается в солнце, а белок в луну. Хрупкая скорлупа становится Землей.

И три девы-подруги выращивают из «любовного листика» дуб — он поддерживает небо, касаясь Полярной звезды. Каплями блестят новорожденные озера. По ним в легких лодках плывут истомившиеся от одиночества парни. Они умирляют океан, чтобы можно было привезти домой невест.

Красивые истории! Старые, как человечество. О любви, начинающей новую жизнь.

Но почему-то люди всегда превращают жизнь в смерть. И когда осенью 1941 года Олонцкий район был оккупирован финскими войсками, выступившими на стороне фашистской Германии, — рядом с Олонцом (финским Ауннуслинном) дети Ильматар построили концлагерь для военнопленных и гражданских лиц не финно-угорских национальностей.

Парни изумляются: что я делаю в какой-то задрипанной карельской школе после мегасуперофигительнокрутой Академии художеств (Санкт-Петербург)!

Но тут я тверда — не снисхожу до ответа. В конце концов, эти парни такие же воображаемые — как их воображаемые недоштопанные носки.

А вот Репинка настоящая.

Учиться там я мечтала еще в детстве, вкусно шурша по ватману кисточкой, которую макала в разноцветное варенье гуаши. Почему-то получалось, что к концу картинки я всегда наедалась краски, так что отчетливо помню, какая она на вкус, — и какой деревянно-вязкий привкус у кисточек, чьи длинные острые кончики я задумчиво грызла во время рисования.

Мой детский рай! Художка... Бутафорские фрукты с украдкой выцарапанными скрепкой сердечками. Пыльно-белые древнегреческие головы из гладко охлаждающего ладони гипса. Вспыхивающие солнцем драпировки. Неуклюжий березовый пенек (я его рисовала прозрачной акварелью!)

Николай Фомич, наш старенький учитель рисования, отгоняет от меня томимых муками созревания мальчишек: чтобы я не отвлекалась. Он говорит: твоя рука должна быть как у хирурга; точность жеста, безупречность линии — без права на ошибку. А мне пятнадцать! Блуждание в тумане вокруг да около просыпающихся неведомых чувств — неясная тревога.

И вот Академия художеств — и мы, три будущие закадычные подружки, — Зоя и Света дышали мне в затылок при поступлении. В прямом смысле: сидели позади во время экзамена по рисунку и взволнованно вздыхали, страшась провалиться.

Мы рисуем мраморного Давида (копию). И во мне, семнадцатилетней, жжется что-то странное и сладкое: радостно-сосредоточенная юная готовность к схватке с любыми голиафами.

Да, обескураживающе прекрасный, держащий пращу Давид — лучшее, что вообще можно сказать о человеке. О юности. Об эгоистичной физической радости простых движений в безостановочно движущемся мире.

Я не могу сосредоточиться, чувствуя затылком двойное, пока незнакомое девчоночье дыхание — как приставленные к моей голове пистолеты.



Ослепительный белый свет. Ба-бах! И красная кровь повсюду.

Но каким-то чудом я все же сдаю тот экзамен и поступаю — Зоя и Света тоже. Мольберты, палитры... Вечернее рисование, споры об искусстве...

Лак, штрих, гуашь и маркер золотой! И сладко пахнет маслом.

Пространство Репинки расходится кругами — как от брошенной в воду камня или как сворачивающаяся и разворачивающаяся змея. От этого время здесь словно попало в западню — и не может вырваться. Попади сюда сам — и накатывает странное, завораживающе-пугающее ощущение: будто все еще XVIII век, — и по узким коридорам скользят тени студентов с гигантскими папками.

Нас — оказавшихся иногородними — заселяют в одну комнату местного древнего общежития. И мы, тоже ставшие невольницами, передаем по замкнувшемуся кругу вчерашнюю холодную картошку, запивая дешевым вином из надорванного пакета и решая, куда бы завтра сходить, чтобы там предложили чай с бутербродами.

А то начинаем друг друга кружить и, как дуры, орать. Просто так. От ощущения своего нескончаемого счастья.

И все время безудержно хочется творить, точно что-то толкает. Будто все, что тебя окружает, излучает неутолимую потребность в твоих картинах. А услужливое воображение рисует неясное, тревожащее, радостное: выставки, славу, любовь.

В Академии художеств я начала курить — и бросила рисовать.

В этом виноваты Зоя и Петров.

С тех пор, как я бросила рисовать, у меня осталась только музыка. Но я ее не слушаю — я ее смотрю. Закрываю глаза, и из темноты выплывает густое, зеленое. Колышется. Набухает (как слезы).

И вдруг превращается в ночное море, из которого выходит Зоя, перекручивая и отжимая гладко-мокрые волосы.

Мы сдали летнюю сессию и автобусом добрались до Крыма — три смеющиеся девчонки с длинноногими мольбертами: красавица (Зоя), умница (Света) и я. А там бархатно утопающее в розах лето — и невиданные, маслянисто сияющие, мясистые горы черешни на прилавках полосатых от солнца крымских базарчиков.

Зою преследует толпа поклонников — как всегда. А мы со Светкой в Зоиной золотой тени опять становимся невидимками. Но все равно хорошо: море — то грохочущее, то просто шумливое — навеивает медленные мысли о времени.

В мой голый загорелый живот колко впивается камешек, но переворачиваться лень. Лежишь, а по тебе будто горячее подсолнечное масло растекается. Кайф.

Я закурила из-за Зои.

Зоя — это жизнь по-древнегречески. И самая красивая девочка на нашем курсе, а то и на Земле.

Ее в Репинке все просили позировать.

Не знаю, как Светка, но я Зое никогда не завидовала: я ею любовалась, обмирая от непонятного ощущения то ли счастья, то ли горя. Где бы Зоя ни находилась — на морском берегу, в общаге, — она будто концентрировала всю имеющуюся в том месте материю. Рядом с ней всё — и я — было как размытая водою краска.

Зелень волны, человечьи лица, солнечный свет вымывались и исчезали из мира. Но я не боялась и не жалела, что меня вот-вот не станет, — слишком неуловимым казалось мое существование рядом с Зоей. Она была как четырехмерная сверхновая, вдруг оказавшаяся в нашей трехмерной вселенной.

Все в ней было красивым, и все она делала красиво: зевала, ела, курила. Брала пальцами обычную сигарету — точно это была волшебная палочка Кирки, превращающая мужчин в животных.

И они превращались — меняясь глазами, из растущей сердцевины которых выплескивалась и расплывалась вязкая чернота. Дыхание и тембр становились медово-жадными. Лица застывали. Пальцы напрягались, словно изготавливаясь погладить или схватить.

Выглядело это даже страшновато — как метаморфоз оборотней. Но, если честно, мне до нытья в животе хотелось, чтобы парни, глядя на меня, тоже перекидывались — или хотя бы переставали жевать.

Ну как тут не закуришь?

Я так сильно хотела обладать этим золотым телом! Чтобы оно принадлежало мне. И только потом я поняла, что желаю Зоино тело не в содомском смысле, а в буквальном: чтобы эти шелково текущие светотени, образующие золотую Зою, были моими. Чтобы я стала похожа на разнеженную на солнце кошку и взрывающуюся шаровую молнию, какими она была.

Однажды, когда я еще не понимала природы своего влечения к Зое, покурив, мы переспали, но после короткой неуклюжей

любви никогда этого не вспоминали. Даже Светка ни о чем не догадывалась.

Единственное, что просочилось в реальный мир из-за наглухо запечатанной мною двери того стыдного жаркого сна: запах Зоиной кожи. Она пахла потеряннным раем — сладко и грустно. Солнцем. Цветочной росой. Вечною семнадцатилетнею юностью.

Это мы со Светой выросли, а Зоя оставалась неизменной. Она была как прекрасное бессмертное хтоническое чудовище, питающееся любовью, которую вызывала к себе: засасывая трехмерный мир мужчин в четырехмерную полынную бездну своего золотого треугольника.

И ей всегда оказывалось мало: я стала не единственной влюбленной — влюбленным, кого Зоя бросила. Обычно происходило так: у подруги появлялся новый поклонник, к которому она уходила, — и потом возвращалась. Снова лежала, не расстелив кровати и разметавшись, сладко дыша в своих загадочных снах под солнечную невесомаю сеткой упавших на лицо волос, а просыпаясь, мечтательно смотрела в окно шалыми кошачьими глазами.

Вскоре Зою уводил новый любовник: молодой, старый, бедный, богатый, красивый, уродливый — без разницы. От него нужно было только одно — любить. Кипеть. Правда, сама Зоя в этом кипении принимала пассивное участие, так что и любовники через какое-то время перекипали. Все, кроме Петрова.

За которого Зоя выскочила замуж еще на первом курсе.

Все звали Зоиною мужа просто Петров — он был самый талантливый в Репинке. Один-единственный, кому из студентов выделили мастерскую. Там-то они и жили, и оттуда Зоя уходила на несколько дней или месяцев, туда же потом возвращалась от любовников, о которых никогда не говорила и, кажется, даже не вспоминала.

Ни разу не слышала, чтобы Петров устраивал ей сцены ревности. А вот на Зою иногда нападала странная ярость: тогда она могла запустить в лицо мужа чутунной сковородкой с яичницей. Сама видела: увернувшийся Петров, убрав с пола разбрызганные желток и белок, спокойно раскладывал краски и звал Зою позировать. Она раздевалась. В общем, оба вели себя как ни в чем не бывало, не обращая внимания на смущенную — и ревнующую — меня.

А я начинала польхаться — будто нечаянная преступная свидетельница происходящего только между ними двоими. Мои слова зависали неотвеченными; сквозняк захлопываемой двери безучастно стучал по ногам.

Я освобожденно вдыхала запахи улицы, вытолкнутая бешеной сосредоточенностью Петрова на жене. И вдруг мне становилось непонятно, до дрожи страшно: когда я вспоминала привычное мучительное обожание, с которым Петров рисовал свою — и больше ничью! — Зою. Золотые Зоины портреты многослойно покрывали стены и все углы мастерской — будто Зоин муж свивал какой-то невиданный кокон, в котором, фасеточно множась, навечно застывала моя подруга.

Они были прекрасны — эти портреты. Даже прекраснее живой Зои. Там она была будто облита масляно-желтым летним солнцем, и ее легкое солнечное тело продолжало движение — замерев. Вот она возлежит, поднеся к великолепной шее согнутую кисть совершенной руки. А здесь кажущаяся совсем девочкой Зоя смыкает скромные колени — словно баюкая невидимое дитя. И снова тянет роскошную руку, нестыдливо роняя с плеча и выгнувшейся спины драпировку.

Но они (портреты) подавляли: будто паря на головокружительной высоте. А Зоину сияющую, словно мраморную наготу, натянутую на огромные подрамники, выкручивало не свойственное ей отчаяние, так что почему-то хотелось плакать.

И все-таки я любила разглядывать работы Петрова, расплавляющие пространство мира в тягучее маслянисто бликующее золото и рассказывающие даже не о Зое или любви к ней, а об одиночестве самого Петрова — и его мучительном восхищении Зоиной красотой. Особенно помню одну: я часами ее разглядывала. Подруга на том портрете зачаровывала меня невероятной нежностью и притягивающим и одновременно пугающим диссонансом между юностью губ, подбородка, шеи и горькой складкой скорби в остановившейся, окаменевшей полуулыбке.

Будто она держала на своих круглых, мягких, юных плечах все грехи и тайны мира. Ну как такое можно нарисовать?!

Однажды молчаливый Петров не выдержал моего эсхатологического восторга перед грешною золотою тайной Зоиных портретов —

и разговорился. Будто торопясь объяснить что-то важное — даже не мне. Или поблагодарить за будущее понимание (меня).

Он сказал: существует не так уж много феноменов, где изначально присущая миру гармония дана нам в дистиллированном, незамутненном виде. Это полное сияющих звезд ночное небо высоко в горах. Шапка свежевывающего снега на сосновой колкой ветке. Безупречная парабола, прочерченная в облаках парящей птицей. И красота обнаженной Зои: контур бедра, полунаклон шеи, кристаллизованное совершенство, сводящее с ума своей доступностью — и отстраненностью.

Да, все дело было в этом — Петров страдал от Зоиной податливой близости и одновременной недосягаемости. И пытался их выразить, чтобы освободиться. А я, находясь с ним глаза в глаза и ничего не видя, умирала от собственного горя: никогда, никогда мне не создать ничего похожего!

И тогда я бросила рисовать — все равно без толку.

Конечно, сначала пришлось непросто: я же училась живописи. А это затруднительно, если ты не берешь в руки ни карандаша, ни красок. Но я перевелась на факультет теории и истории изобразительного искусства, а искусствоведам не обязательно самим рисовать.

Чтобы прослыть на этом попроще несомненным талантом, достаточно быть впечатлительным человеком. Удивительно: по-моему, я не доставала Полярной звезды как художница, но стала подающей надежды молодой искусствоведшей, бесстрашно жонглирующей чужими историями.

Цитаты, вечные цитаты! Искусство, начиная с XX века, все время цитирует прошлое, забираясь туда, где только камни и сказки. И где протяжные женские голоса — мужские остаются почти неслышными, тихими — то взлетают жалобным плачем, то падают в шепот, переливаются страстью и нежностью. И будто открываются невидимые, неведомые двери: огромные близкие звезды в ночном небе, костры, быстрые светлые глаза из-под надвинутой на брови легкой меховой шапки.

Тысячи лет мир был естественным, бескрайним — и вдруг он стал невероятно маленьким и уязвимым. Буквально в течение десятилетий люди научились лечить смертельные болезни и летать, преодолевая

гигантские расстояния за считанные часы; они перестали вымирать от чумы и увидели свою планету с ее орбиты.

И стали убивать других людей, уничтожая с лица Земли целые города, — просто нажав пальцем на кнопку.

Сегодня все бесповоротно стало быстрым, не требующим усилий и личного контакта: еда, информация, эмоции, чувства. Утопая в безостановочно производимом контенте и общаясь в соцсетях с сотнями никогда не виданных «друзей», человек ощущает такое глобальное одиночество, каким не было даже одиночество Адама и Евы, только что изгнанных Богом из уютного рая.

Мы испуганы. Растеряны. Мы больше не верим в бессмертие.

Но искусство спасает, искусство утешает, искусство решает два главных вопроса человечества: кто мы и зачем мы. А мифы — созданные тысячелетия назад и заботливо поддерживаемые — помогают нам вернуть огромный потерянный нами мир и почувствовать себя его частью, которая (вместе с этим миром!) никогда не окончится.

Выпустившись из Репинки, я стала специалистом по Петрову. Все с ним носились. Все его выставляли. А меня просили настроить какой-нибудь концептуальненький контент.

В это время Петрова вдруг принялись называть русским Уайетом. Художников действительно многое роднило: любование незамысловатыми деталями человеческого быта, солнце, одиночество, полынный привкус картин.

Но сам Петров от этого сравнения леденел — оно приводило его в невыразимое бешенство. А меня нет-нет да посещала бунтующая стыдная мысль: назовет ли хоть кто-нибудь Эндрю Уайета американским Петровым? Только я смущенно ее отгоняла — ведь Петров был невероятно хорош. И молод. Так что у него вся жизнь была впереди: чтобы стать гораздо круче умершего старика-американца.

И все-таки я не могла не видеть: Зоя чем-то неуловимо напоминала уайетовскую тайную жену и натурщицу Хельгу Тесторф. Будто находящуюся в насквозь солнечном саду земных наслаждений: мягкое золото шеи и живота, яркие пятна света на бесстыдных круглых коленках, взъерошенный невидимую недавней лаской грешный треугольник с запутавшимся в нем солнцем. Свежая прохлада летнего дня. Любви. Обладания. Отчаяния.

Женатый американский художник встретил ее случайно — Хельгу Тесторф, терпеливую женщину с крупным ртом и широко расставленными «северными» глазами. Он прожил с Хельгой в грехе пятнадцать лет — и нарисовал двести сорок семь сияющих чистым золотом портретов. А когда его не было рядом, томимая неутолимой тоскливой любовью Хельга Тесторф погружалась в депрессию. Эндрю Уайет даже нанял ей сиделку, потом устроил на несколько месяцев в психиатрическую лечебницу и, наконец, съехался с ней навсегда, войдя в историю изобразительного искусства двоеженцем.

Приходил. Уходил. А она ждала его в заброшенной школе — их «убежище». Которое выглядело, как незастеленная постель, заваленная пустыми пакетами из-под чипсов. Хельга все время лежала в углу кровати с опрокинутым бесцветным лицом, залитым темною водою печали. Но стоило Уайетту появиться и привычно разложить краски — она оживала. Снова превращалась в летнюю богиню Ильматар.

Собравшись однажды, я уезжаю в Олонец и устраиваюсь учительницей рисования в обычной школе. Но и в Питере бываю наездами. Когда туда едет кто-нибудь из знакомых. Дорога занимает меньше трех часов. Или пять часов на автобусе.

«Привет, я к Зое», — говорю открывшему мне дверь Петрову, но он даже не кивает. Лицо у него сосредоточенно-пустое; только в глазах будто мелькают облачка — как двадцать пятый кадр на киноплёнке. Я знаю: там, внизу, под оранжево-розовыми кислотными облаками, все время взрываются и булькают недра неизведанной планеты.

Петров молча разворачивается и уходит к неоконченной работе. А я иду на кухню, где Зоя курит травку. Она сама набивает сигареты и сушит их на крышке желтой эмалированной кастрюли, поставленной на плитку. Разминает длинными пальцами — слышно, как сигаретки сухо хрустят. Протягивает одну мне.

Зоя вернулась домой неделю назад, и глаза у нее все еще спокойно-матовые, безмятежные, какими становятся, когда кончается каждая Зоина любовь: они как слепые глаза статуй. Подруга только что вышла из душа, и на ее круглых мягких плечах невесомо сохнут вымытые влажно-пушистые волосы: темно-золотое колечко прилипло к розовой щеке. Зоя пытается его сдуть — безрезультатно.

На прощанье я неслышной змейкой струюсь в мастерскую Петрова — где гигантские Зоины портреты. За неделю, что я здесь не была, портретов стало еще больше. Взглянешь — и задыхаешься от

красоты. В темноте, напротив обнаженной Зои, улыбающейся со свежего карандашного наброска, обхватил руками голову Петров, и в его глазах такое привычное отчаяние, что внутри у меня что-то предвидяще обрывается.

Судорожно отвожу от Петрова взгляд — и скольжу дальше: где сгибается кисть огромной руки и где смыкаются гигантские колени. На стенах не осталось ни одного свободного от Зои клочка. Прекрасное хтоническое чудовище, золотое и бессмертное, угрожающе множась, заполняет шелково текущими светотенями все пространство, испускает убийственно-обычное сияние.

Больше я не увижу эти портреты: их вынесли, когда освобождали мастерскую. В ней сейчас рисует совсем другой человек, а Петров сидит в сумасшедшем доме.

После того, как я тогда ушла, торопясь на автобус, — он зарезал Зою. Ткнул неглубоко в общем-то и как-то очень легко — и сразу попал в сердце.

Схватил карандаш.

Зоина смерть не причинила мне большого горя — и даже не стала неожиданной. Труднее было бы представить золотую Зою стареющей, мучимой неприятными проявлениями климакса. Уверена: она сама была бы не против умереть молодой.

Только одно не давало покоя: впечатлительность живо рисовала мне страшное освобождение мастерской от портретов подруги. Будто я навсегда попала в лимб или чистилище и теперь смотрю бесконечные дубли абсурдного фильма ужасов. Где чужие, грубые люди снова и снова выносят Зоино мертвое тело.

И было бесконечно жаль Петрова: его молодой талант, любовь, мечты. Никто не знал, сколько его продержат в тюремной больнице, да и сможет ли он после лечения хотя бы карандаш в руках удерживать.

Вот так, была жизнь — и не стало жизни.

На Зоиних похоронах мы видимся со Светкой — почему-то давно не встречались. А она сильно изменилась! Будто изнутри вынули горящую свечку — как из трепетного бумажного фонарика.

Светка ведь самая талантливая из нас (после Петрова). Еще на первом курсе рисовала пейзажи, соединенные с человеком. Помню:



влюбившись, она изобразила распахнутые на весеннем лугу ворота — как раскиданные женские коленки. От этой Светкиной картины так и несло первым сексом.

Только любовь, секс и даже дружба неизменно оказывались на задворках Светкиной жизни, а самым важным для нее всегда была живопись. Умница-подруга вдохновенно жертвовала живописи себя, надеясь, что та незамедлительно исполнит смешные девчоночьи мечты — какими мы, дурачась, делились в семнадцать лет, передавая друг другу по кругу тарелку с картошкой и полувыдавленный пакет вина.

Она смеялась: *vita brevis, ars longa* — жизнь коротка, искусство вечно, — и была строга со своею музой, не позволяя той капризничать (сегодня пришла, завтра нет). Рисовала каждый день! Боялась превратиться в нежную тучку золотую, которая сидит и ждет, старея, пока на нее снизойдет озарение. Боялась не успеть получить все, о чем ей искушающе нашептывал талант.

Вот только Светка считала, что художник должен быть сытым, выпавшимся и уверенным в завтрашнем дне, а образ голодного непризнанного гения, который ночью на чердаке клепает нетленку, питаясь лишь красным вином и черствым багетом, придумали хитрые галеристы, чтобы легче раскручивать художественных новобранцев.

Поэтому в двадцать лет она стала жить с шестидесятилетним любовником — маститым скульптором М.

Он устроил ей выставку. Пристроил в приличные галереи несколько ее картин. Организовал благожелательные отзывы. Обещал выбить для нее мастерскую.

Как-то — пару лет назад — подруга затащила меня с ним знакомиться, а сама срубилась после бутылки шампанского; я тоже нарезалась — и мы с М. поцеловались.

Гадость какая! От него даже пахло старением.

Я была у Светы — в мастерской скульптора — сразу после Зоиных похорон (М. находился в отъезде). Мы что-то настрогали, что-то налили — поминая подругу-красавицу.

Морщась от алкоголя, я растерянно оглянулась на райски бело-снежные ящички, подписанные самовлюбленным каллиграфическим почерком М. На его неоконченные, ожидающие работы. Любовно накинутую на спинку стула вязаную домашнюю кофту. Уткнувшиеся носами теплые тапочки. Прибор для измерения давления.

Вещи М. будто дремали, по-собачьи дожидаясь возвращения хозяина. И ничего не свидетельствовало о том, что в этом мире обитает молодая женщина (даже в ванной!). Только щетка для волос — явно не принадлежавшая М., череп которого мраморно сиял, — виновато выглядывала из-под вавилонской башни мужских гелей, кремов, дезодорантов.

Светкины потрясающие ворота торчали где-то в углу кверху коленками, а нового она давно не рисовала. Светка призналась, что просто не хватает времени: она же при маститом и секретарь, и нянька.

Ага! Молодая. Удобная. На все готовая. Всегда под рукой. То картины очередной протезе на выставке развешивает. То позирует своему Микеланджело.

И вдобавок люто его ревнует.

У Зои и Петрова остался ребенок. Мальчик. Сын. Она родила его невероятно легко. Говорила: как будто сильно захотела в туалет, — и почти сразу закричал ребенок.

Материнство Зое очень шло — ее золотое сияние стало мягким и ласковым, баюкающим. Будто кто-то прикрутил горящую лампочку: чтобы не так резало глаза. Мальчик сосредоточенно играл Зоиными волосами, прикасаясь к ним просвечивающими розовым солнцем пальчиками, а она терпеливо улыбалась от сладкой влажной щекотки его дыхания.

Но через полгода Зоя ушла к новому любовнику.

Петров не знал, что делать с ребенком, и мне пришлось перебраться в питерскую мастерскую, чтобы за ним ухаживать. Так что мои десятилетки остались без интересных историй про изобразительное искусство.

Я и не знала, на сколько я покидаю Олонец, школу, свою жизнь: на день или на год. Оказалось — на четыре месяца. Вернулась подруга за неделю до смерти: как обычно, ничего не объясняя, — и я, облегченно выдохнув, собрала свои вещи и поехала домой.

Ольга Петровна, завуч, была добра: сначала отпустила меня «по собственному желанию», потом приняла обратно. Но я не пожалела бы в любом случае. Если честно, за это время — а Зоя отсутствовала несколько месяцев — я здорово привязалась к мальчику.

И столько всего произошло! «Мы» научились есть, ням-ням, вкусенькое тыквенное пюре — и ходить. Правда, еще неуверенно, цепляясь мягкой щекотной ладошкой за мою руку.

Когда Петрова задержали за убийство Зои, их ребенка поместили в дом малютки. Сама Зоя была сиротой и выросла в таком же детдоме — поэтому-то я и заботилась о мальчике, когда она «загуляла». А у Петрова хоть и были какие-то дальние родственники, но они забрали себе только его картины, потому что их можно было продать, — и не взяли его сына, который ничего не стоил.

И не то чтобы я о нем забыла, но все никак не могла вырваться: то надо было ехать черте куда опознавать тело и давать показания, то суетиться из-за похорон, то нагонять пропущенное в школе и писать бесконечные отчеты (чтобы не подвести Ольгу Петровну).

В общем, я смогла провести мальчика только сегодня.

Накануне я строгала канцелярским ножом сломанные карандаши десятилеток и нечаянно порезала ладонь. Мои мальчики и девочки восхищенно сгрудились, любуясь, как хлещет красная кровяшка и как я неловко орудую одной рукой, пытаюсь сделать перевязку. Рана оказалась неожиданно глубокой — и я ушла на больничный. А тут хороший знакомый хороших знакомых — раньше не знакомый мне парень — поехал в Питер и захватил меня.

Вот ведь как удачно все вышло! Я украдкой наблюдаю за симпатичным сероглазым профилем — и ловлю ответно-быстрые взгляды. В общем, прибываю в дом малютки впечатленной. Даже думаю: а было бы совсем неплохо прожить вместе пятнадцать — и миллион лет.

И вдруг начинают лететь большие слипшиеся снежинки! Как развернувшиеся от ветра куски сахарной ваты.

Люблю, когда первый снег падает после тепла. Мокрые хлопья — как осторожные кисточки — счищают с мира пыль прошлого. Краски становятся умытыми, яркими — словно на талантливых детских акварелях.

Мы обмениваемся с сероглазым водителем телефонами.

Ребенок Зои и Петрова — через месяц ему должен исполниться год — перебирает прозрачными пальчиками по перильцам своей зарешеченной кровати-одиночки. Милый льняной нимб на голове. Нежное лицо. И будто въяве: опущенное, испятнанное кровью раненное крылышко.

Мальчик с мгновенной жадностью схватывает мою неуклюжую взрослую улыбку — и расцветает солнечным счастьем. Узнал! Тычет

пальчиками в сторону моей перебинтованной руки и недоуменно разглядывает собственную ладонь: почему такой любопытной штуки нет у него.

Беру его на руки — утыкаюсь в золотую макушку. Потрясенно задыхаюсь от сладкого запаха недавно рожденной жизни. Только сделавшей первые шаги навстречу неведомой судьбе — и любви.

Улыбаясь, он смотрит на меня с доверчиво-серьезным пониманием — как могут смотреть из вселенной. Я знаю: если я уйду — он начнет неумолимое погружение в океан одиночества. Где злые слезы и игры, пасмурный взгляд на прохожих, горькая ненужность и ничейность.

Я выскочила на крыльцо. В груди невыносимо жгло. Вытащила сигарету. Сломала. Еще одну. Еще. Смяла пачку в беспокойный комок — кинула в урну, промазав.

Вот так я и бросила курить.

Оглянулась — глаза резанул белый свет. Снег! Шероховатый — как лист. И раненная рука вдруг забыто заныла от желания, поглаживая воображаемый карандаш.



Арчила Остромишна

ДВА. ТОЧКА. НОЛБ

За окном монотонно звучал низкий голос. Иногда его перебивал другой, повыше. Я прислушалась: ни слова не понимаю. Язык точно не романский. И не германский. И даже не славянский. Ни одного знакомого корня. Может, албанский? Новые соседи, наверное.

Вставать не хотелось. Вчера переводила допоздна, а после недосыпа тяжело работать, поэтому и будильник выключила. Но если уж проснулась, надо проверить почту, и я открыла глаза. Вместо привычного белого потолка — косо уходящие вверх темные доски. Мансарда? Я приподнялась, осмотрелась: небольшая уютная комната, несколько книжных полок, кресло завалено плюшевым зверьем.

Где я?

Пахло горячим маслом, как будто рядом пекут блины. За окном все стихло, зато за дверью теперь громко смеялись дети. Кажется, все-таки сплю: ни блинов, ни детского смеха у меня дома уже давно не было.

Я села на кровати, ноги едва доставали до пола. Слезла, прошлепала босиком к шкафу.

В зеркале отразилась девочка лет шести.

Распушенные черные волосы чуть ниже плеч, темные глаза, пижама в цветочек. Подняла руки, повертела перед собой: гладкие розовые ладони, короткие детские пальцы. Какой необычный сон! Попробовала ущипнуть себя — говорят, это помогает проснуться. Девочка в зеркале скопировала мой жест.

Больше всего мне сейчас хотелось закрыть глаза, а потом оказаться дома, в удобной кровати, в полумраке — я люблю, когда в спальне темно, у меня там плотные шторы. В десять пришлют текст на вычитку, в полдень его будет ждать заказчик. Но сон никак не кончался, и мне в голову пришла нелепая мысль: интересно, а позвонить отсюда можно? Скажу на работе, что заболела.

Телефона в комнате не было. Я осторожно открыла дверь и увидела деревянную лесенку. Спустилась, держась за перила: ступеньки оказались слишком высокими. Внизу за овальным столом сидела

семья. Мужчина и мальчик-подросток — наверное, это их голоса меня разбудили. Две девочки постарше той, кого я видела в зеркале, и женщина в ярком домашнем платье.

Она улыбнулась и подошла ко мне. Огромная, вдвое выше меня — пришлось запрокинуть голову, чтобы видеть ее лицо. Взяла меня за руку, заговорила на незнакомом языке. Отвела наверх, помогла переодеться. Я молчала — а что я могла сказать? Она скрепила резинкой мои волосы и подтолкнула меня к двери в коридор, потом в ванную. Я медлила: в стаканчике стояли три разноцветные щетки. Какую взять? Девочкина мама вздохнула, протянула мне синюю. Не уходила, пока я не начала выдавливать пасту. Чистить зубы чужой щеткой? А с другой стороны, у меня и тело чужое. Я храбро открыла рот и прошлась щеткой по зубам. Потом вернулась вниз, села на свободный стул. Девочки тихо шептались, меня как будто не замечали. Мне на тарелку положили плоскую золотистую лепешку. Я попробовала: вкусно.

Пока ела, смотрела по сторонам. В этой семье, похоже, не принято сидеть за столом с мобильниками. Придется искать, где они держат свои телефоны. После завтрака девочки взяли мяч и убежали во двор, их мама начала убирать со стола, папа с мальчиком куда-то ушли.

Может, у них есть обычный домашний телефон? Я побродила по коридорам, заглянула в комнаты. В прихожей на тумбочке увидела старинный аппарат. Неловкими детскими пальцами с трудом прокрутила тугой диск, набирая знакомые цифры. Короткие гудки, снова и снова. Код города, код страны — и все равно только издевательское пиканье.

За дверью послышались шаги. Я быстро положила трубку и присела на пуфик. Подошла девочкина мама. Мне страшно хотелось с ней поговорить, у меня столько вопросов накопилось! И о телефоне, и об их семье, и об этой странной девочке, за которую меня тут принимают. За все утро я не сказала ни слова, а им как будто все равно. Дочка у нее необщительная, я уже догадалась. Но я-то не могу молчать весь день.

Я открыла рот и попыталась спросить, почему никто со мной не разговаривает. Язык ворочался с трудом, слова звучали неправильно. Девочка привыкла произносить другие звуки, русские слова ей не даются. Женщина приподняла брови и сказала короткую фразу. Подошел ее муж, сначала они спорили, потом как будто задавали мне вопросы, судя по интонации. Я постепенно приспособилась, мышцы языка начали меня слушаться, и я настойчиво твердила: я не ваша дочь, мне нужно вернуться домой. Девочкины родители смотрели

на меня с недоумением. Я повторила все то же самое по-английски, потом по-испански. Никакой реакции. Если уж они этих языков не знают, то плохи мои дела.

Кажется, мужчина решил, что я придумала новую игру: болтать бессмыслицу. Он засмеялся, махнул рукой и ушел. Его жена отвела меня на просторный балкон, заставленный яркими цветами в горшках, и усадила перед низким столиком, где аккуратной стопкой лежали детские книжки с картинками. Я листала их и не видела ни одного знакомого символа. Что это за алфавит — арабский, грузинский? Нет, они не так выглядят.

И тут я по-настоящему испугалась: а если я так и не смогу проснуться? Что я буду делать среди этих людей — не зная их языка, не понимая, куда я попала?

Говорить я больше не пыталась. Чтобы не поддаваться панике, весь день мысленно повторяла: мне это снится, это как игра. Угадывала, чего от меня хотят, и молча подчинялась. Меня отправляли мыть руки, сажали за стол, я ела и пила. За обедом вся семья что-то обсуждала, а я молча наблюдала и пыталась уловить хоть одно знакомое сочетание звуков.

Наконец, наступил вечер. Мама девочки укутала меня одеялом, поцеловала в лоб и погасила верхний свет. Я устроилась поудобнее и заснула в надежде, что этот кошмар закончится и я снова стану собой. Это просто долгий сон, это не может быть реальностью. Надо только проснуться.

На следующее утро я долго не открывала глаза: боялась. Осторожно прикоснулась рукой к стене, провела снизу вверх, нащупала излом между стеной и косым потолком: все та же мансарда. Сколько мне еще здесь торчать? У меня работы полно, по двум заказам сроки поджимают, я же ничего не успею, если не вернусь домой сегодня.

Я швырнула на кресло дурацкую пижаму в цветочек, достала из шкафа первое попавшееся платье, пошла чистить зубы уже знакомой синей щеткой. Из зеркала на меня смотрела недовольная детская физиономия. «Что уставилась», — злобно сказала я своему отражению, с шумом выплюнула воду и спустилась в столовую.

Когда я вошла, все притихли: наверное, их напугал мой сердитый вид. Но меня это не волновало, мне и своих проблем хватало. Я села рядом с сестрами, увидела перед собой блюдо с такими же лепешками, как вчера, поморщилась: «Что, всегда одно и то же на завтрак?» — может, и хорошо, что я им ничего не могла сказать, а то поругалась бы сейчас со всеми.

Однако без их языка я долго не продержусь, раз уж я тут застряла. Пришлось выбрать подходящий блокнот и несколько тонких карандашей. Все это лежало на столике с книжками — на балконе, куда меня отправляли посидеть после еды. В тот же день я начала прислушиваться к разговорам и записывать повторяющиеся слоги.

Пальцы не слушались, вместо привычного бисерного почерка получались уродливые закорючки. Но я не сдавалась, старалась писать медленно и аккуратно.

Через пару дней я уже знала, что моих сестер зовут Десса и Киана, а меня — Лайна. У брата как будто было два имени: отец называл его Дарнал, а мать — Ниси. С именами родителей было еще сложнее: дети обращались к ним словами «ами» и «ноли». Потом я заметила, что муж часто говорит жене слово «Сати». Наверное, это и есть ее имя. Сама же Сати называет мужа «ноли», как и дети.

Я быстро поняла, что ударения здесь всегда падают на первый слог, без исключений. Сразу стало легче улавливать в потоке речи отдельные слова. Список слов в моем блокноте постепенно рос, но переводы появлялись медленно. В первые дни я разгадала только обращения, приветствия, слова благодарности и что-то вроде «спокойной ночи» — девочка мама говорила это, когда выключала свет на ночь.

Еще я запомнила движения, заменявшие «да», «нет» и «не знаю». Здесь тоже кивают в знак согласия, мотают головой при отрицании, а покачивание головы вправо-влево означает неуверенность. Так я начала общаться с моей новой семьей: кивала, когда Сати собиралась положить еду в мою тарелку, и мотала головой, когда мне предлагали добавку, а во всех остальных случаях изображала «не знаю»: даже если это было невпазд, ничего страшного, Лайну и так считали странной девочкой, вряд ли я могла что-то испортить.

Честно говоря, язык оказался слишком сложным для меня. Знание европейских языков совсем не помогало. От отчаяния я попыталась объяснить картинками. Сначала нарисовала глобус в виде шарика на подставке, а на нем — материки. Поставила точку там, где я живу, и хлопала себя по груди. Потом показала на Сати и протянула ей листок: надеялась, что она отметит свой город. Но она меня не поняла: повертела листок в руках и нарисовала завитушку в углу, как будто оценку поставила.

Тогда я нарисовала фигурку девочки, напротив взрослую женщину, соединила их стрелочками. Сати заулыбалась — она опять все поняла неправильно:



— Лайна, — она ткнула пальцем в девочку на рисунке, — Ами, — показала на вторую фигуру.

Я разозлилась, замотала головой, зачеркнула женскую фигуру и жирно обвела стрелку к девочке. Потом зачеркнула и девочку тоже. Ничего не вышло. Я скомкала листок и бросила на пол. Сати грустно вздохнула, подняла бумажный комок и ушла в кухню.

А я села за низкий детский столик, закрыла лицо руками и стала думать о своей жизни, оставшейся неизвестно где. В то утро, когда я здесь оказалась, у меня была срочная работа. К полудню меня точно начали искать. Звонили на мобильный. Ладно, допустим, Лайна попала в мое тело. Она бы точно не поняла, что это за серая дощечка запищала и запрыгала на столике у кровати.

Господи, бедная девочка. Проснулась утром в огромном чужом теле, да еще и не очень здоровом: то сердце прихватит, то голова раскалывается. Квартира незнакомая, мамы нет. Хорошо, что у меня там полно еды: соки, печенье, йогурт. Надеюсь, Лайна догадалась поесть.

Днем, когда шеф увидел, что я не отвечаю на сообщения, он должен был послать ко мне Диму, моего бывшего мужа. Я представила, как Дима звонит в дверь, потом открывает своим ключом и входит. Видит меня — растерянную, непричесанную. Может, заплаканную. Спрашивает, что случилось. Лайна молчит: с чужими она не разговаривает, а тут еще и язык незнакомый. Дима задает вопросы, злится, повышает голос — думает, что я над ним издеваюсь. Лайна пугается и убегает в дальнюю комнату.

После такого Дима наверняка вызвал Инку, нашу дочь. Сказал, что у мамы крыша поехала. Инка перепугалась, примчалась, тоже попыталась поговорить Лайну и тоже безуспешно. Потом Инка, скорее всего, позвонила знакомому психиатру, а он сказал, что все очень плохо. Лайну в моем теле должны были отправить в больницу. Дома ее бы не оставили в таком состоянии: молчаливую, беспомощную. А если из Лайны даже и вытянут какие-то слова — может, под гипнозом — это еще хуже: язык, на котором она заговорит, никто не сможет опознать. А значит, все решат, что я окончательно свихнулась, и разбираться с моим бредом никто не станет. Лайну так и оставят в больнице.

Мне очень хотелось поговорить об этом. Но с кем? Моего языка здесь никто не знает. Остается одно: воображаемые друзья. Я поднялась в мансарду, вошла в свою комнату и прикрыла дверь. Посмотрела на

кресло с игрушками: пусть они будут моими собеседниками. Теперь нужно выбрать, кто будет изображать мою семью.

Сначала Дима: хоть мы и развелись много лет назад, все равно он мой лучший друг. «Кого бы взять на эту роль? Медведь — не похож. Заяц — тоже не годится. А это кто... что-то среднее между волком и собакой. Крупный, красивый. Да, это Дима». Я посадила на пол серую плюшевую собаку с большими треугольными ушами. Черные стеклянные глаза поблескивали в солнечных лучах, падавших из окна, и я представила, что смотрю на Диму. Не нынешнего, постаревшего, но все еще привлекательного, а молодого — мальчика, с которым я познакомилась на первом курсе, одного из троих в нашей группе. Лучшего из троих.

Сначала я и сама не понимала, зачем он мне понадобился: сухарь, отличник, на приставания девчонок не реагировал, — кажется, даже не понимал, чего они хотят. А мне это нравилось: никто не мешал медленно становиться частью его жизни. И хотя я тогда считала, что студенческие годы нужны для любви, а не для учебы, я почему-то стала искать к нему подход «через голову», а не «через тело». Наверное, мне и самой так было проще. Я задавала Диме умные вопросы и внимательно слушала его ответы. Он привык к нашим ежедневным разговорам — сначала только в аудиториях, потом и в коридорах, потом мы стали вместе ездить домой на метро, а весной, наконец, оказались в постели. Но к тому времени наш взаимный интерес успел перерасти во влюбленность. После второго курса мы сходили в загс. Родители повозмущались и смирились. И когда родилась Инка, они даже приехали посидеть с ней, чтобы я могла сдавать зачеты и экзамены.

Тем временем, пока мы доучивались и растили Инку, мир изменился: поступали мы в одной стране, диплом защищали в другой. Привычный Ленинград превратился в помпезный Санкт-Петербург, в городе открывались все новые бюро переводов, и сразу после учебы мы оба нашли отличную работу. Я сидела дома с Инкой и переводила, Дима ходил в офис, а заодно приносил мне заказы и возвращал шефу готовые тексты. Инка росла, мы работали все больше и больше. Купили квартиру, Инка пошла в школу, и наша жизнь побежала по кругу: от сентября, когда мы привыкали к новому режиму и утрясали всевозможные расписания, — к декабрю с выбором подарков и покупкой елки — потом к маю с ожиданием школьных оценок и предвкушением каникул — и потом опять к новому сентябрю. Год за годом, год

за годом. После нескольких таких кругов я поняла, что устала, и мне захотелось чего-то нового, яркого.

В мечтах мне представлялось, как я знакомлюсь с кем-то молодым, сильным, красивым, и у меня начинается совсем другая жизнь. Вот только Дима в эту мою другую жизнь никак не вписывался. Так у меня впервые появились мысли о разводе. Но я не торопилась, ждала, пока Инка вырастет.

Ждать было не сложно: два трудоголика, мы с Димой отлично уживались. Но Дима работал спокойно и невозмутимо, часами молча сидел за компьютером и стучал по клавишам, а я так не могла, каждый заказ я воспринимала как вызов, а каждый текст — как битву, в которой нужно победить. И все же, хоть и по-разному, но мы оба любили свою работу. Целыми днями, а то и ночами мы переводили и редактировали, а в перерывах вместе пили чай и разговаривали. Но разговоры все реже касались других тем и все чаще превращались в обсуждение работы. Может быть, именно поэтому мы никогда не ссорились: даже когда интерес друг к другу начал угасать, у нас все равно оставалось общее увлечение — языки и тексты.

Но каждый раз, когда Дима по-утиному вытягивал губы вперед и дул на ложку с горячим супом, меня передергивало, и я выходила из кухни. И каждый раз, когда я слышала в коридоре шарканье войлочных тапочек, я думала: мой следующий мужчина никогда не будет носить такие тапочки! Последней каплей стала его пижама. Дима привез ее от мамы: фланелевая, в широкую полоску, с атласными кантами. Вечером, когда мы ложились спать, я сказала:

— Ой, у меня еще одна работа не доделана! — И села за стол.

А утром объявила Диме, что устала и больше не хочу с ним жить. Он удивился, решил, что у меня просто плохое настроение. Но через два дня все же переехал к маме. Она обрадовалась: после смерти мужа свекровь осталась одна в большой квартире, ей было скучно.

После развода Дима часто заезжал ко мне на чай. Мы по-прежнему любили говорить о работе. В нашей профессии все очень быстро менялось, появлялись новые интересные программы, и мы часто спорили, долго ли еще продержатся переводчики. Дима считал, что в ближайшие годы нас полностью заменит машинный перевод, а я не соглашалась: эти переводы еще редактировать и редактировать, на наш век работы хватит. Иногда засиживались допоздна, и тогда Дима оставался у меня ночевать. Не в нашей прежней спальне, а на диване в гостиной.

Я погладила плюшевую собаку по голове, вздохнула: «Где же ты, Дима?» — и повернулась к креслу с игрушками.

Теперь мне нужно было найти среди них Инку. В последнее время я встречалась с ней даже реже, чем с Димой. Ей вечно некогда, она работает в больнице, а в перерывах между дежурствами постоянно где-то учится. Но в трудную минуту я бы, конечно, первым делом позвонила дочери. В куче зверей я увидела длиннохвостую лисичку. Инка не рыжая, волосы у нее почти черные, но тонкие черты лица, острый подбородок, изящная фигура — очень похоже. Я посадила вторую игрушку рядом с собакой, но она все время заваливалась набок или утыкалась острой мордочкой в ковер.

— Сиди ровно, — строго сказала я вслух и почему-то вспомнила, как учила Инку пользоваться компьютером.

Я тогда купила себе новый, а старый отдала ей. Инка поставила его на небольшой столик в своей комнате, садилась в глубокое кресло и низко склонялась над клавиатурой. Мне это не нравилось, я твердила, что она испортит себе глаза, испортит спину и вообще так нельзя. А потом пришел Дима и спросил, почему мы не придвинули настольную лампу к монитору. Мы с Инкой переглянулись и расхохотались: за полчаса мы так и не сообразили, что здесь просто не хватало света.

Тогда мы с ней еще понимали друг друга с полуслова, но я уже знала, что нам осталось недолго: приближался переходный возраст, я начиталась книг и статей и ожидала худшего. Думала, что Инка будет трудным подростком. Она всегда была очень своевольной, бескомпромиссной, даже агрессивной, когда отстаивала свои интересы. Вот только интересы Инки почему-то концентрировались не на мальчишках и подружках, как было у меня в старших классах, а на учебе. Папины гены, думала я: Дима с возрастом все больше становился похож на того замкнутого отличника, каким он был до нашего романа.

Мы с Димой много рассказывали Инке о нашей работе — точнее, мы просто всегда говорили о ней, а Инка слушала наши разговоры. Но неожиданно для нас она увлеклась биологией и решила стать врачом. И оказалось, что ее переходный возраст таил в себе совсем не те подводные камни, которых я ждала. Мы действительно стали меньше общаться, но не потому, что Инка связалась с плохими компаниями, к чему я была почти готова. А потому, что она, как и мы с Димой, зациклилась на своем увлечении, и родители больше не были для нее достойными собеседниками.

После школы Инка поступила в медицинский. Домашние дела и наши отношения с Димой ее вообще не интересовали. Кажется, она даже не заметила, что мы развелись: подумаешь, папа переселился к бабушке, ничего особенного. Года два мы с Инкой жили вдвоем, иногда она оказывалась дома во время визитов Димы, и тогда мы, как раньше, обедали втроем. И вели себя так, будто ничего не изменилось. Да, в сущности, так и было: три взрослых человека, каждый занят любимым делом, каждый готов говорить о своей работе, а все остальное его не очень волнует. Потом, правда, у Инки появился друг, и она переехала к нему. С тех пор я жила одна. Инка навещала меня пару раз в месяц: забегала выпить чаю, приносила вкусные пирожные, быстро рассказывала про свои дела и прощалась.

Первое время мне казалось, что она приходит из вежливости, что ей самой не очень нужны эти встречи. Но постепенно я стала замечать, что в наши отношения возвращается теплота, которую мы утратили много лет назад. Однажды я спросила Инку, почему она так изменилась. Она не сразу ответила. Отвернулась к окну, покрутила в пальцах прядь волос, по-детски шмыгнула носом. Потом сказала:

— Повзрослела, наверное.

— А что это значит для тебя?

Инка опять помолчала, посмотрела мне в глаза:

— Знаешь, я сейчас скажу банальность, наверное. Повзрослеть — это значит простить своих родителей.

Я почувствовала, что краснею. Конечно, я слышала эту фразу. И думала такими словами о себе: какая я молодец, я давно простила моих родителей, а ведь они столько всего делали неправильно! Как же я не понимала, что теперь Инкина очередь простить нас?

Она подошла ко мне, обняла:

— Только не вздумай плакать! Все хорошо.

С тех пор я стала считать ее взрослой. Иногда я размышляла, за что именно она меня простила. Правда, недолго: я быстро переключалась на мысли о работе, так и не вспомнив свои родительские ошибки. Но если раньше в нашей паре умной и сильной я считала себя, то теперь мы постепенно менялись ролями. Когда у меня что-то не складывалось, я звонила Инке и просила приехать. Она выбирала просвет в бесконечном хороводе курсов, дежурств, зачетов и появлялась в дверях с традиционной коробкой пирожных. Я рассказывала о своей проблеме, а Инка, немного подумав, давала мне совет. Всегда короткий и всегда полезный.

Вот и сейчас: именно ей я бы позвонила, если бы могла. Именно ее слова мне сейчас были нужны больше всего. Но вместо Инки передо мной сидела пушистая плюшевая лисичка с коричневыми глазами-пуговками.

Я села напротив. Теперь это моя семья. Мне показалось, что чего-то не хватает. Мне тоже нужна игрушка. Я взяла с кресла мягкую белую овцу: вот кем я себя ощущала — бессловесная, тупая, не способная что-то исправить. Я прижала к животу свое плюшевое «я» и начала говорить.

— Привет, Дима! Привет, Инка! Я так по вам соскучилась!

Изменив голос — стараюсь говорить как можно ниже, — я ответила сама себе:

— Ну, здравствуй, Лара!

А потом тоненьким голоском за Инку:

— Привет, мама!

И опять за себя:

— Вы даже не представляете, что со мной случилось.

И я начала рассказывать все по порядку, с пробуждения в этой комнате до попыток учить язык. В это время дверь приоткрылась, я повернула голову и увидела Сати. Она удивленно смотрела на овцу у меня в руках, потом перевела взгляд на собаку и лисичку. Похоже, ее дочь не любит играть. Я смутилась и замолчала, а Сати, чтобы меня подбодрить, заговорила медленно и спокойно. Я, как всегда, ничего не отвечала, а она вздохнула, взяла меня за руку и повела обедать. За столом Сати что-то рассказывала мужу, поглядывая в мою сторону и жестикулируя. Я догадалась: изображает, как я сидела на полу с игрушками.

Сестры перестали жевать и уставились на меня. Кажется, я сегодня вышла за рамки своей роли, не смогла изображать угрюмую молчаливую Лайну. Но мне это не помогло: все равно никто не догадывается, что я — это не она. Сколько бы я ни старалась вести себя не так, как Лайна.

А что будет, если я выучу язык и расскажу им правду? Вряд ли они мне поверят. Да я бы и сама не поверила, если бы Инка лет в шесть заявила, что она не моя дочь, а какая-то посторонняя женщина, вселившаяся в ее тело. Я бы назвала ее фантазеркой и, может быть, даже подыграла ей. Но для меня это было бы только игрой.

Я пыталась найти выход, придумывала все новые и новые варианты. Пойти в полицию, попросить переводчика — но как я туда попаду и кто станет слушать ребенка, тем более не знающего местный язык? Письмо в газету или на телевидение — даже если я напишу его на нескольких

языках, где я возьму конверт и куда отправлю? А хуже всего, что у них дома нет ни одного компьютера! Похоже, что и Интернета здесь нет. Их образ жизни напоминал какую-то южную страну прошлого века. Примерно семидесятые годы, судя по одежде и мебели. Как будто я перенеслась на сорок лет назад и на пару тысяч километров южнее. Но даже если так, почему я не узнаю страну и алфавит? Я перебирала все подходящие страны, но ни на одной не могла остановиться. К тому же я знала эти страны сейчас, в наше время, а как там жили сорок лет назад, представляла только по фильмам и книгам.

Мне очень хотелось узнать год и месяц, но у меня даже это не получалось! Мои новые родители выписывала газеты — каждое утро на крыльце появлялись бумажные прямоугольники. В моем мире таких уже давно нет, а здесь, как в прошлом веке, глава семьи каждое утро с хрустом разворачивал свежую газету — желтоватые листы с забытым запахом типографской краски, — и читал вслух некоторые строчки, а жена и старший сын отвечали короткими репликами. Потом он оставлял газету на столике в гостиной и уходил, а я, прежде чем отправиться на свою террасу с книжками и игрушками, подходила к столику и рассматривала первую страницу. Дата! Она ведь должна быть указана под названием газеты! Но я никак не могла определить, какими символами здесь обозначались цифры.

Иногда мне казалось, что это дает мне надежду: мир, в котором не пользуются ни арабскими, ни римскими цифрами, просто не может существовать в реальности. А значит, это лишь затянувшийся кошмарный сон. Но иногда я впадала в отчаяние: а вдруг такие миры все же есть? Тогда надеяться не на что: я никогда не найду способ отсюда выбраться.

Каждый вечер, ложась спать, я молилась богу, в которого не верю: господи, прошу, верни меня домой! Я больше никогда не буду... чего именно не буду, я не успевала придумать: в этом маленьком детском теле я засыпала очень быстро. Но домой меня не возвращали, и каждое утро, снова и снова, я просыпалась в мансарде Лайны.

Вскоре после разговора с игрушками мне приснился сон. Будто бы я встала с кровати в моей прежней комнате, открыла окно и легко перебралась через подоконник. Но не упала, а спокойно зашагала по теплой упругой пустоте.

Сразу после этого я проснулась, но — увы! — не в своей комнате, как в этом сне, а в кровати Лайны. Все утро я вспоминала: а точно ли я легла спать в тот последний вечер дома? А не случилось ли что-то плохое?

Нет, выйти в окно я не могла, конечно. Это совсем не в моем стиле. Слишком много невыполненных обязательств у меня там оставалось.

Вот разве что сердце... В последний год оно «пошаливало», как выражался старичок-кардиолог. Когда мне становилось плохо, я просила Диму на всякий случай пожить у меня несколько дней. Он приезжал с ноутбуком, сидел за моим столом в спальне, а я устраивалась со своим компьютером прямо на кровати. Мы стучали по клавишам, изредка переговариваясь и обмениваясь шутками — совсем как раньше. В такие дни я думала: и зачем мы развелась? Так бы и жили вместе. Хорошо, когда рядом есть друг. Но потом, когда я поправлялась и Дима уезжал к себе, я вздыхала с облегчением: нет, одной все-таки лучше.

Но иногда, если сердце прихватывало по вечерам, когда вызывать Диму было уже поздно, я боялась засыпать: казалось, что я могу больше не проснуться. А что, если так и вышло?

Несколько дней я отгоняла от себя эту догадку, отказывалась думать о том, что я умерла. Потом начала робко приближаться к мысли о смерти. Как будто пробовала ногой холодную воду и не решалась в нее войти, но все же, двигаясь крошечными шагами и преодолевая страх, входила в эту реку. И чем дальше я шла, тем больше вопросов у меня появлялось. Если это правда, то где теперь Лайна? Заняла мое тело, которое отказалось мне служить, и моя семья принимает ее за меня? Но тогда моя смерть становится ненастоящей, неполной, незавершенной. Это нечестно по отношению к Инке и Диме: у них остается надежда, что я к ним вернусь. А если Лайна не стала мной, то меня уже давно похоронили, и мне незачем оставаться здесь, среди этих посторонних людей.

Воспоминания о моей жизни причиняли боль, и это меня удивляло. Раньше я не видела в этом ничего ценного: обычная судьба, обычная профессия, обычное движение от понедельника к воскресенью, от января к декабрю — без интересных событий, без острых эмоций. Но теперь, когда меня выбросило из этой простой жизни, я смотрела на нее иначе. Мне до слез хотелось туда вернуться. И оставаться в этом чужом мире я больше не могла.

Я села на подоконник в своей комнате и посмотрела вниз. Второй этаж, высота небольшая, но двор вымощен камнем. Защелка на раме оказалась тугой, я начала сдвигать ее короткими рывками, и металл противно повизгивал. Я прищемила палец, содрала кожу и слизнула языком каплю крови. Обхватила колени руками и заплакала. Я больше не знала, как мне быть.



За дверью заскрипела лестница, и я узнала шаги Сати. Девочки ступают легко, почти неслышно. Их комната напротив моей, с балконом на улицу. А у меня только небольшое окно, но я даже открыть его сама не смогла. Сати как будто что-то почувствовала: она вбежала в комнату и бросилась ко мне. Схватила, обняла, взяла на руки. Мне было неудобно, я попыталась ее оттолкнуть. Сати посадила меня на кровать и быстро заговорила. Я разобрала несколько слов: окно, почему, девочка. Но смысл не уловила. Может быть, Лайна и раньше пыталась открывать окно, а ей не разрешали.

Ненадолго я ощутила злорадство: вот справлюсь с этой защелкой, выпадут на камни, и узнаете — потеряете своего ребенка, как я потеряла Инку. И сразу же мне стало стыдно: господи, как я могла вообще до такого додуматься? Чем Сати передо мной виновата? Она даже не знает, что в этом теле больше нет ее дочери.

За месяц, проведенный в чужой семье, я успела рассмотреть их быт. Сати была отличной матерью, я не могла не признать это. В каждом ее жесте — как осторожно она расчесывала мне волосы, как внимательно рассматривала мои рисунки, как заботливо поправляла одеяло перед сном — я видела любовь. И каждый раз я невольно сравнивала ее с собой.

Мне была не по плечу роль матери. Наверное, я слишком рано взвалила это на себя, я была не готова менять приоритеты. Сначала на первом месте стояла учеба, а Инка с Димой делили второе место. Потом учебу сменила работа, а Инке так и не удалось подняться в моем списке наверх. А когда она подросла, я обнаружила, что мы живем хоть и рядом, но отдельно: две перфекционистки, две отличницы, погрязшие в учебе и работе. Нам было некогда остановиться и просто порадоваться тому, что мы вместе.

Много ли тепла видела Инка, пока росла? Мне вечно не хватало на нее времени. Я не успевала говорить ей, как она мне дорога. А потом она выросла, и я решила, что ей уже не нужны мои признания. Как это было глупо: отдавать все силы работе, а не любимым людям. Но это уже не исправить.

По вечерам, переодевшись в уютную пижаму Лайны, я рассаживала на своей кровати игрушки и рассказывала им, как прошел мой день. Я уже догадывалась: однажды я забуду, почему я назвала овечку Ларой, собаку — Димой, а лисичку — Инкой. Я гладила лисичку и видела перед собой худую угловатую девушку, с неровной челкой, спадающей на глаза. «Спокойной ночи», — говорила я игрушкам и устраивалась

рядом с ними. А потом в комнату заходила мама и улыбалась, увидев меня в такой компании. Я больше не отстранялась, когда она наклонялась, чтобы поцеловать меня в лоб.

А днем, сидя за детским столиком и срисовывая из книжек непонятные символы, я думала о Лайне. Где она сейчас? Куда ее занесло этим нелепым ураганом, перемешавшим наши жизни?

Она и дома-то не могла жить, как все — как ее сестры, например. Они не брали Лайну в свои игры, не звали ее гулять. Она явно боялась покидать дом: я просидела тут уже больше месяца, ни разу никуда не выходила, и никто этому не удивлялся. Внешний мир Лайны ограничивался балконом, выходившим во двор. Я каждый день смотрела на высокие деревья, стоявшие вдоль каменного забора. Похоже на кипарисы: темно-зеленые, густые до черноты. За ними виднелись печные трубы на черепичных крышах. Вдаль уходили пологие холмы с островками белых домиков. Ни моря, ни гор: не за что зацепиться, чтобы угадать страну.

Я пыталась придумать такое объяснение, при котором Лайна не пострадала. Может быть, она так сильно погружена в себя, что не заметила перемены? Лайна будет жить своими грезами, даже оставаясь в больнице внутри моего тела. А может, и не моего. Может, цепочка намного длиннее, и мы с Лайной — только два звена.

Но тогда в этом должен быть какой-то смысл. Возможно, я получила вторую версию моей жизни. «Версию два точка ноль, — подумала я и усмехнулась: — улучшенную и исправленную». Здесь, в этой версии, я смогу с самого начала все делать правильно. Настоящая Лайна, первая версия, имела ошибку: она не могла дать родителям ни любви, ни внимания. А у меня есть шанс это изменить. Я выучу язык и останусь для них Лайной, сколько бы я ни прожила здесь.

Я встала с дивана, подошла к Сати. Она положила шумовку на тарелку, вытерла руки о фартук и повернулась ко мне. Я молча протянула руки и обхватила ее. Сати растерялась: похоже, Лайна ее никогда не обнимала. Я подняла голову и отчетливо сказала:

— Ами, эртиа, — что означало: «Мама, гулять».





**Алексей Дьячков.** Автор неизвестен. *Стихотворения*  
**Юлий Хоменко.** Ремонтно-строительные работы.  
*Стихотворения*

**Вадим Жук.** Шинель. *Стихотворения*

**Владимир Иванов.** Шуба дуба. *Стихотворения*

**Вадим Муратханов.** Тихий час. *Стихотворения*

**Ира Новицкая.** Все меньше времени. *Стихотворения*

**Лариса Миллер.** Да-да, конечно. *Стихотворения*

**Ганна Шевченко.** Районный небосвод. *Стихотворения*

**Игорь Иртеньев.** Основное чудо. *Стихотворения*

**Сергей Золотарев.** Пушкин в Аду. *Стихотворение*

**Владимир Салимон.** По трамвайным путям.

*Стихотворения*

**Дан Пагис.** Сила тяжести. *Стихотворения.*

*Перевод с иврита Александра Бараша*

*Алексей Дьячков*

**АВТОР НЕИЗВЕСТЕН**

**ВЕЛАСКЕС**

Не тает в марте снег, и ты не таешь,  
Зажмурившись, в маршрутке душной спишь.  
Придешь домой, остатки дня взболтаешь,  
С ребенком о зиме поговоришь.

Поди пойми себя, когда простужен,  
Когда старик, уставший от хлопот,  
Разглядывает свой остывший ужин,  
Пюре разводы, хвостики от шпрот.

Поймай волну, там снова взрыв в Бейруте,  
Союзники прорвались на восток.  
Уже недолго ждать, лиловый прутик  
Из почки скоро выпустит росток.

Со следом крови от укола ватка.  
Со снежными вершинами Тибет.  
Из анфилады выбежит инфанта,  
Козу покажет с хохотом тебе.

**МОТИВ**

Суша посреди разверстых вод.  
Туча вместе с лужей утекла.  
Прозой говорит экскурсовод  
О библейских притче и стихах.

Охры пламя теплится едва,  
Выступает свет из-под резца.  
Просвещает дева: Было два  
Сына у хозяина-отца.

После дней беспамятных, всего,  
Что за столько лет нагородил,  
На веранде постучал в окно,  
Чтобы хоть один его простил.

В грудь уткнулся, не видать лица.  
Пятерней за воротник пророс.  
Возвращение блудного отца.  
Автор неизвестен. Масло, холст.

## РОД

Налипал на подошвы суглинок,  
Сад узоры кроил без лекал.  
В дачных зарослях конус пылинок  
О погибшей звезде вспоминал.

Было солнечно, ветрено, сыро,  
И стояла, как твердь, тишина.  
В результате кембрийского взрыва  
Ожил камень и пыль ожила,

У реки появились желанья.  
Но один человек до сих пор,  
Выдыхая дымок, оживает,  
Головной подбирает убор.

Плащ накинув, бредет на вечерний  
Променад мимо муз-прилипал,  
Чтоб реликтовым стать излученьем,  
Или в новый вступить Талибан.



*Занозе*

Собирают крошки гули,  
Желтый лист попался в сети.  
Баба дремлет. Мама курит.  
Приглушили звук соседи.

Я в ночные сказки верю.  
Собирать мечтаю марки.  
Море катится за дверью  
Гулким эхом коммуналки.

Там во мраке коридора  
В сизой майке бродит демон.  
Третий день отца нет дома,  
И никто не знает где он.



Юлия Хоменко

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

•

жить

соседствуя с автобаном

готовясь к отлету

•

мне сегодня то же снится  
что и сорок лет назад  
над панельной башней птицы  
струйкой серою летят  
и теряются из виду  
и проходит много лет  
по утру из дома выйду  
а над башней серый след

•

в этот город  
можно попасть самолетом  
железной дорогой  
недавно построенным автобаном  
или эксплуатируемой  
с древнейших времен без ремонта  
широкой рекой

•

каким меня видят ласточки?

коршуны?

самолеты?

прохожу

честно отбрасывая тень

мимо заброшенной водокачки

•

высоким берегом Волги

мимо древнего городища

и развалин дома культуры

через мост

где ремонтно-строительные работы

не укладываются в сроки

так как запаздывают

грузовики со щебенкой

а звук не успевает за изображением:

сбросят строители с кузова узкую доску

и лишь через секунду-другую

бум-бум

•

в этом доме

он провел последний год жизни

а вот и церковь

где его отпевали



вернее его неподвижного  
очень бледного двойника

сам же он ускользнул

как всегда ускользает от слушателя концерта  
проходящего в рамках очередной шубертиады

воспетая им форель



поскорее бы выйти из арки  
на широкий простор площадной

над дымами белы но не марки  
проплываете к цели одной –  
облака – к той единственной цели  
о которой пока ни гу-гу

до которой давно долетели  
гуси-лебеди  
лебеди-гу...



был на стройке выходной  
да уплыл (темнеет рано)

достает рукой одной  
прямо до Альдебарана  
молодой подъемный кран

был бы стар предался б лени

дескать что Альдебаран?  
ноет грудь болят колени



в Измайлово  
как на особой планете  
не стареют взрослые  
не взрослеют дети

не кончается дождь  
но и снег не тает

улетает птиц  
но никак  
    не исчезнет  
        из виду  
            стая



*В а г и м    # г к*

**Ш И Н Е Л Ь**

•

Куда я еду, что я там забыл,  
Зачем я им, рассеянный и старый?  
Вольно мне пересчитывать столбы,  
Гонять по небу облаков отары.

Зачем душа учиться расхотела  
В прохладных долгих классах декабря,  
Где холм таинственный родного словаря  
И женщины загадочное тело?

•

Мой коммунист, мой огородник,  
Мой стэпмен, мой артиллерист,  
Мой превосходный, мой добротный,  
Природный перфекционист.  
Мой командир, мой подчиненный,  
Мой многодетный, мой скорняк,  
Чему не надо не ученый,  
Чему по делу, то верняк.  
Шинель. Потом пальто из драпа.  
И жизнь — одна на одного.  
Его Святейшество мой папа,  
Ручищи нежные его.



Нашей армии собаки  
Нашей гвардии гепарды  
Нашей партии медведи  
Нашей родины сыны  
Наших юностей бараки  
Наших планов авангарды  
Наших девушек миледи  
Наших грядок кавуны  
Наши бабки в медальонах  
Наши чудо-обереги  
Наша сданная посуда  
Наши дети на бегу  
Наши воды в павильонах  
Наш Печорин наш Онегин  
Наше — всё. Иди отсюда.  
Всё. Я больше не могу.



У женщины беременной — внутри,  
Как баобаб разросшегося тела,  
Пылают факелы, мерцают фонари,  
То полонез звучит, то тарантелла.

Грядущее будя и бередя,  
Плетутся козни, варятся измены —  
Какие в человеке победят  
Неистово рассыпанные гены?

Работа, созиданье, толкотня,  
Куется столбик, роется ложбинка,  
Любовно формируется ступня,  
Стремится к носу легкая горбинка.

Там сварка первозданная искрит,  
Там ангелы с тревогами своими.  
Покуда не раздастся первый крик  
И чудное не засверкает имя.



Из путей и вероятий,  
Что душа себе возьмет?  
Только шелковых объятий  
Общий том и переплет.

Алкобольные напитки,  
Да таинственный вокзал,  
Да колечко на калитке,  
Да раскосые глаза.

Чтоб колеса не умолкли,  
Чтобы жар и холодок,  
И над убежавшей елкой  
Неба серый ободок.



Она составила мохито,  
У ней в наушниках хиты,  
На ней хитон в Шанхае сшитый  
Непредставимой красоты.

Ей кошка тычет в локоть рыло,  
Хотя, быть может, это кот.  
Она шампусик отворила,  
И вот она шампусик пьет.

Она оставит дверь открытой,  
Быть может, кто-нибудь зайдет.  
От полусладкого с мохитой  
Под утро заболит живот.

Она позвонит в полночь Вере,  
Когда объявят новый год.  
У Веры тоже настежь двери,  
К ней тоже кто-то не идет.

На всей седьмой вселенской суши  
Никто к ним не идет. Никто.  
И Яковлев стоит под душем  
В пальто.

•

И Глобы врут нам и другая шушера,  
И мы готовы верить всей душой,  
Как Малая, должно быть, верит Вишера  
Словам несуществующей Большой.

Как будто звезды в полонез становятся,  
И мир в небесном плавится огне,  
Чтобы какая-нибудь Таня-Овица,  
Слюбилась с Овном-Ваней наконец.

А звезды сами по себе — мустангами,  
Забив лучи на всякий гороскоп.  
Гагарин вон летал — не видел ангелов,  
А наши нас с утра целуют в лоб.

А наши не велят нам наше горюшко  
Слезами заливать или вином...  
Зато проснешься и увидишь — перышко  
Перед застывшим кружится окном.



Намыливая рыбью спину,  
На рыбью глядя худобу,  
Папаня мне — малютке сыну —  
Никак не мог предречь судьбу.  
Ни сверху, ни с торца, ни сбоку,  
Ну, просто, вообще — никак.

Торчал херишко одинокий,  
Мигали глазки, как маяк.  
Стучали в ванную соседи,  
По коридору плыл фольклор,  
И Сталин, обкурившись, бредил  
Своей «Герцеговиной Флор».  
А мой майор — адепт «Казбека»,  
Гонял мочалку по спине  
Моей. Посередине века,  
На Петроградской стороне.



*В л а д и м и р    И в а н о в*

**ШУБА    ДУБА**

**РУССКИЙ МУЗЕЙ**

Я одиночка, я люблю один  
Погоревать о наших разговорах,  
Что нет их, что один, как сукин сын  
И дождь стеной, едва намылюсь в город.

А у меня тут нетути зонта!  
А хоть и есть, сижу пережидаю.  
Куда идти мне под дождем, когда  
Я сахарный — я под дождем растаю.

Туда ль, где кони на своих мостах  
И постамент, царапнутый осколком...  
Я это все в деталях и чертах  
С собой забрал и разложил по полкам.

Когда б он вновь воскликнул: «Сколько зим!» —  
Прислал повестку с надписью «Явиться!» —  
Я вышел бы, и шел среди осин  
И плыл, как рыба, и летел, как птица.

•

И от папы, и от мамы  
Много раз слышали вы  
Про него, про первый самый  
И единственный, увы,

Шаг ваш робкий, шаг ваш шаткий.  
По оплошности подол



Обронил и без оглядки  
В дали дальние пошел.

Все захлопали в ладоши:  
Браво-бис! Но через миг  
Наш замешкался прохожий  
И увяз, как грузовик.

Посмотрел на лево-право,  
Стал настаиваться на  
Мумие микстур и справок,  
Тусклом омуте окна.

Классы, виды, индивиды,  
Зовы местных заводил:  
Вовка выйдет? Нет, не выйдет!  
Но случалось, выходил.

Несомненно, что-то было —  
С кем идти, во что вступать.  
Сам себе дышал в затылок,  
Ехал в Питер выступать.

Питер-шмитер, дар природный  
Неухватною струей,  
Иль петлей канал Обводный,  
Или чаша со змеей.

## **К СЕСТРЕ**

Что ты, ангел Маша, знаешь про меня?  
Стал я, Маша, старше — вырос из вранья.  
Начались помехи — рябь и «белый шум».  
Подними мне веки, сдуй с ушей лапшу.  
Расскажи, как жили, под какой звездой?  
Где меня поили с ложечки водой.

Я хочу быть смелым, сложным и простым,  
Стыдно жить пробелом, местом быть пустым.  
Лилией всплывает прям из темноты  
Кошка, как живая, а за ней — коты.  
Эту кошку нашу, подтверди кошмар,  
Слопали при нас же Шарик и Мухтар.  
Скифы, печенег, ясли, институт...  
В старом человеке лилии цветут.

## НЕВСКИЙ НАВИГАТОР

*Санджару Янышеву*

Откуда, казалось бы, знать им,  
Где были проложены гати  
В те первые самые дни?  
Покуда не обнял кондратий,  
Старайся во всем потакать им —  
Иди, куда скажут они.

Прикажут на Марсово поле,  
Где пахнет трава алкоголем,  
Не прямо, а криво шагать...  
Шагай — будь почтительным сыном,  
Шаг вправо, шаг влево — трясина —  
Утянет, и дна не видеть.

Попьешь на Гороховой кофе,  
А выйдешь... уже в Петергофе,  
Рыбацкий рюкзак на плече  
С ведерком пристегнутым гулким.  
Горят чешуею проулки  
И пыль мельтешится в луче.

Труднее, чем в Зимнем на стену,  
Попасть на банкет джентельмену,

На шабаш, на пир сатаны...  
В изрядно разбавленном мраке  
Бредем две живые собаки,  
Брехне путеводной верны.



Бесчисленных бесчинств  
Лесные отголоски,  
И наших, и того,  
В чьи рядимся обноски.  
О лете речь ведем,  
Излишни эквивоки.  
На севере живем  
И северо-востоке.

Сифонит жизнь, сквозит,  
Сипит, как опрессовка.  
С амурами затор  
И с пьянкой пробуксовка.  
А мысли все о нем,  
О пресловутом лете.  
Под елью спину гнем,  
Ей молимся, как дети.

Смолистый Нотр-Дам  
В наряде камуфляжном...  
А дубу шубу дам,  
Без шубы дубу страшно.



Вадим Муратханов

ТИХИЙ ЧАС

●

Слышишь? Дождь. Поливает сугробы,  
в жестяной подоконник стучит.  
В тихий час окунуться попробуй,  
где февраль растворен и размыт.

Ты вернешься другим и не скоро,  
и не вспомнит никто о дожде,  
только ты – и стареющий сторож,  
стерегущий круги на воде.

●

Синюю птицу заметил  
вдали от людей.  
Станет ли чист и светел  
пасмурный день?

Голос мне не знаком ее,  
не приручен.  
Не расспросить ни о ком ее  
и ни о чем.

Кинет взгляд птица синяя  
в мое сердце бессильное,  
голову повернет –  
и продолжит полет.



Тело мудреет, как плод.  
Вот только рассудок  
не поспевает за ним, отстаёт  
от времени суток.  
В пыльный, обратный готовится путь,  
будто в начале –  
цель, и награда, и место уснуть,  
дней не сличая.

В рамку глазницы моей помещен,  
на горячей изнанке  
мальчик казахский играет с мячом  
на полустанке.  
Отяжелевший на солнце вагон  
отлучен от движенья.  
Мяч черно-белый стучит, как живой, о ладонь,  
нарушая закон притяженья.

Вот и зарос от бумаги порез.  
За окнами – без перемен.  
Старый диван отправляется в рейс  
хоккей–КВН.



Ира Новичкая

ВСЕ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ

•

я не ставлю точек  
я никогда и нигде  
не ставлю точек  
тем более в стихах  
они не могут закончиться  
завершиться  
они переходят в Вечность  
и продолжают уже там

я никогда и нигде  
не ставлю точек

•

и этого  
и этого  
и этого  
никогда больше не будет  
никогда

•

под ночным самолетом  
звездное небо  
Земли

●

дождь  
с запахом шерсти  
собачьей

●

сжавшееся под пальцами  
горло  
бутылки

●

все меньше времени  
все короче  
стихи

●

дом  
в котором я сейчас живу  
напоминает оркестр  
который все время  
настраивает свои инструменты  
особенно это заметно по утрам  
когда его обитатели просыпаются —  
слышны голоса  
хлопанье дверей  
шум воды  
чьи-то шаги  
звук раздвигающихся занавесок  
повизгивание открывающихся дверей  
лифт  
который ходит вверх-вниз  
и даже легкое постукивание когтей  
соседских собак

которые собираются на утреннюю прогулку  
и в нетерпении перебирают лапами на лестнице  
днем все эти звуки затихают  
но уже вечером  
дом снова начинает настраивать инструменты  
и всё для того  
чтобы глубокой ночью  
исполнить бесшумное произведение  
которое можно услышать  
только в полной тишине



пробежаться по собственной жизни  
на прощанье  
еще раз пробежаться по ней



непрочитанные  
и недочитанные книги  
несказанные  
забытые  
и нерожденные слова  
неразобранные папки  
осиротевшая комната и балкон —  
вот что останется  
после моей  
смерти



интересно  
улицы моего города  
все еще узнают меня?





*Лариса Миллер*

ДА-ДА, КОНЕЧНО

•

Мне вовсе не хочется жизнь изучать,  
Мне хочется просто ее излучать.  
Мне хочется быть стороной ее светлой,  
Мечтой потаенной и тайной заветной,  
Быть ею с небес и до самого дна  
И вовсе не ведать где я, где она.

•

А если жить самозабвенно,  
То полегчает. И мгновенно.  
Достаточно забыть себя  
И жить, все прочее любя.  
Коль жить, собою мир не застя,  
То обнаружишь море счастья  
И море краски голубой,  
Что заслонял самим собой.

•

Весенняя синичка так поет,  
Что просто слово вставить не дает.  
Так свои трели звонкие рождает,  
Как будто в чем-то пылко убеждает.  
И хочется ответить ей: «Да-да,  
Да-да, конечно, горе — не беда,

И лучшее для хрупких душ леченье  
Есть утреннее звукоизвлечение».

•

И певец не певец, если все его песни в миноре,  
И гонец не гонец, если все его вести про горе,  
И творец не творец, если мир созидает он без  
Подающих надежду лазоревых вешних небес.  
И поэт не поэт, и особым талантом не блещет,  
Коль не видит, как свет и как воздух весенний трепещет,  
Как росток, чуть живой, вдруг возник из земной глубины,  
И стоит сам не свой, и в него все вокруг влюблены.

•

А если в памяти порыться,  
Нашарю детское корытце,  
А в нем себя и куклу Машку.  
Я тру мочалкой замарашку,  
А баба трет меня мочалкой.  
И все это в какой-то жалкой  
Подвальной комнате убогой.  
Ты, время, этого не трогай.  
Пусть все останется, как было:  
Бабуля, я, кусочек мыла,  
Кусочек мыла драгоценный,  
Заштатный город, год военный.  
Мне два, а кукле Машке годик.  
Нас ждет волшебный бутербродик  
На самобранке, битой молью —  
Кусочек хлеба с крупной солью.

•

Проснулся? Ну значит, вернулся к себе,  
К своей, скажем прямо, нелегкой судьбе,  
Вернулся к своей незаконченной фразе,  
Вернулся, чтоб снова налаживать связи  
С живыми, с ушедшими, с небом, с землей,  
Своим бездорожьем, своей колеей.

•

А в первом классе целый год  
Я занималась странным делом:  
Пускала способом умелым  
Пятерку гордую в расход.  
И, получив отметку пять,  
Переправляла пять на двойку,  
Хоть знала, что головомойку  
Устроят дома мне опять.  
Но я любила цифру два.  
Она казалась мне красивей  
Пятерки гордой и спесивой  
И захватившей все права.  
О, как прекрасен детский взгляд  
На мира ветхость и замшелость.  
О, как прекрасна эта смелость  
Творить свой собственный обряд.

•

Когда мне плохо, слушаю хиты -  
Те песни, что заезжены, запеты.  
Кому-то вторя, вопрошаю: «Где ты?»  
Клянусь, кому-то вторя: «Только ты!»  
Беру чужую песню напрокат.

А как еще мне с жизнью объясниться,  
Где счастья нет, покой всего лишь снится,  
И за рассветом следует закат?  
И почему-то бедному клише,  
Которое затаскано, затерто,  
Дано сегодня на разрыв аорты  
Мне все поведать о моей душе.



Г а н н а Ш е в ч е н к о

РАЙОННЫЙ НЕБОСВОД

●

Был лес похож на творчество Шагала,  
вдали визжала электропила,  
я вдоль акаций медленно шагала  
и воду минеральную пила.

Земля и небо сделались контрастны,  
я не забуду этого вовек –  
нечесаный, суровый, сине-красный,  
мне перекрыл дорогу человек.

Он вышел из кустов неторопливо  
и встал, неотвратимей, чем скала,  
развязано сказал: отдайте пиво!  
И я ему бутылку отдала.

И он ушел сквозь дикие растенья  
в шиповник, как в распахнутую дверь,  
спиной сливаясь с собственной тенью,  
туда, где обретается теперь.

●

На плечо себе набросив  
тучи, словно соболя,  
наблюдаю на откосе,  
как вращается Земля:

хорошо идет, спросонок  
пролетает между звезд,

будто маленький теленок,  
ест космический овес:

я придумала пространство  
для удобства и души,  
и теперь мое гражданство  
населяет камыши,

и теперь в морозной пасти  
жмет на скорость снегоход.  
Кто там звезды копипастит  
в наш районный небосвод?

Краснолицый небожитель  
в белой шапочке из роз –  
Снега нет, но вы держитесь! –  
воскликает Дед Мороз.



Летит над полем шум заводищ,  
аходишь в город – всюду тишь,  
идешь направо – песнь заводишь,  
налево – сказку говоришь.

Я, прямо скажем, поэтесса,  
живу движением страстей,  
быть поэтессой в век прогресса  
равно плетению лаптей.

Вот и взираю из трамвая  
на клен – колышущийся храм,  
и снова осень воспеваю  
из уважения к стихам.



Изорь Иртеньев

ОСНОВНОЕ ЧУДО

**ИЗ ЖИЗНИ ПЕТРОВЫХ**

Пугая ближних страшным хрипом,  
Роня челюсть на ходу,  
Петров болел кишечным гриппом  
Двенадцать месяцев в году.

Он превратился как мужчина  
В едва живое существо.  
Была не в силах медицина,  
Поставить на ноги его.

С температурой сорок девять  
Лежал он днями напролет,  
Врачи не знали, что с ним делать —  
К ноге прикладывали лед,

Барсучьим смазывали медом —  
Секретом древних поваров,  
Чтоб в облаках перед народом  
Как прежде мог летать Петров,

Пытались глиняным отваром  
Спустить недуг на тормозах  
Но все усилья были даром —  
Покойный таял на глазах.

Теперь Петров лежит в могиле,  
Где спит здоровым вечным сном,  
И все вокруг о нем забыли —  
А вот не надо быть говном!



Матрос Железняк был замеса  
Дурного, аж прямо беда,  
Недаром идя на Одессу,  
Он вышел хрен знает куда,

Поскольку направлен был лесом,  
Как минимум позавчера  
Раздолбанным вдрызг джиписэсом,  
К тому же поддатым с утра.

«Да что ж за урод я бездарный,  
Простая морская душа», —  
Так думал герой легендарный,  
В бугристом затылке чеша.

«Далась мне она, та Одесса,  
Сто лет бы не видеть ее,  
Какого поперся я беса  
Туда с похмела, ё-мое?

Лежал бы себе под курганом,  
Почетный неся караул  
В обнимку с любимым наганом,  
И в ус свой матросский не дул.

А так мои верные хлопцы,  
Что гнал по степи я гуртом,  
Впотьмах разбредутся как овцы,  
И хрен соберешь их потом,

А нет — ну так значит, не надо,  
И мне ли по овцам рыдать,  
Махну-ка, пожалуй, в Гренаду,  
Чтоб землю крестьянам отдать».



•

Когда в районе головы  
Вас поражает пуля,  
Сперва вам кажется, что вы  
Как будто бы уснули,

Но через несколько минут,  
Когда остынет тело,  
Вдруг понимаете, что тут  
Куда серьезней дело.

•

Движение как процесс приятно  
Тем, что не требует труда,  
Пойдешь туда, потом обратно,  
Потом куда-нибудь сюда,

Потом куда-нибудь отсюда,  
Тем самым для его процесс,  
Движение — основное чудо  
Из всех мне ведомых чудес.

И грудь вздымается покуда,  
И сердце ёкает в груди,  
Ходи туда-сюда-отсюда —  
Неважно, главное ходи.

Не бойся слишком нагружаться,  
Пора придет и ты плашмя,  
Еще успеешь належаться,  
Червей прожорливых кормя.



Я родился в Москве в сорок седьмом году,  
Тысяча девятьсот, если кто не понял,  
И поскольку покуда еще не помер,  
Так с тех пор по жизни все иду и иду,

И песня со мною вместе шагает,  
Чем сильно жизнь украшает мою,  
Она мне строить и жить помогает,  
А я ее, в свою очередь, все пою и пою.

И хоть она утверждает, что в нее уже больше не влазит,  
Но я тут у знакомого поинтересовался врача,  
И он объяснил, что мы находимся с нею в симбиотической связи,  
Известной в медицине как синдром Лебедева-Кумача.



*Сергей Золотарев*

ПУШКИН В АДУ

1

Что делал Александр Сергеевич  
в оставшиеся три дня  
до самой своей кончины?  
Поначалу, русского гения  
интересовала такая фигня,  
как, остался ли он мужчиной?

Лишь поняв, что перитонит,  
Пушкин прячет в конверте  
признание в собственной смерти.

У себя в животе  
женскую пулей зачатую  
смерть неминуемую вынашивая,  
Пушкин лежит на тахте:  
Если уже отпечатали  
некролог — вот это по-нашему!

Хе!  
Пушкин смотрит во двор  
на ворот створ.

— Александр Сергеевич,  
прояви милость велию,  
сделай выдох! — На кой?  
— Шар наполнится гелием  
и поднимется в вечный покой...  
Все б сняло, как рукой.

Окровавленные повязки  
сдержанно материт.

— Вот, хотел остров Пасхи  
превратить в материк.  
Там стоят истуканы,  
напоминающие лицом  
Осип Эмильевича  
перед концом.

Пушкин знает о нем и скучает.  
Дорогой Ося!  
Начинает письмо и кончает.  
Ничего не бойся!  
Что еще пожелать?  
Мерзлой земли и здравого смысла?  
И Пушкин под честное слово  
шлет ему БатюшкОва.  
Не кисло!

Входят дети, жена.  
Любуются им, как мехами  
новыми. Боль одна.  
Боль стихает.  
Пушкин чихает.

Может, открыта фортка?  
Ветер, как ухвертка!  
Милый, лежи!  
А в сериалах Бортко  
разве, что Воланд жив.

(смеется, стонет)  
Дети!  
Папка тонет  
в нети.

— Тятя, тятя, наши сети...  
Знаю! Сядьте!  
Саша! Дети!  
Натали! Долги!  
Господи, помоги!

2

Три дня Александр Сергеич провел в аду.  
Три дня был с собой не в ладу.

Схождение во Ад и снятие  
с креста и положение в АЭС.  
В какой последовательности наша бюрократия  
пустила дело Пушкина А.С.?

Сашку отдайте на передержку!  
Есть же Державин,  
есть же, в конце концов,  
истинный Самодержец –  
бесится граф Воронцов.

Шерсть дыбится на нем словами.  
А разговор был только начат:  
слова дымятся между нами  
и что-то значат.

И, где к раскаленной скале прислонился,  
Александр Сергеич взмолился:  
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий,  
Единственный сюда вхожий,  
дай рабу Твоему  
голового света кожу  
и меховую тьму!

3

И когда мечты умрут,  
остается твердый лоб:  
ядра — чистый изумруд,  
пушкиниста изотоп.

— Подержи еще тяжелую  
руку. И не уходи.  
Слышишь, падают, как желуди,  
слезы зрелые в груди.

Занимайся больше танцами,  
этой солнечной живой  
удивительной субстанцией.  
Я теперь учитель твой.



В л а д и м и р С а л и м о н

П О Т Р А М В А Й Н Ь И М П У Т Я М

•

Похолодание пришло,  
и вспомнились стихи Шкляревского,  
да так, что зубы мне свело  
от звука чистого и резкого.

Москва не любит холодов.  
Пустеют вдруг дворы и скверики,  
а стены серые домов  
причиной могут стать истерики.

В такие дни — упадка сил,  
сниженья жизненного тонуса —  
кто бы чего ни говорил,  
легко с тоски мозгами тронуться.

В такие дни — не грех иметь  
на всякий случай томик лирики,  
и, чтоб хандрой не заболеть,  
позвать соседа в собутыльники.

•

Надо было учиться у рыб  
находить меж сетями проход,  
продираться меж каменных глыб  
и веселый водить хоровод.

Надо было учиться у птиц  
обходить птицеловов силки  
и не знать ни преград, ни границ,  
где дозор свой несут погранки.

Надо было к зверушкам лесным  
нам пойти в обученье с тобой,  
чтобы лазом ходить потайным  
научиться, секретной тропой,

чтобы в чаще дворов проходных  
научили лавировать нас,  
в лабиринте бульваров ночных  
уходить от погони подчас

по знакомым нам с детства местам,  
колесить, заметая следы,  
удирать по трамвайным путям  
от судьбы, от долгов, от нужды.



Снял хулиганскую кепку,  
интеллигентский берет  
из гардероба, как репку,  
вытянул снова на свет.

Необходимо, однако,  
что-нибудь в жизни менять,  
чтоб никакая собака  
след не сумела твой взять:

горе-злосчастье,  
невзгоды,  
самая что ни на есть  
хворь людоедской породы,  
кара, возмездие, месть.



●

Дача. Осень.  
Том воспоминаний  
наших беллетристов страшно взять,  
лучше изученью расписаний  
электричек час-другой отдать.

Интересно знать на всякий случай,  
что на Тулу первый поезд в семь,  
когда солнце скрыто ночи тучей,  
на дворе лежит ночная темь.

Я поставлю небольшую птичку,  
красный карандаш взяв со стола,  
чтоб отметить эту электричку  
и вечерний поезд до Орла.

Хмурым днем, ненастною порою  
мысли невеселые на ум  
мне приходят, как глаза закрою,  
слыша стук дождя и ветра шум.

В жизни может всякое случиться,  
так что зарекаться от сумы  
и тюрьмы нельзя, как говорится,  
под покровом непроглядной тьмы.

●

Дети ушли, но на детской площадке  
долго еще их слышны голоса,  
будто играют они с нами в прятки.  
Это ли, граждане, не чудеса?

Хлопнула фортка,  
которую прежде,

чем задремать, я закрыл на замок,  
встав, чтоб закрыть ее, в нижней одежде  
я на ветру совершенно продрог.

Ветер казался мне резким и жестким,  
пахнувшим, словно в заливе вода,  
флотским гальюном иль камбузом флотским.  
Фортка была между тем заперта.

Бледный, босой, как матрос на причале,  
крепко держащий швартовый канат,  
стоя на стуле,  
в безбрежные дали  
я устремлял испытующий взгляд.



Неблизкий путь. Нелегкая дорога.  
Я вышел проводить жену свою.  
Два Ангела стояли у порога  
у пресловутой бездны на краю.

И я спросил: *Зачем на вас доспехи,  
в руках щиты и острые мечи,  
ведь, верно, вы пришли не для потехи,  
как клоуны, фигляры-циркачи?*

*Иль для того, чтоб заковав в железо,  
вкусившую всех тягостей сполна,  
в век торжества науки и прогресса  
на Суд вести, поднявши ото сна?*

Молчат. Не отвечают. Презирают.  
Так мытари, взыскатели долгов,  
с презрением намеренным взирают  
на лживых и беспечных должников.

*Но разве эта женщина — должница,  
что к ней с мечом явились ночью вы,  
а не богиня, гордая царица,  
Семирамида нынешней поры?*



Было близко, стало далеко.  
И теперь я езжу на трамвае  
в те места, куда дойти легко  
прежде мог, усталости не зная.

С глаз как будто спала пелена,  
перспектива дальняя открылась,  
обнажила осень, как война,  
то, что за густой листвой таилось:

заострились мягкие черты  
летнего московского пейзажа,  
облетели скверы и сады,  
подноготная предстала взорам наша.

А она, как нос ни ворота,  
обладает мощным притяженьем,  
мимо не проехать, не пройти  
никому за редким исключением.

Разве что какой-нибудь подлец  
к ней не проявляет интереса —  
подгулявший барин иль купец,  
глядя из окошка мерседеса.



Один мой друг «Роз де массе»  
советовал для снятия стресса,

другой — уехать в Туапсе,  
а третий — вовсе был повеса.

Советам дружеским не внял,  
не запил горько, не уехал,  
но все о жизни размышлял,  
пером карябал, бекал, мекал.

Всерьез лил слезы о былом  
и гнал пургу о дне грядущем,  
и вокруг стола скакал козлом,  
крича истошно о насущном.

Не шутки ради.  
Все всерьез.

На склоне лет самозабвенно  
увлекся разведением роз,  
что пошло и несовременно.

Не модно разводить цветы,  
хозяйством дачным заниматься  
и лицезренью красоты  
отчизны нашей предаваться.

●

Я в ящике стола тетрадь  
нашел, она была пустая.  
И больше нечего сказать  
о ней — тетрадь простая.

Вполне возможно, что тот год  
был на стихи неурожайный,  
забит, как ватой, был мой рот  
какой-то прозой случайной.

Пустыми хлопотами я  
был увлечен  
иль сильным чувством  
охвачен, что никак нельзя  
с высоким разделить искусством,

и, под собой не чуя ног,  
я, как без костылей калека,  
нередко обходиться мог  
без слов, что для любви — помеха.



Кулек конфет мне передали с воли.  
Дежурная спросила: *От кого?*  
Ей отвечали: *Не играет роли,*  
*сам мальчик догадается легко.*

А я не догадался, я не знаю.  
Был в пионерском лагере тогда  
день неприятный, как я понимаю.  
Иль карантин?  
Час страшного суда?

С фруктовой начинкой карамельки  
и с шоколадной пастой, вроде тех,  
что назывались «Раковые шейки»,  
по-братски поделили мы на всех.

Весь вечер на зубах у нас хрустело.  
Текло по бороде и по усам.  
Значенья никакого не имело,  
кто подарил мгновенья счастья нам.



Д а н П а г и с

## СИЛА ТЯЖЕСТИ

*Дан Пагис (1930—1986) — поэт, исследователь средневековой еврейской литературы. Родился в городе Радауц в Буковине, в немецкоязычной семье. В 1941 году был отправлен в нацистский концлагерь, провел там три года. С 1946 года жил в Израиле. Преподавал в Еврейском университете в Иерусалиме. Автор восьми книг стихотворений и нескольких трудов по средневековой еврейской поэзии.*

### МЕХА

Большой резной шкаф, темно, запах нафталина и легкий запах духов. Мамины меха — в летней спячке. Поблескивают стеклянные глаза серебристой лисицы, им снится зима. Я оживу вокруг снежного горла мамы. Она умерла, когда мне не было четырех лет. Ее зовут Юли. А меня не зовут и не ищут. Я здесь, с мехами: мне можно еще немного подождать, до снега.

### ПРОВАЛ

Он провалился  
на экзамене по арифметике  
сто лет назад  
и боится идти домой.

Лицо цвета мела, глаза цвета чернил.  
Запрятанный за решетку  
страниц своей тетради,  
кровоточащий красными ошибками.

Уже написал сто раз, в качестве наказания,  
правильный ответ на доске.  
Уже знает, что один делить на ноль  
стремится к бесконечности.

Этого все еще недостаточно.

Между пустых деревянных скамей  
напротив пятен карты мира на стене  
спрятался, лишь бы не появилось солнце  
и не заставило опять жить,

но даже если вернется в мир неправды,  
он больше не забудет счет, который выучил,  
потому что помнил его все годы смерти  
до сих пор.

### **ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ<sup>1</sup>**

Не трогай, сказала она,  
это подозрительный предмет.  
Это твоё? Не трогай меня.  
Какая бдительность.  
В этот раз,  
спасибо тебе,  
со мной ничего не случится.  
Я все дальше и дальше  
от подозрительного объекта  
моих желаний,  
теперь он потерян.  
Еще одна  
опасность миновала.  
И я тихо рассеиваюсь,  
я потерян.

---

<sup>1</sup>«Подозрительный предмет» (ивр.: תשפ רָפּ) — термин для сумок и пакетов, оставленных без присмотра, в которых может оказаться заряд взрывчатки.

**ПИСЬМО**

Путь сбивается с пути.  
Я не знаю, что еще может случиться в прошлом,  
от чего уже отказалось новое мгновение  
в последнем вагоне.  
Страны уходят.  
Иногда по дороге обо мне вспоминает  
сонное окно и машет занавеской.  
Или внезапная стена  
отскакивает от ночной черноты.  
Как я мог  
что-то писать вам,  
мои дорогие  
старые снимки.  
Границы растянулись.  
Побудьте еще между строчками  
и не беспокойтесь обо мне.  
Рядом со мной стареет  
мое отражение  
в черном стекле.

**СИЛА ТЯЖЕСТИ**

Если я спущусь в ущелье, то исчезну. Мертвая зона проглотит меня. Поэтому перепрыгну через нее, со скалы на скалу... по крайней мере, с верхушки на верхушку. Я решил сделать так — но в эту секунду, по воле каких-то темных сил, потерял возможность прыжка как у кузнечика, и на меня навалилось притяжение к мертвой зоне, к любому ее мельчайшему и не имеющему значения участку.

Я вынимаю метр, свернутый как улитка, начинаю ползти, измеряю впадины, русла, расщелины. Складки поверхности — объем, окружность неровного мира. Вот она простирается передо мной, живая равнина точности, прямооты и справедливости.

*Перевод с иврита Александра БАРАША*







**Мастерская**



**Уистен Хью Оден.** Заметки о музыке и опере. Эссе.  
*Перевод с английского Федора Васильева*

## ОТ РЕДАКЦИИ

Книга «Рука красильщика» («Издательство Ольги Морозовой») шла к русскому читателю двадцать с лишним лет — с момента, когда в России вышел первый сборник эссе Уистена Хью Одена (1998).

«Рука красильщика» — итог литературной жизни крупнейшего английского поэта и мыслителя XX века. С высоты своего опыта он составляет книгу, в которой размышляет об искусстве и жизни, красоте и истине, поэзии и правде, «я» и «эго», чтении и письме, ремесле и вдохновении. Его литературные наблюдения догматичны, но какое это наслаждение — следить за ходом мысли убежденного поэта и философа! И разве не иллюзия догмы показывает мировую классику в неожиданно истинном свете? Почему герой Кафки — человек без «я»? Что сближает детектив и греческую трагедию? За что мы любим Фальстафа? Почему в основе трагедий Шекспира лежит миф о нераскаявшемся разбойнике, а рифмованный стих отличается от свободного, как ваяние от лепки?

Предлагаем вашему вниманию одно из эссе, вошедших в книгу, — о музыке.

ЗАМЕТКИ О МУЗЫКЕ И ОПЕРЕ

*Опера состоит из значимых ситуаций, выстроенных в искусственном порядке.*

*Иоганн Вольфганг Гете*

*Пение сродни чуду: это владение тем, что обычно служит простому самолюбованию.*

*Гуго фон Гофмансталь*

В чем суть музыки? Что, как сказал бы Платон, она отображает? Она отображает наше чувство времени в его двойственности — цикличности, свойственной естественным процессам, с одной стороны, и исторической новизне, творимой осознанным выбором — с другой. И все развитие музыки как искусства основывается на осознании того, что эти аспекты различны и что выбор, как нечто доступное лишь человеку, важнее повторения. Посмотрим на то, как одна нота следует за другой. Это тоже проявление выбора — каждая нота влечет за собой последующую, но влечет не в научном смысле, вынуждая ее возникнуть непременно, а в историческом — вызывая, провоцируя ее появление. Хорошая мелодия — это самопроизвольная история, она совершенно свободна, и в то же время она — осмысленное целое, а не случайная последовательность нот.

Музыка как искусство, музыка, осознающая свою истинную природу, принадлежит только западной цивилизации и сформировалась лишь в последние четыре или пять сотен лет. Музыка других культур и прежних веков соотносится с этой музыкой так же, как заклинания шаманов с искусством поэзии. Примитивное заклинание может являться поэзией, но оно этого не знает и к этому не стремится. Таким образом, в любой музыке кроме западной, история присутствует лишь неявно, назначение такой музыки — сопровождать стихи или движения ритмическим аккомпанементом. Лишь на западе напев стал песней.

Греки, которым не доставало исторического сознания, в своих теориях музыки пытались связать ее с чистым бытием, но становление музыки как чего-то отдельного и безусловного отражено в их учениях

о гармонии, в которых математика становится нумерологией и один напев ценится выше другого.

Западная музыка обрела самосознание, когда она усвоила тактовый размер, баррэ и стук метронома. Вне естественного или циклического времени, лишённого какой бы то ни было исторической заданности, сами ноты не могли бы быть столь последовательными (историчными).

В примитивной пра-музыке, главную роль играли ударные инструменты, лучше всего воспроизводящие ритмические повторы, но не способные к мелодии, а значит, менее всего пригодные для выражения новизны.

Самые захватывающие ритмы кажутся нам неожиданными и сложными, в то время как самые прекрасные мелодии — простыми и неотвратимыми.

Музыка не может имитировать природу — музыкальный вихрь всегда подобен ярости Зевса.

Словесное искусство, такое, как поэзия, — созерцательно, оно останавливается, чтобы что-то осознать. Музыка же сиюминутна — она продолжает воплощаться. Но и поэзия, и музыка активны, они настаивают на остановке или продолжении. Пассивная созерцательность — это живопись, пассивная сиюминутность — кинематограф. Визуальный мир — это мир, который дается весь сразу, мир, где правит судьба и нельзя отличить осознанное действие от рефлекторного. Свобода выбора лежит не в том мире, который мы видим, а в нашей способности самим выбирать, куда смотреть, — и смотреть ли вообще.

Музыка — это опыт, противоположный чистому хотению и субъективности (тот факт, что мы не можем захотеть — и перестать слышать, как бы лишает нас выбора). Поэтому музыка к кинофильму — это не музыка как таковая, а способ оградить нас от посторонних звуков, и если мы вообще замечаем ее как что-то отдельное, то это плохая музыка к кинофильму.

Музыкальное воображение человека, видимо, происходит почти исключительно из самых первичных ощущений — из восприятия собственного тела со всеми его ритмами, и из его непосредственного опыта, связанного с желанием и выбором. И оно не имеет практически ничего общего с нашим восприятием внешнего мира через органы чувств. Таким образом, музыка обязана возможностью своего появления наличию у человека не органа восприятия звука — уха, а органа, создающего звук — голосовых связок. Если бы главным было ухо —

музыка началась бы с пасторальных симфоний. А вот для визуального искусства ключевым является именно орган восприятия — глаз, без которого ничто не побуждало бы нас использовать руки как инструмент для рисования.

Разницу можно понять, сравнив наше восприятие движения в мире музыки и в мире визуальном. Напряжение голосовых связок воспринимается в музыкальном пространстве как движение «вверх», а расслабление — «вниз». Но в визуальном мире именно низ изображения (он же — передний план) воспринимается как область наибольшего напряжения, а по мере того, как наш взгляд движется вверх по картине, мы чувствуем все больше легкости и свободы.

Почему же напряжение ассоциируется для нашего слуха с верхом, а для взгляда — с низом? По-видимому, дело в том, что мы по-разному воспринимаем давление в нашем теле и во внешнем мире. Вес нашего тела мы чувствуем как естественное стремление вниз, то есть подъем — это стремление преодолеть нашу жажду покоя. Вес же (и близость) других объектов мы ощущаем как давящие на нас; они словно бы находятся над нами, то есть тут подъем — это освобождение от их сковывающего давления.

Все люди умеют говорить, многие из нас могут даже научиться неплохо читать стихи, но очень немногие способны научиться петь. В любой деревне можно собрать двадцать человек и поставить «Гамлета», сохранив при этом некоторую часть величия этого произведения. Однако если они же попытаются поставить «Дон Жуана», речь вообще не будет идти о хорошем или плохом исполнении — они не смогут спеть партитуру. Когда мы говорим, что актер хорошо играет — это значит, что он сознательно имитирует естественное поведение своего персонажа. Но для певца или танцора в балете это не вопрос имитации, их выступление полностью и откровенно искусственное. В драматургии есть скрытый парадокс, который в опере становится гораздо более явным. Он заключается в том, что ситуации, которые в реальной жизни были бы печальными или мучительными, приносят нам наслаждение, когда разыгрываются на сцене. Певица может играть роль покинутой невесты, готовой покончить с собой, но, когда мы слушаем ее, мы нисколько не сомневаемся, что и мы, и она прекрасно проводим время. В некотором смысле, не может быть трагической оперы, ведь как бы ни заблуждались и как бы ни

страдали персонажи, они делают в точности то, что и хотят. Отсюда мнение, что в основе *opera seria* (серьезной оперы) должна быть не современная фабула, а мифологический сюжет. Поскольку люди так или иначе вписаны в пространство мифа, трагические ситуации в нем могут быть в равной степени восприняты всеми.

Современная трагическая ситуация, как в «Консуле» Менотти, слишком реалистична, слишком похожа на ситуации, в которые одни люди вовлечены, а другие, включая зрителя, нет, — чтобы мы могли забыть об этом и просто рассматривать ее, как нечто экзистенциально отчужденное. В результате, получаемое нами и певцами удовольствие воспринимается сознанием как странное легкомыслие.

С другой стороны, эта искусственность оперы делает ее лучшим способом изображения трагического мифа. Как-то раз я в течение одной недели побывал на постановке «Тристана и Изольды» и на показе «Вечного возвращения» — фильма по сценарию Жана Кокто, посвященного той же истории. В первой две души (при этом нам все равно, что каждый из исполнителей весит больше двухсот фунтов) преображаются мистической силой любви, а во втором встретились красивый парень и хорошенькая девушка, и у них завязался роман.

Подобное снижение смысла не означает, что Кокто — плохой режиссер, но связано с самой природой кинематографа. Если бы у Кокто играли толстые немолодые актеры, это производило бы глупое впечатление, потому что диалоги, на которых строится любой фильм, не могли бы отвлечь нас от внешности героев. А когда влюбленные молоды и прекрасны, любовь выглядит естественным следствием красоты, но весь смысл мифа оказывается потерянным.

*Тот, кто написал Восьмую Симфонию, имеет право отчитать того, кто вкладывает свое восхищение, нежность и великодушие в уста напившегося распутника, глупой крестьянки или светской дамы, вместо того, чтобы признаться в них самому себе, возвеличить их и, высказав без шутовства, сделать из них всемирное наследие. (Б. Шоу)*

Я считаю, что Шоу и Бетховен оба неправы, а Моцарт прав. Чувства радости, нежности и великодушия не привязаны к «благородным» персонажам, они принадлежат всем — самым заурядным, самым глупым, самым испорченным. Одна из сильных сторон оперы заключается именно в ее способности показать это, в отличие от той же драмы. Поскольку мы пользуемся речью в нашей повседневной

жизни, наш стиль и наши выражения сливаются с нашим социальным образом в глазах других, и в пьесе, даже если она в стихах, персонаж не может говорить того, что ему не положено по статусу, — иначе он будет выглядеть ненатурально. Но мы не общаемся друг с другом посредством песен. Песня не может противоречить образу персонажа, глупый персонаж имеет ничуть не меньше прав петь красиво, чем персонаж умный.

Если музыка вообще — это отражение истории, то опера — отражение упрямой человеческой воли. Для оперы важен не просто тот факт, что у людей есть чувства, но что люди отстаивают свое право на них при любых обстоятельствах. В опере нет персонажей в литературном смысле слова — нет хороших и плохих, активных и пассивных, ведь музыка — это только настоящее, и в ней нет места какой бы то ни было потенциальности или пассивности. Об этом либреттист должен постоянно помнить. Моцарт — более великий композитор, чем Россини, но Фигаро в «Женитьбе», по-моему, слабее, чем Фигаро в «Цирюльнике», и я считаю, что виноват в этом да Понте. Его Фигаро — слишком интересный персонаж, чтобы музыка могла полностью передать его, то есть за Фигаро поющим постоянно проглядывает Фигаро, который не поет, а размышляет. А вот севильский цирюльник — это вообще не персонаж, а музыкальный ванька-встанька, он точно не несет с собой ничего кроме песни.

Точно так же, я считаю «Богему» слабее «Тоски», не потому что в первой хуже музыка, а из-за того, что персонажи, в особенности Мими, слишком пассивны. Легко увидеть разительное несоответствие между решимостью их пения и робостью их игры.

Качество, общее для всех лучших оперных ролей, таких как Дон Жуан, Норма, Лючия, Тристан, Изольда, Брунгильда — каждый из них есть состояние души, выражение всего необузданное и упрямого в человеке. В реальной жизни все они были бы людьми скучными — даже дон Джованни.

Но, будучи не в силах отразить психологическую глубину персонажей, музыка, в свою очередь, способна на то, что не под силу слову, — быть мгновенной и непосредственной связью между ними. Венец оперы — это ансамбль: хор.

В опере хор может играть две и только две роли — роль толпы или роль верного, скорбящего или радующегося окружения. Хор не может длиться долго. Опера — не оратория.

Драма основана на ошибке. Я считаю кого-то своим другом, в то

время как на деле он мне враг, считаю, что могу жениться на женщине, не подозревая, что она — моя мать, принимаю переодетого молодого дворянина за горничную и т.п. Всякая хорошая драма состоит из двух основных процессов — совершения ошибки и ее осознания.

Работая над сюжетом, либреттист также должен следовать этому правилу, однако, по сравнению с драматургом, он еще более ограничен в выборе ошибок, которые может использовать. В частности, драматург может успешно обыгрывать то, как персонажи обманывают сами себя. Но в опере самообман изобразить невозможно, как раз из-за сиюминутной природы музыки — тут по определению не может быть никакой разницы между тем, что поется, и тем, что есть на самом деле. В крайнем случае, самообман может быть показан, если мы заставим аккомпанемент оркестра противоречить певцу, как например веселые скачущие ноты, возникающие, когда Жермон приближается к смертному одру Виолетты в «Травиате». Но подобные приемы должны использоваться с осторожностью и как можно реже — в противном случае, они скорее еще более запутают зрителя, чем что-то ему прояснят.

Что касается процесса обнаружения ошибки — в драматургии он может быть не слишком быстрым, и нередко это только усиливает драматический эффект, в то время как в опере разоблачение должно быть максимально резким, потому что музыке чужда неопределенность, песня не может идти — она движется скачками.

С другой стороны, либреттист, в отличие от драматурга не должен беспокоиться о достоверности событий. Если в какой-то ситуации есть место песне — она уже подходит для оперы. Хороший сюжет для либретто — это мелодрама, как в строгом, так и в обычном смысле слова. В нем персонажам приходится несладко — они оказываются в ситуациях, которые слишком трагичны или слишком фантастичны для слов. Хороший сюжет для оперы не бывает разумным — когда человек руководствуется разумом, он не поет.

Теория «музыкальной драмы» подразумевает, что в либретто вообще не должно быть ничего рационального. Добиться этого очень трудно, но, например, Вагнеру это удавалось. Однако это еще и очень сурово по отношению как к зрителям, так и к исполнителям — ни те, ни другие не могут расслабиться ни на миг.

В либретто, где есть рациональные фрагменты, то есть простая речь, не песня, вся эта теория не имеет никакого смысла. Если для развития сюжета необходимо, чтобы один персонаж сказал другому:



«Сходи наверх и принеси мне носовой платок», — то в этих словах нет ничего кроме их ритма, что может подсказать, какое музыкальное сопровождение тут подойдет лучше. А когда выбор нот произволен, то решение будет условным, например, *recitativo secco*.

В опере оркестр играет не для зрителей, а для певцов. Любитель оперы готов примириться с чисто оркестровой интерлюдией и даже наслаждаться ей, если он знает, что певцы в этот момент не могут петь по объективным причинам, но любое использование оркестра самого по себе, не обусловленное необходимостью, будет расценено им как потеря времени. «Леонора» № 3 отлично подходит для концерта, но когда она звучит между первой и второй сценами второго акта в «Фиделио», она превращается в 12 минут непереносимой скуки.

Если либреттист является одновременно поэтом, то самое сложное для него — это структура стиха. Суть поэзии — созерцание, поэзия отказывается от сиюминутного восприятия сталкивающихся эмоций, пытаясь определить и описать, что же именно мы чувствуем на самом деле. Природа музыки — сиюминутна, поэтому слова песни — это не поэзия. Тут надо провести четкую границу между песенным стихом (*chant*) и песней. В первом музыка подчинена словам. В песне же ноты чувствуют себя свободно, а подчиняться уже приходится словам.

Стихи *Ah non credea* в «Сомнамбуле», пусть их и не интересно читать, идеально исполнили свое назначение, подсказав Беллини одну из прекраснейших мелодий на свете и позволив свободно ее написать. Стихи, которые пишет либреттист, адресованы не зрителю, они — конфиденциальное письмо композитору. Они делают свое дело в тот момент, когда подсказывают композитору определенную мелодию; после этого они сами уже не важны и должны быть готовы, как китайские пехотинцы, хладнокровно принести себя в жертву.

Есть примеры композиторов, таких как Кэмпион, Хуго Вольф, Бенджамин Бриттен, которые черпали вдохновение в высокой поэзии. Однако это не закрывает вопрос о том, воспринимает ли слушатель слова песни как слова в стихотворении или же просто как звуки. Я склоняюсь к последней точке зрения. Ф. Вернон, психолог из Кембриджа, провел эксперимент, в котором испытуемым давали прослушать песню Кэмпиона, заменив слова на бессмысленные, хотя и похожие по звучанию. Лишь шесть процентов участников эксперимента заметили, что что-то не так. Я считаю, что, слушая песню, в отличие от стиха, мы слышим звуки, а не слова. Поэтому, в частности,

я не слишком люблю, когда оперу ставят не на том языке, на котором она была изначально написана. Вагнер и Штраус на английском звучат ужасно и звучали бы ничуть не лучше, если бы даже перевод был в поэтическом отношении сильнее оригинала. Просто новые звуки не вяжутся с нотами, которым они соответствуют. Смысл стихов может вдохновлять композитора, но только их звучание определяет, какую именно партию он напишет. В песне поэзией можно пожертвовать, а звуками — нет.

Стивен Дедал сказал: «История — это кошмар, от которого я пытаюсь проснуться». Стремительность исторических перемен и очевидное бессилие человека изменить общую историю привело к тому, что многие писатели стали избегать историчности. Вместо того, чтобы следовать за человеком от его рождения к старости и смерти, многие современные писатели, начиная с По, стали описывать яркие моменты в жизни человека, существующие вне времени — состояния бытия. Я замечаю в современной музыке похожую тенденцию, стремление к музыке статичной, без явного разграничения между началом, серединой и концом, звучащей удивительно похоже на примитивную пра-музыку. Не мне критиковать таких композиторов. Можно, впрочем, сказать, что они никогда не смогли бы написать оперу. Но они, наверно, и не захотели бы.

Золотой век оперы, от Моцарта до Верди, пришелся на золотой век либерального гуманизма, век безграничной веры в свободу и прогресс. Сейчас прекрасные оперы появляются реже. Не потому ли, что мы поняли: мы не так свободны, как представляли это гуманисты XIX века? И не потому ли, что стали сомневаться в том, что свобода — синоним абсолютного блага? Если оперы стало писать сложнее — это не значит, что писать их стало невозможно. Это было бы так, только если бы мы совсем перестали верить в свободу воли и личности. Каждая правильно взятая высокая нота разрушает теорию о том, что мы безвольные куклы, ведомые судьбой или случаем.

*Перевод с английского Федора ВАСИЛЬЕВА*





**Из антологии «Ташкент в русской поэзии».**

Павел Поршаков, Александр Балагин, Анна Алматинская,  
Семен Оков, Виктор Урин.

*Составитель Михаил Книжник*

**Тацуо Хори.** Три рассказа.

*Предисловие и перевод с японского Екатерины Юдиной*

**Санджар Янышев.** Фросту Фростово. Эссе

**Роберт Фрост.** The Road Not Taken. Стихотворения.

*Перевод с английского Санджара Янышева*

**Сильвия Плат.** Эти кровати. Стихотворение.

*Вступительное слово и перевод с английского*

*Татьяны Стамовой*

ИЗ АНТОЛОГИИ  
«ТАШКЕНТ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ»

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

*Ташкент, может быть, поболее иных городов был приспособлен для жизни. Тепло, сытно (узбекская кухня — из вкуснейших в мире, так на мой необъективный взгляд), люди терпимы к чужой вере и обычаям, а облучение, испускаемое рубиновыми звездами, ослаблено расстоянием.*

*Оказавшись свидетелем того, как рушится и исчезает наша ташкентская жизнь, я вспомнил давнюю идею собрать воедино стихи русских поэтов о Ташкенте. Это уже в процессе возникло понимание, что я не просто составляю антологию «Ташкент в русской поэзии», но таким образом разворачиваю во времени картину 130-летнего периода в истории этого древнего города, когда наши пути совпали. Многоголосье — а количество авторов перевалило за восемьдесят — придавало этой картине глубину и богатство оттенков.*

*Погружение в тему выявило большое количество абсолютно забытых поэтов и неизвестных стихов. Построив антологию таким образом, чтобы стихам был предпослан текст об авторе и месте города в его жизни, я обнаружил судьбы удивительные. О некоторых из них хочу вам рассказать. Тем более, что книгу издавать пока не торопятся.*

Михаил КНИЖНИК

ПАВЕЛ ПОРШАКОВ  
(1888 — после 1930)

Про начало пути поэта мы что-то знаем, а конец жизни скрывается во мгле. Находятся записи в церковных книгах, списки учеников школ и гимназий, публикации в журналах, упоминания в дореволюционной переписке современников, тонкие сборники, изданные провинциальным книжным магазином. А с 20-х — всё, тьма.

*Я родился в 1888 году 29 февраля. Мать моя родом казачка, грамотная, религиозная и очень суеверная. Отец мой крестьянин из Пермской губернии из деревни Шантары. Он отбывал солдатскую службу сапером в Ташкенте. Выйдя в запас, отец не поехал на родину, а остался жить у бабушки. Получив как туркестанский солдат надел в селе Троицком, он стал заниматься хозяйством. На усадьбе разбил прекрасный сад и завел пчел. Но не взлюбила нужда (Похоже, как раз наоборот. — МК) пермского мужика... 10 лет провел я среди казарм, среди солдат. На 8-м году мать повела меня в приходскую школу. Каждый год из Троицкого я со слезами уезжал в город на учење. Через год мать взяла меня из приходского училища и перевела в четырехклассное городское. Учился я хорошо...*

*В 1904 г. я выдержал экзамен в Туркестанскую учительскую семинарию, где стал все больше и больше отдаваться любимому делу — литературе. Когда я был учащимся городского училища в 4 отделении, то у меня уже была тетрадь рассказов, стихов и дневник.*

*В 1903 году я начинаю мечтать о напечатании своих произведений в газетах, но, увы, там приняли меня только еще спустя 5 лет.*

*Попав в семинарию, я серьезно принялся читать все: от Пушкина до М. Горького и И. Бунина...*

1915 г. 17/1 г. Мерв

Это автобиография Павла Семеновича Поршакова, находящаяся в фонде Л. Н. Клейнборга в Пушкинском Доме и опубликованная исследовательницей из Оренбурга А. Г. Прокофьевой. В ее публикации приведен и отрывок из письма 1916 года:

*«В 1908 г. было напечатано мое первое стихотворение «Осенние думы» в г. «На рубеже». После 6 лет упорного труда я овладел формой стиха и самоучкою постиг тайну размера и его звучность. В 1910 г. был в учительской экскурсии по Италии.*

*В 1910 г. я познакомился с Александром Васильевичем Ширяевцем. Часто собирались ко мне на холостую квартиру молодые люди, где мы читали почти все новое, что появлялось тогда в литературе русской. Счастливое, светлое время! Кружок этот жизнь вскоре распаяла, но он много дал нам бодрости и надежды. Я поехал в с. Садовое, но проучительствовал там только один месяц, меня перевели в Ташкент в русско-туземное училище учить детей инородцев. В 1913 г. выпустил сборник стихов «Ночи певучие». В 1914 г. выпустили альманах втроем «Под небом Туркестана». В настоящее время жизнь загнала меня в Закаспийский. Живу в Мерве. (...) Сейчас пока слежу за литературой, как позволяет только окраина, читаю, пишу. Кажется, выпущу к маю туркестанские стихи: «Родным степям» при газете «Асхабад», но все это пока одни мечты. (...)*

*А пока жму руку и остаюсь Поршаков».*

И хотя Поршаков с Ширяевцем издавали совместные сборники и даже иногда подписывали свои произведения «бр. Шир-Пор», Поршаков находился в тени более яркого, резкого и злого Ширяевца. Неслучайно известный своим черносотенством «Наш современник» был рад перепечатать письма Ширяевца (в 2007 году), часть из которых адресована Павлу Семеновичу. Письма полны цветистых ярлыков и развесистых эпитетов, навешанных на ташкентских литераторов начала века.

До нас дошла книга Городецкого с посвящением, отправленная им далекому туркестанскому собрату. Поршаков тянулся к нему, к Клюеву, к Есенину, к так называемым «новокрестьянским поэтам». Он тяготился своей долей мелкого чиновника на далекой окраине, рвался в Россию, но этому не суждено было сбыться.

Недолгое пребывание Есенина в Ташкенте подробно описано в книге П.И. Тартаковского «Свет вечерний шафранного края». Поршаков в ней упоминается, но он не появляется в кругу поэтов, принимавших столичную знаменитость.

Ширияевец уехал в Москву, Поршаков остался. Б.А. Голендер сообщает о единичных его публикациях в журнале «Костры», который выходил как приложение к газете «Туркправда».

И потом — тишина. Ни даты смерти, ни обстоятельств.

В журнале «DE VISU» № 3(4) за 1993 год в примечаниях к публикации писем Ширияевца дата смерти Павла Поршакова обозначена «после 1930». Поверим и мы, что публикаторы знают, о чем говорят.

Стихи для антологии взяты из сборника «Ночи певучие», изданного в 1913 году «Книжным магазином М. Ф. Собберей». Сохранена авторская пунктуация. Первое стихотворение — вполне ташкентское и по деталям, и по уровню тоски. А второе — очень условное, рассказывает скорее об освоении русским поэтом восточной темы, чем о самом Востоке.

*Павел Поршаков*

**ИЗ ДНЕВНИКА**

Обрызган влагой дождевой  
Вишневый цвет...  
Вдали за пикой снеговой  
Встает рассвет,  
Медвяный запах травяной  
Плывет с долин...  
Без грез, без ласки огневой  
Стою один.  
Из трав глядит кровавый мак,  
Шумит сосна.  
Опутал душу темный мрак—  
Душа больна!..  
И синий ирис вдоль аллей  
В лучах зари...  
Меня прости, жизнь, пожалей,  
Душа замри!..  
Обрызган влагой дождевой  
Цветет жасмин.  
Без грез, без ласки огневой  
Живу один.

## ДЕРВИШ<sup>1</sup>

По базару он ходил тоскливо,  
Распевал священные псалмы.  
На плечо упал к нему красиво  
Белоснежной кистью край чалмы.

Грустью тайной полонен неожиданно,  
Позабыл он четки на руках.  
Смуглый образ встал пред ним туманно,  
С жаркой лаской в пламенных глазах.

Силой тайного греха влекомый,  
Он бродил один от дервишей...  
Слышит голос ласковый... знакомый...  
Возле скрипнувших резных дверей.

Вышла вслед красавица востока,  
с бирюзою на руке кольцо.  
Целовал дервиш — певец пророка,  
Бледно-смуглое горячее лицо...

Подарил ей тайны-талисманы...  
Приласкал невольный властелин...  
Он ушел в рассветные туманы,  
Когда звал к молитве муэдзин.

Он ушел, — но мучит в сердце рана,  
Тяготит печалью дервиша.  
Он поет весь день стихи корана  
И раскаяньем горит душа...

---

<sup>1</sup>Дервиш – монах (так у автора).



АЛЕКСАНДР БАЛАГИН  
(1894–1937)

Александр Самойлович Гершенович родился в уважаемой семье. Отец его, кантонист, выучился и стал одним из первых фельдшеров Самарканда, удостоен был звания почетного гражданина Российской империи. Позже семья переехала в Ташкент.

Старший брат, Рафаил, окончив Сорбонну, вернулся в Туркестан и навсегда связал с ним свою жизнь. Он стал крупным педиатром, профессором, основоположником школы.

Александр взял себе звучный псевдоним Балагин, издал в Ташкенте три тонких книжечки и отбыл в Петербург. Недолго был женат на яркой женщине. Мария Ивановна Кузнецова-Балагина (1895–1966), актриса и драматург, в театре играла под фамилией бывшего мужа. А вот для пьес взяла себе псевдоним «с секретом» — Мария Гринева, как бы Маша Миронова, вышедшая замуж за Петрушу Гринева. Ее пьесы хвалили такие разные писатели, как Шолохов и Бабель.

Сам Александр Балагин писал стихи, прозу, киносценарии. Ставил фильмы как режиссер, играл в них. В 1919–1920 гг. работал в Грузии. Грузинская кинематография числит его своим. Фильмы были еще немыми, рвали страсти в клочки. По меньшей мере два из них — «Третья жена муллы» и «Минарет смерти» — сделаны на туркестанском материале. Три небольших книги издал и в Тифлисе.

Дружил с Есениным, и — судя по инскриптам последнего — достаточно близко. Вместе с ним организовывал похороны рано умершего туркестанца Александра Ширяевца. Дружески переписывался с Цветаевой. В альбом Балагина, который хранится в РГАЛИ, писали Ходасевич, Ивнев, Городецкий, Шагинян и многие другие заметные литераторы эпохи.

Был членом партии левых эсеров, но, судя по всему, рядовым и не самым активным.

Все сведения о Балагине заканчиваются в середине двадцатых. Можно предположить, что новые железные времена умили активность такого яркого человека. Но это его не спасло. В 1937 году он попал в мясорубку большого террора.

Приведенное здесь стихотворение опубликовано в альманахе «Степные миражи», изданном в Ташкенте в 1914 году под редакцией А. Алматинской. Полный монархических, державных мотивов выпуск по историческим причинам оказался единственным.

Подборка Балагина открывается стихотворением «Великан»:

*... — Великан, пора очнуться!  
— Ты в снегу, как в белой пудре.  
— Над тобою вихри вьются —  
— Снег твои осьпал кудри!..  
— Эй, вставай! Живей проснись-ка,  
— Сон в снегу тебе опасен.  
Отряхнись, да оглянись-ка,  
Эвон мир-то как прекрасен! ...*

*Но укрытый снегом весь он  
Развалился, будто пьян.  
И не слышит вьюги песен  
Мощный Русский Великан...  
Перед ним лежит кольчуга  
Ржавый меч, обрубок каски ...  
А над ним танцует вьюга—  
Извиваясь в дикой пляске...*

А первое стихотворение в альманахе — «Богатырь» Анны Алматинской, посвященное ташкентскому великому князю. Таков был тон этого издания.

Простим молодому стихотворцу «обрубок каски» и весь мусор дополнительных слогов, которым он заполнял пустоты в строчках, но признаем: определенное предвиденье в тексте присутствует. Хотя уверен, что пробуждение «Русского Великана» Балагин представлял себе несколько иначе.

А вот еще одно вполне туркестанское стихотворение. Оно написано на обороте фотопортрета, которым поделилась с нами внучатая племянница поэта. Карточка была прислана из Петрограда в Самарканд. Фоля и Дебора — это будущий профессор Рафаил Самойлович Гершенович и его жена.

На обороте мой портрет.  
Взгляните, Фоля и Дебора!  
Ну, как? Худой я или нет?  
Худой! – вы скажете без спора.  
Меня измучил Петроград:  
Я знал метель, морозы, вьюгу.  
Теперь я весел, счастлив, рад  
И возвращаюсь снова к Югу.  
Я четверть года проживу  
Под ярким солнцем Туркестана,  
А там обратно поплыву  
В страну метелей и тумана.

Петроград 2 мая 1915 г.

А л е к с а н д р    Б а л а г и н

## ТОПОЛЯ

1  
Точно вечный к Небу вопль,  
Этот ствол могучий —  
Весь зеленый, стройный тополь  
Под румяной тучей.  
Не сыскать стройнее стана!  
Ты, как Солнце знойный,  
Сын привольный Туркестана,  
Гордый и спокойный!  
Но о чем твои моленья,  
И о чем мечты?  
Ты и так — столпотворенье,  
И прекрасен ты!

2.  
Спит, забывшись, земля  
Убаюкана сном.  
У меня за окном,  
Как на страже, стоят

И на звезды глядят  
Тополя...

Я гляжу с ними вдаль.  
Где-то плещет ручей,  
Одинокий, ничей...  
Грусть ручья — глубока,  
В сердце льется тоска  
И печаль...

Спят луга и поля,  
Звезды ярко горят  
И в тиши говорят...  
Как на страже стоят  
И на звезды глядят  
Тополя...

*1911 г. 17 авг.*

АННА АЛМАТИНСКАЯ  
(1883–1973)

В 70–80-е годы XX века в Ташкенте издавался альманах «Молодость». Сначала он был белый, форматом больше книжки, но меньше журнала, с цветком-загогулиной на обложке. Потом его размер уменьшился, и обложка стала изумрудной. Выходил пару раз в год, напечататься там было очень даже неплохо.

Недавно я обнаружил его предвестника. Первый туркестанский литературно-художественный альманах «Степные миражи», под редакцией А. В. Алматинской. Книга первая, Ташкент, 1916 год. Обложка пожелтела, но некогда была белой.

Вот что пишет Анна Алматинская во вступлении «От редакции»:

*Цель настоящего альманаха — ознакомить читающую публику с литературой и поэзией далекого, почти сказочного Туркестанского края.*

*На письмо-призыв, напечатанное мною в одном из номеров местной газеты, в течение полугода откликнулось 52 автора, приславших в общей сложности до 218 произведений. На страницах этого сборника частью выступают молодые силы, еще не пробившие себе дороги в столичную печать, но тем не менее имеющие полную возможность познакомить читателя с тем своим творчеством, которое развилось и окрепло под знойными лучами туркестанского солнца...*

Анна Владимировна Држевицкая родилась в военном укреплении Верное в семье польского офицера, сосланного в Туркестан за участие в мятеже. Недавно я прочитал, что про любого поляка в Средней Азии пишут: он был сослан за участие в восстании. Укрепление превратилось в город Верный, но молодая писательница взяла себе псевдоним по исконному названию этих мест еще задолго до того, как город стал Алма-Атой и столицей Казахстана.

Большую часть своей долгой — умерла она девяностолетней — жизни Алматинская прожила в Ташкенте. Здесь она опубликовала главную свою книгу — трехтомный роман «Гнет». Правда, от первой к третьей книге количество гнета росло, а живая ткань туркестанской жизни таяла.

В «Степных миражах» Алматинская выступила не только как редактор-составитель, но и как автор стихов и прозы.

Первое стихотворение — «Богатырь» — слишком выспренное и не очень умелое, тем не менее привлекло наше внимание. Во-первых, оно демонстрирует глубокую погруженность молодой поэтессы не только в будни Туркестана, но и в его культуру, мифы.

«Ферхат» и «Ширин-Кыз» — это главные герои поэмы «Фархад и Ширин» из знаменитой «Хамсы» Алишера Навои.

Могол-Тау — один из горных отрогов, с которого начинается Сырдарья.

Беговат — русское название города Бекабада, расположенного на берегу Сырдарьи, там, где река выходит из Ферганской долины в Голдную степь. В годы моего детства его еще так называли в разговоре. «Беговат» — слово из детства.

Но гораздо важнее персонаж, которому посвящено стихотворение. «Ташкентский великий князь» — фигура скандальная, притягательная, интригующая — и через сто лет после смерти. Даже пунктир его судьбы завораживает.

Внук Николая Первого, Николай Константинович показал себя настоящим героем в Хивинском походе. Якобы за кражу фамильных бриллиантов — а скорее всего за скандальный роман с американской танцовщицей Фанни Лир, — был объявлен душевнобольным и выслан навсегда. Он осел в Ташкенте, а Фанни вытолкали обратно за океан. Через годы она напишет воспоминания, в которых поквитается за обиды.

Гейнцельман и Бенуа построили великому князю великолепный дворец, уцелевший до сегодняшнего дня, что для Ташкента редкость.

Николай Константинович оказался умелым и хватким коммерсантом. Ему принадлежали хлопкоочистительные заводы, мыловарни, бильярдные, фотографические ателье, кинотеатры (знаменитая «Хива» — «Молодая гвардия» не пережила землетрясения 1966 года) и даже публичный дом «У бабуленьки».

Ученый, участник многочисленных экспедиций по Средней Азии, ирригатор, вкладывавший собственные миллионы в строительство оросительных каналов. Первый из них — Искандер-арык — пронес свое имя сквозь советские десятилетия и сохранился поныне. Фамилию Искандер Николай Константинович принял, чтобы отмежеваться от державной семьи. Эту фамилию унаследовали его дети.

Коллекция картин великого князя легла в основу Музея искусств Узбекистана — включая мраморную скульптуру обнаженной Фанни Лир, выполненную Томмазо Солари (в виде знаменитой Венеры с яблоком работы Антонио Кановы из виллы Боргезе).

Революцию Николай Константинович приветствовал. Умер от пневмонии в 1918 году. Спирта жизненной силы хватило на несколько поколений вперед — например, красавица Наталья Андросова, знаменитая мотогонщица по вертикальной стене, которую воспевали лучшие поэты 60-х годов, была его внучкой.

В «Степных миражах» великий князь присутствует и в качестве автора под именем N. N. Его тексту предпослано такое вступление:

*Статья «Поворот Амударьи в Узбой», написанная одним высокопоставленным лицом, представляет громадный интерес и является ценным и крупным вкладом в сокровищницу литературы о Туркестане. <...>*

*Настоящая статья <...> появляется в печати впервые и имеет огромное значение по высказанным в ней взглядам...*

*Право печатания статьи любезно уступлено Автором Редакции Туркестанского Альманаха «Степные Миражи».*

*Я решил сохранить авторскую редакцию и восторг всех заглавных.*

*А н н а    А л м а т и н с к а я*

## **БОГАТЫРЬ**

*Посвящается Его Императорскому Высочеству  
Великому Князю Николаю Константиновичу.*

Седое, древнее преданье  
Хранит ревниво имена  
Тех, кто хотел, гласит сказанье,  
Добра посеять семена.

И Ширин-Кыз с улыбкой ясной  
Глядит из глубины веков  
Своей мечтой, как мир, прекрасной,—  
Погибшей завистью врагов.

И богатырь Ферхат, тоскливо  
В преданье стонет до сих пор  
О том, что сердце его милой  
Отнял предатель — темный вор.

А Могул-Тау величавый,  
Как царь, увенчанный стоит,  
На Беговат, покрытый славой,  
В раздумье сумрачно глядит.

Но волны Сыр-Дарьи сердитой  
Уже грустят о вольном дне,  
В степи, проклятием покрытой,  
Бушуют яростно оне.

Могучий Богатырь — за дело  
Ферхата, рыцаря любви,  
Взялся, — окончив его, смело  
Сказал с улыбкой: «Степь, живи!»

«Народ, забытый и голодный,  
Корми, пой живой струей  
И помни: бег волны свободной  
Направлен волею моей.

Пусть злая сила вся восстанет,  
Пускай крушит труды мои...  
Я верю: светлый день настанет  
Над злом, победный день любви».

Пройдут года. Дарья сердито,  
Бурля и пенясь по камням,  
Все будет петь, что кровь пролита  
На жертву яростным волнам.

Но если хочешь ты услышать,  
Кто превратил пустыню в рай,  
Иди туда, где волны дышат,  
И ты услышишь: «Николай».



СЕМЕН ОКОВ  
(1888–1939)

Семен Прокопьевич Овсянников родился в селе Юрино, которое сейчас стало райцентром в республике Марий Эл.

После двуклассного училища работал закройщиком рукавиц. Уехал сначала в Москву, где примкнул к крестьянским поэтам, потом перебрался в Казань. В 1920 году он уже в «хлебном городе». В Ташкенте, в издательстве Политотдела Туркфронта вышел и первый его сборник «Этапы», где был небольшой цикл «Туркестанские мотивы».

14 мая 1921 года в здании бывшего Офицерского собрания и будущего ОДО (Окружного дома офицеров), а в ту пору — Партийного дома им. Луначарского, состоялась, как бы теперь сказали, презентация «Этапов». На вечере присутствовал не только А. Ширяевец, открывший вечер, и П. Дружинин, оставивший об этом свои воспоминания, но и московская знаменитость — Сергей Есенин.

Вот отрывок из воспоминаний Дружинина:

*«Выйдя на сцену, Оков начал рассказывать свою биографию. Мы с Есениным наблюдали из-за кулис за публикой, среди которой, нам показалось, было немало так называемых бывших людей. Когда Оков начал перечислять свою родословную и разъяснять, что он родился от бездомной нищенки, чуть ли не в хлеву, в зале послышался злой смех. Есенин вдруг потемнел лицом, сжал кулаки и полушепотом заговорил «Зачем, зачем он это делает, унижается, да еще перед кем унижается, чудак...»*

В книге П. И. Тартаковского «Свет вечерний шафранного края» обнаружена интересная переключка между воспоминаниями Дружинина и заметкой в газете «Известия ТуркЦИК» от 12 мая 1921 г., то есть за два дня до описываемого вечера. Вот о чем писала газета:

*«Все партеры, бельэтажи и ложи наполняются «чистой публикой» — кисейными советскими барышнями и людьми высокого шиша из мира спекуляции».*

«Люди высокого пошиба из мира спекуляции» были совсем не «бывшими», они присутствовали в Ташкенте всегда. После войны, по словам моего отца, они назывались «шапочниками», а в годы моей ташкентской молодости — «цеховиками».

В той же книге Тартаковского С. Оков упомянут в ряду авторов пьес, идущих в ташкентских театрах — из тех, про которые сказано: «Художественными достоинствами не обладает, все же к постановке может быть допущена».

В конце июня того же года Оков, уже из Киева, пишет Ширяевцу:

*«В дороге, не то в Челкаре, не то в Актюбинске, забыл точно, встретились мы с Есениным и около часа проболтали на литературные темы. Пригласил меня зайти к нему, продолжить разговор в Москве, но как я писал уже, зайти мне к нему в Москве не удалось».*

Про дальнейшую жизнь Семена Окова — вдали от Ташкента — мне ничего не известно. Похоже, что «Этапы» остались его единственной книжкой.

В Марий Эл чтут память земляка. Правда, считают, что он был репрессирован. Но судя по обнаруженному мною в библиографии Андрея Платонова некрологу Семена Окова, опубликованному в «Литературной газете» 15 октября 1939 года, умер Семен Прокопьевич своей смертью.

*Семен Оков*

*ИЗ ЦИКЛА «ТУРКЕСТАНСКИЕ МОТИВЫ»*

**В ТАШКЕНТЕ**

Вчера лил дождик, вчера был холод...

А нынче за ночь расцвел урюк.

И вновь я — бодр и вновь я — молод,

И вновь я множу прогулок крюк.

Целует солнце влюбленно-страстно  
Седые кудри карагачей,  
Целует лица... О, не напрасно  
Я солнцем бредил в тиши ночей!

Журчат арыки... Смеются взгляды...  
Белеют выси ажурных гор...  
Не в сказке ль это Шехерезады?  
Не на ковре ли ожил узор?

В гостях у солнца в краю богатом,  
Хочу быть юным... Ну, солнце — лей!..  
И пусть я бледен — ничтожный атом, —  
Я — твой Ярило: я — сын полей!

#### **ТУРКЕСТАНУ**

Край солнца, лени и тоски —  
Не ты мне явишься могилой:  
Не полюблю твои пески,  
Обвороженный Волгой — милой.

Твоих оазисов сады  
Не умалят порывы сердца...  
Аму и Сыр-Дарьи воды  
Не променяю на озерца.

ВИКТОР УРИН  
(1924–2004)

Виктор Аркадьевич был человеком ярким, недюжинным, с перекором.

Уроженец Харькова, он воевал в Великую Отечественную, был ранен. На фронте еще написал самое свое известное стихотворение:

*Оборвалась нитка,  
не связать края.  
До свиданья, Лидка,  
девочка моя...*

В Литинституте учился у Антокольского.  
Умел писать лапидарно и емко:

*Если осталась одна рука,  
жизнь хватают наверняка!*

Но версификационный дар и темперамент не соответствовали ни таланту, ни уму.

Осталась злая эпиграмма на забытого персонажа:

*Он, как Гудзенко, некультурен,  
Как Шубин, пьян и глуп, как Урин.*

В воспоминаниях Урин фигурирует скорее как герой анекдотов. Разгуливал по Москве с ручным орлом. Загремел на 15 суток за разведенный в квартире костер. Насмерть перепугал Вознесенского, показывая на скорости в центре города, как ногами рулит «Победой», а руками печатает на машинке стихи.

Урин проехал на этой «Победе» через весь бескрайний СССР, издал книги путевых очерков. Я прочитал одну. Обычная советская тягомотина: скучные периоды акынских описаний, немного поверхностного краеведения, чуточку «оживляжа» в виде полупридуманных персонажей. Короче, такая добровольная бесконечная журналистская командировка.

Сначала испортил себе биографию дурацким письмом-кляузой в ЦК, во время «Пражской весны», в котором жаловался на то, что тиражи коллег-поэтов не соответствуют их преданности линии партии. Для борьбы с этим предлагал поднять собственные тиражи.

Потом «ремонтировал» биографию, создав некий Всемирный союз поэтов, который сам и возглавил. А в заместители выбрал президента Сенегала. Нужно заметить, что в отличие от остальных лидеров черного континента и преданных друзей Советского Союза, Леопольд Седар Сенгор не был ни дикарем, ни людоедом. А был философом, франкоязычным поэтом, составлявшим антологии (Привет тебе, Леопольд Седар!) и писавшим книги.

Сенгор на затею откликнулся, а советские чиновники — нет. В итоге — эмиграция в Сенегал, потом переезд в США, где Урин и закончил свои некороткие дни.

Найденное нами стихотворение вполне соответствует образу автора. Богатая ритмическая палитра и точные наблюдения (плоские шашлычные палочки) не в состоянии оправдать интонацию журнала «Крокодил», а главное — наличие всего одной мысли на весьма длинный текст.

Стихотворение опубликовано в большом сборнике-альманахе «За круглым столом», изданном в Ташкенте в 1963 году, задолго до землетрясения. Поэтому «брезентовый шалаш» на Анхоре — это не армейские шатры, в которых жили ташкентцы в 66-м, а скорее туристическая палатка, которую возил в своей «Победе» темпераментный автор.

*В и к т о р   У р и н*

## **ДЫХАНИЕ**

Дымилась шашлыки на плоских палочках;  
Была луна в реке, как пиала.  
Какая-то начитанная парочка  
Из той луны свою любовь пила.  
А я в машине проезжал по Пушкинской,  
И смуглолицый мартовский Ташкент  
Вдруг козырнул и, улыбаясь дружески,

Сказал мне:

— Предъявите документ.

Я не нарушал. Я ехал чинно.

Милиционер тактичным был.

И все же, мне казалось, беспричинно

Меня он к тротуару пригвоздил.

Быть может, рядом знак висит «запрет»?

— Нет.

Быть может, ехал я на красный свет?

— Нет.

— В таком случае, — говорю, —

Почему вы меня останавливаете?

Поймите, я опаздываю...

И милиционер сказал мне:

— Ясно!

Но много нарушений в эти дни...

И, поманив, он трепетно и властно

Мне на ухо шепнул:

— А ну, дыхни.

Я с радостью дышал. Я был распарен.

Везет же мне, как видно по всему!

Как здорово, что есть на свете парень

Внимательный к дыханью моему!

И даже, думал я, даю вам слово,

О, если б каждый в мире человек

Прислушался к дыханию другого,

Как этот очень вежливый узбек.

— Ну, как дышу?

Страдаю и спешу.

Стихи пишу,

На огонек прошу.

Хотите, на Анхор вас приглашу

К себе, к брезентовому шалашу?

По-моему, неплохо я дышу.

В ответ на эти мои слова Милиционер сказал:

— Гражданин!

Вы меня не так поняли...

Я на посту, а вы в автомобиле.

Так?

С водителями бывает: или — или.

Так?

Но вы, я убедился, трезвым были.

Так?

Надеюсь, что меня вы извинили.

Так?

Ах, дорогой мой милиционер!

Не так!

Я в этом городе пьянею,

Я понял, что дыхание имею,

Что вас оно волнует, например.

Мне нравится, что представитель власти,

Там, где цветут вечерние огни,

Поинтересовался мной отчасти

И вежливо сказал:

— А ну, дыхни.

И после многолетнего скитанья

Я ощутил всем существом своим,

Кому-то дорого мое дыханье,

И кто-то бережно следит за ним.

Так сделайте пометку в документе,

Прошу вас, проколите мой талон,

Чтоб знали все, что я дышал в Ташкенте

И был весной узбекской опьянен!

Пусть другой расскажет по-другому,

Я от души был этой встрече рад

И милиционеру дорогому

Сказал:

— Спасибо, друг, катта рахмат!



## ТРИ РАССКАЗА

## ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Тацуро Хори (1904–1953) — японский прозаик, поэт и переводчик, признанный не только в Японии, но и за ее пределами, но мало известный в России. Среди его работ — повесть «Ветер поднялся» (послужившая одним из источников сюжета известного анимационного фильма Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает»), а также повести «Прекрасное селение», «Детство», роман «Наоко» и др.

Рассказы, представленные в НЮ, относятся к раннему периоду творчества писателя: «Пейзаж» был впервые опубликован в 1926 г., «Мышь» и «Набросок смерти» увидели свет чуть позже, в 1930 г.

Три эти миниатюры, на первый взгляд, совершенно различны, но есть в них и нечто общее: все они по-своему напоминают игру в «верю — не верю» и, одновременно, ленту Мёбиуса. Все в них, вплоть до мельчайших деталей, сюжетно увязано воедино. Но какое звено в цепочке описываемых событий является причиной, а какое — следствием, очевидно не всегда.

В то же время все три сюжета разворачиваются «на грани» — на грани воображаемого или, возможно, сна. При этом граница между действительностью и миром фантазий отнюдь не является в них непреодолимым препятствием: эти сферы свободно сообщаются и, в конце концов, следуя изгибам все той же ленты Мёбиуса, перетекают друг в друга. И потому небывлицы порой подменяют героям реальность, любое, даже весьма странное предположение спокойно принимается за неопровержимую истину, а у явлений исключительно обыденных обнаруживается вдруг совершенно фантастическая «изнанка».

Наконец, во всех трех историях подкупает ощущение легкой неопределенности и свободы от диктата здравого смысла. Кто сказал, что лево — это всегда лево, а право — обязательно право? На каком основании мы решаем, что заслуживает нашего доверия, а что — нет? И почему принято считать, будто на факте якобы ложном ничего возводить не стоит? Мы назовем правдой одно, другое — другое. И кто тут разберется? Да и зачем?

Екатерина ЮДИНА



## ПЕЙЗАЖ

На пристани, как всегда, былолюдно: повсюду сновали матросы, от которых за версту разило спиртным, рабочие деловито разгружали судно. Я решил не лезть в толчею, а, напротив, пойти поискать тишины и уединения. По пути я забредал то в один, то в другой уголок и, когда совсем уже заплутал, оказался вдруг в одном довольно странном месте.

Но стоило только подумать о том, что выглядит оно весьма необычно, как меня охватило волнение. Подобное чувство обычно испытываешь, когда открываешь для себя новый, не виданный ранее пейзаж.

Вокруг было невероятно тихо. Я не очень хорошо понимал, где именно нахожусь, но судя по тому, что попал я сюда, когда заблудился, бесцельно гуляя вокруг пристани, то и этот закуток, несомненно, принадлежал той же набережной. Я был уверен в одном: причал остался где-то далеко. Долетавшие до меня отзвуки его разноголосицы были настолько слабыми, что не нарушали, а лишь подчеркивали царившую здесь тишину.

На берегу, в широком кольце высокой ограды, возвышалось обветшалое здание. Других построек рядом не было, но оно одно сильно ограничивало обзор и, кроме того, затеняло собой береговую линию, так что с того места, где я стоял, можно было любоваться лишь морем. Мне подумалось, что здесь, должно быть, располагался самый край набережной; а сам я, похоже, каким-то образом забрел во внутренний двор этого дома. Впрочем, обычного для таких мест садика я не наблюдал: в ограде не росло не единого деревца. Просто участок голой земли, из которой кое-где торчали редкие сорняки. Вдобавок ко всему со стороны моря не было ничего, что напоминало бы вал или береговую насыпь, и двор внезапно обрывался прямо в воду.

На волнах, посреди лоскута водной поверхности, что попадал в мое скромное поле зрения, покачивался одинокий пароход. Он выглядел таким старым, словно достался этому берегу в наследство от прошедших эпох. И хотя в облике его было что-то от детских игрушечных корабликов, размеры поражали воображение. Возникало даже чувство какой-то дисгармонии: будто огромному судну на этом пейзаже не хватало места, и оно стремилось вырваться за рамки картины. Это ощущение, похоже, усиливалось из-за того, что освещенный косыми солнечными лучами корпус машины отбрасывал на воду чудовищно длинную тень.

Я, как малое дитя, с восторгом разглядывал пароход, когда взгляд мой невольно скользнул выше, в небо. Там что-то переливалось на свету, поблескивая, словно мелкие стеклышки. Над пароходной мачтой проплывали стайкой маленькие белоснежные облачка. Некоторые из них, неспешно прокладывая себе путь вперед, были похожи на разных рыб. В других было что-то от медуз. Третьи, застывшие неподвижно, напоминали красивые ракушки. Как будто в небесах зеркально отразились все сокровища морских глубин. Когда ранее я оглядывал окрестности, мне казалось, что вдали я смутно различаю полоску суши и даже могу разглядеть там группу зданий в европейском стиле, похожих на рассыпанные по столу игральные кости. Но пока я любовался небесами, далекий оазис уплыл ввысь — к мачте корабля. Эти «замки» тоже оказались воздушными...

Я был пленен не столько незатейливой прелестью этого пейзажа, сколько чем-то неявным, его особой аурой. Самое первое мое впечатление — то изумление, которое испытываешь, открывая для себя новые виды, — все еще жило во мне, до сих пор не утратив своей свежести. Так что же это такое? Позабыв о пароходе и облаках, которыми любовался до сих пор в каком-то детском упоении, я пустился в философские рассуждения об истинной природе представшей передо мной картины... И пришел к мысли, что красота этой местности сродни очарованию некоторых выражений на обычных и самых простых человеческих лицах. Точнее было бы сказать, что весь этот пейзаж выглядел как будто чрезвычайно смущенным. Так реагируют впечатлительные юные барышни, поймав на себе чересчур пристальный посторонний взгляд. Волны накатывали на берег одна за другой, и за непрерывным колебанием вод мне чудилось учащенное биение взволнованного сердца...

Неожиданно внимание мое привлекло какое-то движение на палубе корабля. Я прищурился, пытаюсь разглядеть, что там происходит. Когда от напряжения уже заболело между бровей, я, наконец, заметил матроса. Тот стоял, облокотившись на фальшборт, и вкусно, со смаком курил, попыхивая сигаркой.

Увидев струйку дыма, я и сам захотел курить. Достал из портсигара сигарету и зажал ее в зубах. Но под руку постоянно задувал сильный ветер и никак не давал зажечь спичку. Пока я сражался с ним, мне вдруг вспомнилось, как совсем недавно плыли в вышине похожие на рыб облака: «Ээ, гиблое дело, на таком ветру...»

Я непроизвольно огляделся вокруг. Взгляд мой упал все на ту же обветшалую постройку. «Вот и славно, там точно можно будет укрыться от ветра», — решил я и без промедления направился к дому. Но когда я вплотную подошел к запыленной стене, то обнаружил одну неожиданную и удивительную вещь: от ее обшарпанной на вид поверхности почему-то явственно пахло свежей краской. Посчитав, что меня подводит обоняние, я не придавал этому наблюдению особого значения и попытался было прикурить, но оказалось, что ветер здесь, напротив, задувает еще сильнее. Возможно, виной тому были именно стены, встававшие преградой на его пути. Я упорно топтался около здания в поисках тихого безветренного закутка, но лишь впустую, одну за другой изводил спички.

Неожиданно раздался резкий звук. Он так ударил по ушам, словно мне в голову швырнули пригоршню гальки. Я в растерянности оглянулся. В стене, прямо надо мной, виднелось застекленное оконце. До сих пор я совершенно не обращал на него внимания. Сейчас оно было распахнуто настежь. В следующее мгновение в раскрытом окне показалось перекошенное от гнева лицо какого-то мужчины европейской наружности.

— Здесь курить нельзя! — ни с того, ни с сего закричал он на меня.

Я опешил, совершенно не понимая, что происходит, и в ответ на окрик лишь нахмурился и адресовал мужчине в окне полный недовольства взгляд. В тот момент в его облике, особенно в похожих на две толстые сигары коричневых усах, мне почудилось что-то смутно знакомое. Впрочем, дежавю это длилось не более секунды, потому что лицо мужчины почти сразу скрылось, и стеклянная створка с тем же невообразимым грохотом захлопнулась.

По-прежнему сжимая в зубах незажженную сигарету, я поспешил уйти — подальше от окна, а потом и вовсе — прочь из этого места. В какой-то момент я, видимо, начал рассеянно покусывать кончик сигареты и теперь, вконец измусолив тонкую бумагу, ощущал во рту странную горечь, источаемую табачными листьями.

Ничего не оставалось, как покинуть двор. Когда я уходил, взгляд мой случайно упал на нечто, отдаленно напоминающее ворота. Ветхая деревянная конструкция уже почти рассыпалась в щепу. Неудивительно, что по пути сюда я совершенно не обратил на нее внимания.

Мне вдруг стало интересно, что же это было за здание, и я принялся осматривать ворота в поисках какой-нибудь вывески. Таблич-

ка нашлась довольно скоро. Вот только некоторые символы на ней совсем уже стерлись, и надпись читалась с трудом. В конце концов, мне удалось не то разобрать, не то угадать написанное: «...таможня».

«Вот оно что! Так здесь располагается таможня? Да уж, курить в таком месте — это, конечно, как-то... Пстойте-ка! А вдруг этот напоминающий европейца господин, отчего-то показавшийся мне знакомым, — тот самый «Таможенник» Руссо<sup>1</sup>? Я никогда не видел этого человека вживую, только его автопортрет, но мужчина, внезапно выглянувший из окна, был очень на него похож».

Пока в голове моей вертелись эти мысли, я внезапно вспомнил, что от здания пахло свежей краской. Уж не был ли это запах красок, которые использовал в своей мастерской Руссо? А если так, то художник, очарованный тем же видом, что пленил меня самого, наверняка запечатлевал сейчас этот пейзаж на своем полотне. Вот он стоит, погруженный в свою работу, и вдруг гробовую тишину его мастерской нарушают доносящиеся из-за окна звуки «шурх-шурх... шурх-шурх»: кто-то без остановки чиркает спичками. Поначалу художник не обращает на эти шорохи особого внимания, но они не стихают и все больше действуют на нервы. Ему начинает казаться, что кто-то издевается над ним, он потихоньку теряет терпение и, в конце концов, не выдержав, подбегает к окну. Распахивает створки и, когда видит снаружи какого-то мужчину, тут же раздражается криком...

Как только фантазия разыграла передо мной эту сценку, мир вокруг как будто озарился ясным светом. Может ли быть, чтобы я испытал подобный восторг лишь потому, что представил себе, как Анри Руссо работает внутри здания таможни над пейзажем, изображая открывшийся мне уголок природы? И меня, совершенно стороннего человека, так глубоко тронула воображаемая красота воображаемой картины?

Это неожиданная мысль вернула мне бодрость духа. Во мне как будто боролись, без конца сменяя друг друга, радость и печаль. Такой уж это был день: когда и лето с осенью, кажется, соперничали в чем-то. Стараясь двигаться как можно тише и незаметнее, я ушел от ворот таможни, так и не прикурив.

---

<sup>1</sup> Анри Жюльен Фелис Руссо (1844—1910) по прозвищу «Таможенник», знаменитый французский художник, до 41 года работал клерком в таможенном департаменте Парижа. По воспоминаниям современников, каждую свободную минуту, даже на работе, во время дежурств, Руссо посвящал занятиям живописью.

## МЫШЬ

Игры их напоминали мышиную возню...

Мальчишки отыскивали где-то кучу старых татами<sup>2</sup>, притащили их в сарай рядом с заброшенным домом, разложили рядком поверх потолочных балок, и получилось у них в закутке между балками и крышей что-то вроде комнатки. И хотя в убежище этом сильно пахло плесенью, лучшего места для игр, в котором обожавшая секреты детвора могла бы столь же надежно укрыться от чужих глаз, нельзя было и придумать.

Там всегда царил полумрак. Поэтому, спрятавшись в сарае, мальчишки даже среди бела дня были как будто погружены в свои сновидения. Всем им было лет по десять. Как только заканчивались школьные занятия, они ненадолго заглядывали домой, чтобы, скинув ранцы и сандалии-дзори<sup>3</sup>, схватить взамен что-нибудь для игр, — и тут же снова убегали. Некоторые из них потихоньку таскали у родителей сигареты. Когда эти отчаянные головы приходили в укрытие с уловом, каждую сигарету раскуривали на двоих-троих, затягиваясь по очереди. Так все и шло, пока в один прекрасный день кто-то из мальчишек не притащил тайком из дома гипсовую женскую фигурку (статуэтка, между прочим, изображала саму Венеру). Поначалу она вызвала лишь недоумение. Потом ее начали осторожно, как нечто таинственное и непонятное, передавать по кругу из рук в руки. Но вскоре кто-то из ребят, решив еще раз прикоснуться к диковинке, нарушил очередность, и началась драка. Пока друзья-товарищи сражались за статуэтку, ей поотбивали все руки и ноги: гипс разлетелся на мелкие осколки. В итоге закончилось все еле сдерживаемым приглушенным смехом... Впрочем, ребята даже во время своей глупой потасовки почти не издавали звуков. Ведь стоило кому-то из них закричать в полный голос, и он, без всяких сомнений, тут же был бы наказан — как злостный нарушитель установленных в их компании правил: мальчишки ревностно оберегали тайну своего убежища для игр. Точно так же, как поэтов волнуют и вдохновляют существующие законы построения рифмы, так и ребят будоражила необходимость

<sup>2</sup> Татами — плотные соломенные маты, которые используются в традиционных японских интерьерах для настилки полов.

<sup>3</sup> Дзори — традиционная японская обувь, плоские сандалии из соломы, кожи, ткани или других материалов.

соблюдать некие договоренности. Это делало игры в убежище куда увлекательнее, и мальчишки это понимали.

Так повторялось изо дня в день: детвора забиралась в свою комнатку и шуршала там в свое удовольствие, словно стайка мышей.

Но однажды в сарае случилась беда: под крышей постройки объявился гипсовый призрак.

Неясно было, кто первым пустил этот слух, но он быстро разнесся среди друзей...

Как-то вечером один из ребят задержался в убежище. Все уже разошлись по домам, а этот все еще сидел наверху. В какой-то момент он начал рассеянно собирать разбросанные тут и там гипсовые осколки. Искал их в темноте на ощупь и складывал вместе. Затем попробовал подобрать один к другому и в итоге, повертев их так и этак, сумел сложить нечто похожее на принесенную когда-то в сарай статуэтку. Женской фигурке не хватало только головы. В надежде отыскать недостающий фрагмент мальчишка зажег спичку. Затем еще и еще... Но все было бесполезно: заветного осколка нигде не было видно. В конце концов, мальчишка отчаялся найти пропажу. Однако когда он, сжимая в пальцах зажженную спичку, поднял взгляд от татами, то не смог сдержать удивленного возгласа: прямо перед ним, озаренная неверным светом, смутно белела гипсовая головка богини, которую он искал. Вот только выглядела она слишком большой — словно это была отрубленная человеческая голова! Как следовало далее из рассказа, мальчишка испугался и убежал...

Страх перед гипсовым призраком боролся в сердце ребят с любопытством. И у некоторых любознательность в итоге все-таки взяла верх. Собравшись вместе, эти смельчаки отправились в убежище. Но стоило только им забраться под крышу и увидеть раскиданные по старым, пропахшим плесенью матам обломки гипсовых рук и ног, как на них повеяло какой-то жутью, и они тут же, не сговариваясь, с дикими воплями кубарем скатились вниз с потолочных балок и выбежали из сарая.

Пришлось детям покинуть облюбованное место, которое в течение нескольких месяцев служило им тайным укрытием.

Впрочем, замена ему нашлась довольно быстро.

Отыскав себе однажды превосходное убежище, мальчишки приобрели отличный нюх на такого рода закутки и теперь обнаружили

подходящее местечко под полом одного буддийского храма. Они перетащили туда несколько циновок из осоки, по-видимому, как всегда, где-то украденных, и начали новую игру — на этот раз, окопавшись, словно кроты. Под полом было не так жарко, как в сарае. И поскольку близилось лето, очередное укрытие особенно приглянулось ребятам именно своей прохладой. Правда, там было слишком темно и сыро, и мальчишки порой начинали сомневаться, бодрствуют они или же видят какой-то дурной сон. И тогда тихонько, с тоской вспоминали свое прежнее житье-бытье на потолочных балках.

Но был в их компании паренек, который не боялся в одиночку подниматься под крышу сарая и втайне ото всех, даже от своих друзей, как и прежде, шуршал там, продолжая привычную мышиную возню.

Мальчик этот совсем недавно потерял мать. И сильно тосковал по ней. Временами он просто не мог сдерживать рыданий. Но, надо отдать должное детской гордости, он совершенно не выносил, когда кто-либо становился свидетелем его слез. И потому упорно искал в минуты подобных порывов возможность уединиться.

Он любил царивший в сарае полумрак и иногда втихомолку плакал, укрывшись в этой темноте от взглядов товарищей. Слезы, которые он проливал в убежище, доставляли ему какое-то особое, почти физическое наслаждение. При этом он часто представлял себе, что окружающие его приятели исчезли и никого рядом больше нет. Эти фантазии и подсказали ему один отчаянный план.

На самом деле история о гипсовом призраке была выдумкой этого мальчугана. Он успешно претворил свою затею в жизнь. И в результате оказался единственным, кто мог безбоязненно подниматься в потайную комнатку, не пугаясь разбросанных повсюду обломков гипсовой фигурки... Хотя невозмутимость его, надо признать, не имела ничего общего со смелостью и бесстрашием перед лицом сверхъестественного: он просто-напросто обманул своих друзей...

Шли дни. Однажды, вдоволь наплакавшись в убежище, которое теперь принадлежало ему одному, мальчишка отчего-то не захотел возвращаться домой, а лег прямо там, на матах. На улице незаметно стемнело. Он почувствовал, что голоден, но не предпринял даже слабой попытки встать.

Потом вспомнил об отце. После смерти жены тот стал вдруг очень ласков к сыну и теперь наверняка волновался о ребенке, до сих пор не вернувшемся домой, ждал его и сам не садился ужинать. Но даже этих мыслей оказалось недостаточно, чтобы заставить мальчика подняться. Как будто какая-то неведомая сила приковала его к матам.

Мало-помалу его стала одолевать дремота. Он понял, что засыпает. И почти в то же самое время принялся непроизвольно, словно лунатик, подбирать и прикладывать друг к другу валявшиеся вокруг осколки гипса. По правде, ему и самому было не совсем понятно, что происходит: то ли однообразные действия погружали его в сон, то ли ему просто снилось, что он пытается собрать статуэтку. Но, как бы то ни было, это необычное дело у него спорилось, и вскоре из-под детских рук появилась гипсовая Венера — почти такая же, как раньше, до поломки. Отсутствовала только голова. Разыскивая ее, мальчик извел не одну спичку. И, в конце концов, заметил во мраке перед собой гипсовый женский лик — такой же, как обычное человеческое лицо, ничуть не меньше: все было именно так, как он сам когда-то сочинил. Действительность (или же греза?) как будто бы в точности повторяла его выдумку. Но был один момент, в котором происходящее удивительным образом превзошло вымысел: лицо гипсовой богини было как две капли воды похоже на лицо покойной матери мальчика. Что-то заставило его всерьез поверить, будто перед ним — его мама, поэтому он изо всех сил старался скрыть обьявивший его сердце ужас. В какой-то момент на лице ее словно бы промелькнула нежная улыбка. Затем она вдруг склонилась над ребенком и легонько, едва касаясь, поцеловала его в губы. Мальчик ожидал, что поцелуй этот будет пугающе холодным... но губы ее оказались теплыми, *точно она была живой*. В следующую секунду его захлестнула волна совершенно неизъяснимого восторга, в котором странным образом сплелись во-едино страх и чувство любви.



## НАБРОСОК СМЕРТИ

— Не могли бы вы завести граммофон? — говорю я, обращаясь к ангелу, что стоит возле моей кровати.

Здесь, в больнице, я вверен заботам этого светлого существа, облаченного в белую сестринскую форму.

— Что поставить?

— Ноктюрны Шопена, пожалуйста...

...Из рупора граммофона появляется маленькая ярко-красная птичка и залетает мне в ухо. Какое-то время она свободно кружит внутри меня, порхает среди переплетающихся, точно голые ветви, костей, а затем усаживается на одно из ребер. Каждый взмах ее крылышек вызывает у меня мучительный приступ кашля. И вот, чтобы усыпить эту птаху, мне уже требуется ингалятор...

Ангел способен видеть все то, что мне снится, и часто настраивает мои сновидения на нужный лад. Это входит в обязанности медсестры. Девушка улыбается и ставит другую пластинку.

•

Я писал письмо. Делал я это украдкой, стараясь не привлекать внимания ангела, поскольку вести переписку мне запретили. И все же медсестра заметила неладное.

Я попытался было спрятать бумагу, но тщетно.

— Покажите письмо, — сказала она.

— Это исключено.

— Может быть, все же проявите благоразумие?

— И не подумаю!

— В таком случае, прочтите мне его, пожалуйста.

Я вынужден был уступить. Но про себя твердо решил, что неудачные пассажи зачитывать не стану.

— «Голубка моя!..»

— Ого!

— «...Я должен признаться тебе в чем-то ужасном. Дело в том, что я уже мертв! Хотя в чем вообще состоит разница между жизнью и смертью? Я и сейчас могу прийти к тебе — в любой день и час, стоит

только пожелать. Правда, ты теперь прийти ко мне уже не сможешь. И это удручает, ты не находишь? Зато теперь все будет гораздо проще! Когда я был еще жив, мы, сами того не замечая, частенько раздваивались — и нас становилось четверо. Под конец мы с тобой совсем запутались: где здесь ты, где я, где твой образ, живущий в моем сердце, где мой образ, созданный тобою? Все это страшно смущало. Но теперь-то ничего подобного уже не произойдет. Так что ты, пожалуйста, не печалься особо о моей кончине. Как сказал один поэт, живые и мертвые — словно две стороны одной медали: так безнадежно далеки и в то же время так близки друг другу...»

Я дочитал письмо. Ангел мой оказался весьма любопытен. Но заинтересовало девушку, похоже, не столько само послание, сколько адресат:

- И где же сейчас ваша возлюбленная?
- В подвале здания «Парадайз»...
- Что ж, стало быть, и у рая тоже есть свой подвал? И что она там делает?.. Дайте-ка угадаю. В баре работает?
- Все верно, в баре «Блу Берд», — я невольно улыбнулся.
- Вам сколько лет?
- Почти девятнадцать.
- А знакомы с ней давно?
- Да тысячу лет уже, не меньше!.. По крайней мере, мне так кажется...



На первом же нашем randevу мы с ней условились так: давай-ка посмотрим, кто из нас двоих сумеет причинить другому больше страданий? И потому, например, девушке моей не раз приходилось подолгу и, самое главное, впустую ждать от меня писем. Видимо, вполне испытал на себе, как это тяжело, она, в свою очередь, решила вообще мне не писать.

Мы были совершенно увлечены игрой в «мучителей». В конце концов, дошло до того, что в один прекрасный вечер, порядком истомившись на парковой скамье в ожидании возлюбленной, я вдруг почувствовал слева в груди резкую боль. После этого случая болезненные ощущения стали появляться ежедневно, словно меня жалило засевшее глубоко в груди острое шило.

Я, разумеется, усмотрел причину этого непонятного недуга исключительно в слишком сильных любовных переживаниях.

О своих романтических муках я никому не рассказывал. Даже своей пассивности.

И все же однажды не выдержал и невольно скривился при ней от боли.

— Что с тобой?

— Все в порядке!

— Тогда с чего вдруг такое выражение лица?

— Просто вспомнил один мерзкий сон, который привиделся мне сегодня под утро.

— И что же тебе приснилось?

— Что меня съел крокодил.

Было очевидно, что ответ мой девушку не успокоил: она все истолковала по-своему и даже за этой моей секундной гримасой не увидела ничего, кроме признаков ожидающих ее саму мучений.

Я же, наконец, в полной мере ощутил, что взаимная любовь — это именно боль и бесконечное истязание друг друга.

И вот — наша последняя ночь вдвоем...

Но кто мог знать тогда, чем все обернется? И нам казалось: ночь как ночь — такая же, как все остальные.

А на следующее утро, уже собравшись уходить, я подошел к зеркалу, чтобы повязать галстук, и в этот момент увидел вдруг, как мой зеркальный двойник, страшно побледнев, словно подкошенный валится на пол. После этого у меня начался сильнейший жар, и вскоре я оказался в больнице.

Врач поставил диагноз: острая пневмония. По его словам, мучившая меня до сих пор боль в груди была не чем иным, как предвестницей подступающей болезни.

Я счел его заключения весьма наивными.

Той ночью я никак не мог уснуть.

Температура у меня поднялась почти до сорока, и мне казалось, будто я медленно поджариваюсь на своей койке, горячее, словно прокалившийся за день на солнце прибрежный песок.

Я метался в постели и постепенно, как лежащего на песчаном берегу человека охватывают и пропитывают подступающие воды прилива, так и меня пропитывало небытие. Краски жизни потихоньку размывались, оставляя по себе лишь мертвенную бледность.



Когда врач приходил ставить уколы, ему всегда ассистировал отвечающий за меня ангел в белых сестринских одеждах.

Правда, ангел мой только и делал, что совершал одну ошибку за другой, постоянно путая подкожные и внутривенные инъекции.

Организм мой был и без того ослаблен, и каждый раз, когда сестра ставила не тот укол, я впадал в состояние коллапса. В нос бил запах ментола, и я, покидая сферы осознаваемого, словно на лифте, стремительно погружался в чертоги забытья.

Во время одного из таких приступов мне, как будто сквозь туман, привиделось, что отвечающий за меня ангел, страшно паникуя, собирается вливать мне в рот какие-то красные чернила. Я попытался было воспротивиться, но ощутил вдруг, что сил моих на бунт уже не хватает, и в тот же миг окончательно потерял сознание.

Очнувшись, я постарался убедить себя в том, что увиденное было всего лишь предобморочным бредом. Однако с тех пор меня неотступно преследует странное ощущение, будто в кровь мою подмешаны чернила.

Как раз тогда у меня впервые зародились подозрения: а что, если мой ангел — это переодетый в светлые одежды посланник Смерти?

Ведь стоило принять эту мысль, и многое из того, что до сих пор вызывало у меня недоумение, сразу становилось понятным! И прежде всего, конечно, приступы, которые постоянно провоцировала эта особа. Что это, если не *dessin* — своего рода репетиция моей кончины? И не проступает ли постепенно на моей руке витиеватая татуировка — инициалы Смерти, которые незаметно наносит медсестра, раз за разом вводя мне под кожу иглу?



В одну из ночей, не в силах уснуть, я долгое время пребывал на грани сна и яви. Свет прикрытого красной хлопчатобумажной тканью ночника, более уместного в каком-нибудь кошмарном видении, придавал палате зловещий вид.

В соседней комнате пронзительно зазвонил телефон. Затем смолк. Вместо его призывных трелей до меня донесся голос ангела: «...Это я... да, сегодня в два часа ночи... в таком случае, не стоит ли мне вызвать лифт?.. понятно... да, все остальное уже готово».

Девушка повесила трубку.

Слышно было, как она торопливо забегала по комнате туда-сюда. Затем вдруг раздался оглушительный рев, как будто завели мощный двигатель.

В то же мгновение я ощутил, что все мое тело стремительно и резко — словно через него пропустили электрический разряд — онемело.

Я совершенно не сопротивлялся, приняв неизбежное. Успел только прошептать: «Неужели это и есть — смерть?.. Если так, то еще ничего...»

Ангел мой, судя по звукам, переживал и суетился куда больше моего. Часы проббили два.

Девушка с растерянным видом зашла ко мне в палату, затем, не удосужившись даже прикрыть за собой дверь, прошла в коридор и далее — на лифтовую площадку. Похоже, она собиралась вызвать лифт, но замешкалась, не зная, какую кнопку ей следует нажать: «UP» или «DOWN».

В конце концов, отринув сомнения, девушка нажала кнопку «DOWN». Но разве не должна она была поступить наоборот?

Как и следовало ожидать, кабина лифта, в которой поднималась Смерть со своими приспешниками, не останавливаясь, проплыла мимо нашего этажа и унеслась наверх.

...Все это я прекрасно видел со своей койки через полуотворенную дверь.

До того момента, когда кабина лифта должна была вновь спуститься на наш этаж, оставалось еще какое-то время... И я закричал. На голос мой примчался врач — оказывать больному первую помощь. Так я избежал едва не настигшей меня Смерти.

Ангел по рассеянности и невнимательности столько раз подвергал мою жизнь опасности! И вот теперь очередная его небрежность — в самую последнюю секунду! — спасла меня от встречи с Безносой.

Стало быть, жизнью я обязан преданному помощнику Смерти — моему ангелу.



Хотя мне и удалось в итоге избежать беды, но одно из моих ребер к тому времени пришло в полную негодность.

Было решено: чтобы я жил долго и счастливо, загнивающую кость нужно полностью удалить.

Мне ничего не оставалось, как смириться и постараться пережить эту чудовищную операцию...

— Может быть, взамен вы сотворите мне из этого ребра Еву?.. — говорю я, обращаясь к ангелу, что стоит возле моей кровати.

*Перевод с японского Екатерины ЮДИНОЙ*



С а н д ж а р Я н и ш е в

## ФРОСТУ ФРОСТОВО

Есть поэты, вызывающие посмертную ревность... у переводчиков. «Он мой, не смейте его трогать!» Покусившийся на святое выглядит если не воришкой, то грубым искажителем. При этом искажен, с точки зрения ревнителя, не зеркальный (иноязычный) образ, а самый первоисточник.

Таким поэтом является Роберт Фрост, поэт, которого хочется присвоить. Или — скажем иначе: поэт, дающий переводчику силу. А дальше — всяк волен поступать с ней по-своему. Как с любой энергией, например, деньгами. Как с любовью.

Расскажу, что сделал я.

Мой карантин вышел деревенский, «натуральный». Для закоренелого горожанина продолжительный затвор в окружении лесов — сущее наказание (сужу по своему девятилетнему сыну, который все полгода природной «диеты» нудел, как три сестры, про Москву). Я же о мегаполисе вспоминал только ввиду двух-трех друзей, с которыми, впрочем, и прежде виделся не чаще раза в месяц — а то и в пять.

Планов было громадь. Ни в коем случае не сравниваю свое вынужденное заточение с «болдинским» — ни по личным обстоятельствам, ни по результату. Однако некоторый инсайт, сдвиг «точки сборки» произошел и со мной. Помимо программы выживания на подножном, буквально, корме, хотелось закончить начатую книгу стихов, начатую пьесу, хотелось написать некоторую прозу, хотелось... И тут случился Фрост.

Небольшое отступление. Художник всегда говорит о том, что его царапает. Или — скажем мягче — трогает, волнует. Не обязательно это находится рядом. Можно близко к сердцу поместить новость о том, как три горбатых кита заплыли в кишашую крокодилами австралийскую реку, двое сразу вернулись в океан, один остался (погуглите, я не вру!); можно написать об этом стихотворение или снять анимационный — песком по стеклу — фильм.

Роберт Ли Фрост говорил изнутри своего мира. Природа Новой Англии: влажный континентальный климат, горная гряда на севере, океан

на юге, лиственные леса, осени, крашенные пестрым, суровые ветреные зимы. Жизнь Фроста, особенно в первой ее половине, была исполнена тяжелого повседневного труда, когда питаешься исключительно тем, что сумел произвести сам, своими руками. И в этом смысле его мир не сильно похож на быт современных американских фермеров. Но он почти идеально совпал с тем, что я увидел в сегодняшней русской деревне. Что я вижу в ней с тех пор, как стал бывать в селе Рождествено, в Тверской области, где мы приобрели пять лет назад старый, почти столетней давности дом. Люди здесь не живут — выживают; скажем, сильным подспорьем в летние-осенние месяцы для них служит сбор и продажа лесных ягод, в зимние — разного рода «шабашка» и т.д. Они сильно зависят от урожая, «здесь что посеешь, только то и пожнешь».

— Где же и заниматься Фростом, как не тут? — сказал мне друг, когда ступил на песчаную рождественскую землю.

Я, как заправский фермер, вкапывал в это время очередной столб — укреплял забор, отделяющий участок от остального мира («good fences make good neighbours»). Однако услышав знакомый голос, немедленно и крепко воткнул лопату в маленькую фудзияму, чтобы обнять — вопреки рекомендациям о социальной дистанции — того, кого не видел несколько месяцев. Почти в соответствии с известным стихотворением Фроста A TIME TO TALK (в моем переводе — «Самое время»).

«Сюжет»<sup>1</sup> другого произведения я тоже здесь пережил: он совпал с моей реальностью дословно. (С той оговоркой, что герою стихотворения это снится.) Сперва произошла *история*, потом — как по заказу — из фростовского дремучего леса на меня посмотрело стихотворение A DREAM PANG; я перевел его в итоге как «Сладкую боль».

«Все повторилось... однако с легкими вариациями». Это уже не из Фроста, а из моей «Книги обращений». Там дальше так: «Кажущиеся [вначале] параллельными две прямые в конце пути друг друга уже не видят». Вот на этой фразе хочется задержаться. Утверждение не только верное, с точки зрения эвклидовой геометрии, но очень личное. Будучи по рождению близнецом, одним из двух почти синхронно рожденных братьев, я много думал о природе повторения человека в Другом. Сначала облик. Потом характер. Следом судьба. Такое часто отмечают у отцов и детей.

Но вот рождается двойня. Сперва кажется, что даже отпечатки пальцев у них идентичные (хотя так не бывает). Дальше — два вари-

<sup>1</sup> «Сюжет» пишу в кавычках, ибо в лирических стихах это категория относительная.



анта развития событий, приводящие к *одному*. Есть пары, отношения в которых складываются по принципу взаимного дополнения. В иных случаях это борьба подобного с равным. Чем меньше отличий, тем больше конфликта, желая выломаться, расподобиться.

Прямые только кажутся параллельными. Мизерный угол, даже в одну миллионную градуса, имеет тенденцию к накапливанию. Это его главное свойство. Приметы складываются в «корзину» или в «облако». Поначалу крохи, потом — целые жизни. И вот уже нет в нас ничего общего, кроме воспоминаний. Которые, впрочем, тоже у каждого — свои.

Об этом я думал, читая в десятый или в сотый раз THE ROAD NOT TAKEN («...А дальше дорога развилку дала»). Стихотворение, в котором история о двух лесных тропках явилась мне метафорой с двумя прямыми. И финал «...and that has made all the difference», который я перевел «...а разница — набежала с годами», получился именно об этом: кажущиеся параллельными... в конце... друг друга не видят.

Вот так и получается, что, даже переводя стихи давно ушедшего поэта, мы говорим о своем. Изнутри своего мира, своего времени. Перевод — лучший способ прочесть стихотворение: со-бытие через присвоение.

\* \* \*

«Любовь к Фросту должна быть свободной, иначе нельзя», — пишет мне подруга, американская славистка Наоми Каффи, счастливо обозвавшая мои фрострации «парафростом». Наиболее «свободно» я поступил с самым известным стихотворением поэта — STOPPING BY WOODS ON A SNOWY EVENING. С ним у меня случилась, по слову Фроста, lover's quarrel — «любовная ссора».

Из переводов этой классической вещицы можно составить приличную антологию (кажется, она даже и замыслена). Я читал, по крайней мере, дюжину. Помню только, что ни в одном из них меня не устраивал финал, русский ответ на пресловутые две строки, словно в зеркале повторяющие друг друга, равные во всем: «And miles to go before I sleep, / And miles to go before I sleep». Однако же, как в случае с близнецами, только *кажущиеся* равными («...одна из них — частная и обыденная, а другая — надмирная и вселенская», — такими их слышал герой Набокова в романе «Бледный огонь»). В каких-то вариантах

мне не хватало естественности, в других — точности; иными словами, в своей оценке я сам выступал ревностным охранителем общего достояния — фигурой, упомянутой в начале моего рассказа. Приступая к собственному переводу, я чаял отыскать заветную формулу, которая бы не отвлекала своей формой, но была предельно содержательна.

Я очень живо представлял себе этот чернотой дразнящий лес, по краю которого движется телега, замерзшее озеро, выстроенные ветром на ледяной глади снежные цепочки, сносимое в сторону дыхание лошади, теньканье сбри, маленького большого человека в состоянии предельного одиночества... В стихотворении это темнейший вечер года («the darkest evening of the year»), вхождение в самую долгую ночь зимнего солнцестояния, после которой происходит обращение. Перед рассветом тьма сгущается — так, кажется, говорят? Край мира, край времени, граница жизни, предельное отчаяние, выход из которого возможен только в Чудо.

В моем мире — я это понял теперь, переводя «Stopping By Woods...», — подобный поворот неизменно связан с Рождеством. Отсюда и название — «Остановка у леса в конце года». Замер герой, замерла природа, остановилось время. Звезда не видна, она появится завтра, в канун Праздника, она будет настолько светлой, настолько яркой, что волхвы с их дарами не собьются, подобно трем горбатым китам, с пути, они придут вовремя. Пока же — как предвестие их появления — три дара из глубины чудесного зимнего леса. Три эпитета, словно бы золото, смирна и ладан, как раз знаменуют обетованный Поворот: «The woods are *lovely, dark, and deep*». Данный героем обет («...but I have promises to keep...») — его связь с Создателем, зыбкая, но, кажется, нерушимая.

В моем переложении два дара из трех («дар мрака» и «дар леса») — на виду, третий упрятан в финальном рефрене, он мерцает в слове «дорога» («дар ока») — как то, чего глазом не увидишь, но почувствуешь зорким сердцем, если будет позволено.

*Жизнь — как дорога — не одна.*

*Жизнь, как дорога — не одна.*

В первой из двух обретенных в финале строк — сравнение жизни с дорогой: путей у человека много, знай себе выбирай; вторая строка (и это подчеркнуто пунктуацией) — о том, что жизнью, как дорог, может быть несколько, вернее сказать: их число бесконечно. То, что мы

живем не в первый раз, так же верно, как то, что — не в последний. Ежегодная повторяемость Рождества — лучшее тому свидетельство. Поэтому случившееся с Фростом и его alter ego в конце декабря 1905 года повторится еще множество раз, как минимум столько, сколько будет читателей у этого стихотворения. Или: сколько будет у этого стихотворения поэтов.



Роберт Фрост

## THE ROAD NOT TAKEN

### СЛАДКАЯ БОЛЬ

Я песню нес, и чудотворный лес  
Ее впитал гремучею листвою.  
И ты пришла (мне это снится) — твой  
У края леса образ, как порез,  
Под кромкой веток чудился: не без  
Помех, но полный нежности, живой.  
Ты медлила: ступить ли внутрь, за мной...  
Ты чуяла, что я уже не здесь.

«Пусть сам меня поищет, раз он так...  
Пусть исправляет то, что натворил...»  
Я в двух шагах стоял, но я хранил  
Молчание как боль, как артефакт  
Того, что вот, я рядом, и не след  
Шуметь: мы здесь в той мере, что нас нет.

### САМОЕ ВРЕМЯ

...А как друг с дороги меня окликнет,  
Повод лошади резко укоротив,  
Не стою над грядкою с важным видом,  
Мол, работы вагон с тележкой, прости.  
Не спрошу: «Что хотел?» — а, воткнув лопату  
В почву рыхлую вниз черенком — расти  
Тут, покуда с места тебя не сдвину! —  
Сам примусь вразвалку туда брести,  
Где забор, межа на общем пути...  
«Поболтаем!» — скажу собрату.

## ТОПАЛ ЛИСТВУ

Весь день я топал по листьям, покуда носили меня ноги.  
Бог знает, сколько форм и расцветок я истоптал в итоге.  
Наверное, слишком тяжелым для них был шаг, ибо, грешным делом,  
Я страх убивал — под всем этим мягким, ломким, тугим, истлелым.

Все лето они тряслись, вознесенные к небу своими стволами.  
И долго потом летели к земле — покончив с земными делами.  
Все лето я слышал над головой листвы одышливый шепот...  
Теперь она запросто делит, как хлеб, со мной умиранья опыт.

Она угадывает во мне изгнанника, дезертира:  
Щекочет веки да мажет рот вином загнобного пира...  
Но — прочь отсюда! Еще разок стопы содвинем, как стопки.  
Я чаю, им еще предстоит в снегах протаптывать тропки.

•

...А дальше дорога развилку дала.  
Идти двумя трóпами разом не можно.  
Одна, что ли, более явной была —  
Уверенно через подлесок вела  
И, кажется, путь обещала несложный.

Я выбрал вторую, мне стало ее  
Вдруг (самую малость!) жаль: потому ли  
Что вся оцетинилась или былъем  
Тревог поросла... Но рыжим огнем  
Меня, как магнитом, обе тянули.

В то утро, шуршащее палой листвой,  
Единственный был я им двум попутчик.  
И, выбрав одну, загадал о второй:  
Мол, в следующий раз... Но знал, что другой  
Вряд ли когда представится случай.

Еще не однажды припомню, как мне  
Хрохотный шанс поменять местами  
Две тропки в некоем оранжевом дне  
Выпал. Я выбирал, или не...  
А разница — набежала с годами.

### **ОСТАНОВКА У ЛЕСА В КОНЦЕ ГОДА**

Постой, я знаю этот лес...  
Его хозяин, местный крез,  
Живет на хуторе зимой  
И от чужих избавлен грез,

Хранимый кровом. Коник мой  
Слегка занервничал: на кой  
Нам здесь торчать между дерев  
Стеной — и линзой ледяной?

Он упряжь дернул — уж не блеф  
Ли тут какой; не стог, не хлев —  
Дар мрака: тишь и глубина...  
И ветра снежного посев.

Дар леса: края нет и дна.  
Но столько миль еще до сна:  
Жизнь — как дорога — не одна.  
Жизнь, как дорога — не одна.

*Перевод с английского Санджара ЯНЫШЕВА*



С и л ь в и я П л а т

## ЭТИ КРОВАТИ

## ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Трудно представить себе Сильвию Плат автором детских стихов, однако же это так. «ЭТИ КРОВАТИ» (“The Bed Book”) были написаны в 1959 году. Сильвия тогда недавно (в 1956-м) вышла замуж за поэта Теда Хьюза. Они жили в Бостоне. Дети еще не появились (дочка родится в 1960-м, сын – в 1962-м). Тед к этому времени уже начал писать для детей. И тут редактор одного известного бостонского издательства предложила Плат идею детской книжки. В своем дневнике от 3 мая 1959 года Сильвия пишет: «Я написала книгу. Села за нее вчера утром после шести месяцев упадка и прокрастинации. В голове было несколько бессвязных строчек, Билл-Незевай и Неспячка-Сью. Из длинного списка разных диковинных кроватей я выбрала штук десять и, начав, не остановилась, пока не напечатала на машинке (и тут же отправила) 8 страниц текста с двойными пробелами. «ЭТИ КРОВАТИ» Сильвии Плат...» Рукопись редактору понравилась, но Сью и Билла было предложено убрать, из-за чего текст пришлось переписать заново. Сильвия ждала, что книга вот-вот выйдет и (за неимением собственных) решила посвятить ее приемным детям-близнецам своей подруги. Однако, в связи с переменами в издательстве, этого не случилось, и книга увидела свет только через тринадцать лет после смерти Плат – в 1976 году. Как книжка-картинка она неоднократно переиздавалась. Лучшим, на мой взгляд, иллюстратором был знаменитый Квентин Блейк. (Впоследствии «ЭТИ КРОВАТИ» выходили и в составе детского сборника Сильвии Плат – вместе с двумя другими, прозаическими историями). Насколько это легкие, полные юмора, фантазии и словесной игры стихи, судить читателю. Я же как переводчик буду очень рада, если вы откроете для себя и такую Сильвию Плат.

Татьяна СТАМОВА

## ЭТИ КРОВАТИ

Нет, это не те кровати

на пуху и на вате,  
хромовые, хромые,  
хмурые и немые,  
люльки и колыбели,  
с пологамы постели...

Это совсем не те

кровати-зевати-  
овечек-считати,  
сморкати-чихати-  
врачей-вызывати...

Нет!

Правильные кровати –  
не тахты, не полаты...

Это топчаны

для диких котов,

это качели

для синих китов,

это трапеции

для акробатов,

парусники

для бессонных пиратов...

Да!

Правильные кровати –

это не для зевоты.

Это подводные койки,

кроватьные звездолеты –

ракеты многоступенчатые-



треноги многоколенчатые,  
с квантовой пушкой,  
магнитной подушкой,  
сеткой москитной –  
метеоритной...

Правильные кровати  
не для того, чтоб скучать и  
целую ночь голодать, и...  
Правильные – *пировати!*

В полночь дают там  
пирог и салат.  
В спинку вмонтирован  
там автомат:  
кнопку нажмешь –  
всё закрыто –  
общество радо и сыто!

Есть еще кстати  
кровати пятнистые –  
как ни посмотришь,  
всегда они чистые:

в пятнышках-крапинках  
серых и синих,  
желтых, оранжевых,  
очень красивых.

Если в кровати  
пролили компот,  
и наследили  
собака и кот,  
или опять насорил какаду –  
всё это в крапинках не на виду.

И не ругает  
никто попугая,

и не боится  
        никто нагоняя!

А для любителей  
        перемещений,  
очень опасных  
        ночных приключений –  
есть вездеходы  
        и экс-кроватеры,  
что перешагивают  
        через кратеры,  
бодро карабкаются  
        через горы,  
роют себе под землей  
        коридоры...

Есть у них гусеницы и колеса,  
краны, ковши, рычаги, насосы,  
люк, чтобы спрятаться в град и метель –  
чем путешественнику не постель?

Эта кровать  
        (без перины и полога)  
предназначена  
        для орнитолога –  
к веткам подвешена высоко.  
В ней и работается легко.

Вот они птицы –  
колибри, синицы,  
враны, туканы –  
пора гнездиться!

Гнезда повесь им  
        из новой соломы,  
рядом плакаты:  
        «БУДЬТЕ КАК ДОМА!»

Ну! – открывай  
                                свой ученый блокнот,  
птичкам веди  
                                неустанный учет.  
Все прилетят  
                                от велика до мала  
к вам на крупу  
                                и кусочки сала.

Кровати, диваны,  
конечно, не очень  
легки в обращенье –  
вдруг кто-то захочет

подольше у тети  
                                родной погостить.  
А лишней кровати  
                                там нет – как же быть?

Есть чудо-кроватька:  
она до горошины  
сожмется. – У тети  
полить – и хорошего

волшебного сна!  
(Тетя Энн в восхищенье)  
Вот только гарантии  
нет, к сожаленью –

вдруг снова с горошину  
станет в ту ночь  
кроватька твоя –  
и укатится прочь?

А эта – большая и новая –  
кровать-благодать слоновая.

Отлично все помещаемся –  
и как на волнах  
качаемся.

В подарок вот ананас.  
А львам не достать до нас!

И в самый горячий день  
у нас под навесом тень.

И вволю можно валяться,  
и можно С ГОРЫ кататься,

а если вдруг стало душно –  
что лучше этого душа?

Но если мороз  
и сугробы как в Нарнии,  
кровать пригодится  
другая – полярная!

Укутайся и  
не высовывай носа.  
Здесь всё на меху –  
как в доме эскимоса.  
Здесь ты настоящий полярник –  
есть грелка, и светит фонарик,

А над головой, как соседи,  
полярные бродят медведи.

Кто только придумал  
подушки, перины?  
Вот лучше побольше бы  
были пружины!

Долой все перины  
куриные! —  
Кровати нужны  
кенгурины!

Чтоб выше подсолнухов  
прыгать и крыш,  
чтоб сов полуночных  
распугивать — КЫШШ!

Чтоб знать,  
что за облаком светится,  
Что варит  
Большая Медведица!

Чтоб дикой ракетой  
взлететь в высоту!  
И чтоб приземлиться  
потом в Тимбукту!

Да, эти кровати —  
нам в самый  
раз.

Да, эти кровати —  
как раз  
для нас:

и взлетные,  
и подводные,  
и плавные,  
и быстроходные,

для путника,  
для орнитолога,  
для тропика —  
и для холода,

карманные  
и большущие,  
и под размер  
растущие,  
для всех причуд  
и капризов,  
для фокусов  
и сюрпризов,

кровати-кареты,  
кровати-ракеты,

слоновьи уюты,  
салюты-батуты...

а вовсе не те кровати

на пуху и на вате,  
хромовые, хромые,  
хмурые и немые,  
кровати-зевати,  
овечек-считати,  
сморкати-чихати,  
врачей-вызывати...

Всё!

*Перевод с английского Татьяны СТАМОВОЙ*





**Картина мира**



*К 231-й годовщине взятия Бастилии*

**Елена Морозова.** Вандея: белое знамя против триколора. *Эссе*

Воспоминания Рене Бордеро по прозвищу Ланжевен.  
*Перевод с французского Елены Морозовой*

Е л е н а   М О Р О З О В А

ВАНДЕЯ: БЕЛОЕ ЗНАМЯ ПРОТИВ  
ТРИКОЛОРА

Вандейская война относится к самым трагическим и кровавым страницам истории Французской революции. Начавшись в марте 1793 года восстанием крестьян, взбунтовавшихся против набора рекрутов в армию Республики, она догорела лишь в 1815 году, во время Ста дней Наполеона Бонапарта, императора, строившего свою империю под трехцветным знаменем революции. Над Францией снова взвилось белое знамя Бурбонов, то самое, которое гордо разворачивали вандейские крестьяне, идя в бой за Бога и Короля. Война французов против французов велась с неимоверной жестокостью, героизм и *синих* (так называли солдат республиканской армии за их синие мундиры), и *разбойников* (так называли республиканцы вандейских мятежников) тонул в потоках крови, пролитой жертвами с обеих сторон.

Историки еще долго будут анализировать, почему одна часть народа, ради и во имя которого совершалась революция, выступила против этой революции, а другая часть народа принялась безжалостно уничтожать своих противников, нередко даже отказываясь видеть в них людей. «Комитет общественного спасения подготовил целый ряд мер, направленных на уничтожение этой мятежной породы, — заявлял с трибуны Конвента Бертран Барер. — Уничтожьте Вандею, и Валансьен освободится от австрийцев. Уничтожьте Вандею, и Рейнская область будет освобождена от пруссаков. Уничтожьте Вандею, и англичане больше никогда не займут Дюнкерк. Вандея, и еще раз Вандея, вот та язва, что разъедает сердце Республики! Разите же без пощады!»

Якобинцы, воспитанные на трудах Руссо, прославлявшего «естественного человека», не только с остервенением истребляли мятежных вандейских крестьян от мала до велика, но и местных республиканцев, поддерживавших новую власть. Солдаты Республики поджигали поля, урожай и домашний скот, оставляя после себя выжженную землю, хотя



в это время Париж остро нуждался в продовольствии. Даже генерал Лекинио, посланный Конвентом наводить порядок в Ла Рошели и Рош-форе, пишет в своих воспоминаниях: «Двое крестьян... простодушно заявили, “что если бы не убивали и не поджигали поля, война бы уже кончилась” И я думаю так же, как они».

Мятеж в Вандее, департаменте на западе Франции, территория которого охватила части прежних провинций Бретань, Анжу и Пуату, разбивал просветительское представление о добродетельном от природы народе, только и ждущем, когда просвещенные умы принесут ему свет воспитания в революционном духе. «Все усилия некоторых великих умов привлечь к общественной жизни и процветанию эту прекрасную область Франции, богатую неразведанными сокровищами, и даже все попытки правительства разбиваются о косность населения, преданного мертвящим обычаям седой старины. Эту беду довольно легко объясняет характер местности, изрезанной оврагами, потоками, озерами и болотами; вздыбленная повсюду щетина живых изгородей, своего рода земляные бастионы, превращающие каждое поле в крепость. <... > Гористая поверхность края и суеверия его жителей мешали возникновению больших поселений, а следовательно, благодетельному воздействию общения и обмена идей. Здесь нет деревень. Непрочные постройки, именуемые здесь дворами, разбросаны в одиночку. Каждая семья живет в своем дворе, как среди пустыни», — писал Оноре де Бальзак. И этих людей, непривычных к общественным формам жизни, усиленно насаждаемым революцией, по словам писателя, отличали «невероятная жестокость, дикое упрямство, но вместе с тем верность клятве; полное пренебрежение нашими законами, нашими нравами, нашей одеждой, нашей новой монетой, нашим языком и вместе с тем патриархальная простота и героическая доблесть»<sup>1</sup>.

Крестьяне составляли подавляющее большинство населения Вандеи, больших городов в департаменте не было — за исключением его столицы Нанта. Раскинувшийся в устье Луары, этот купеческий город разбогател на колониальной торговле. Среди городского населения насчитывалось немало протестантов, обосновавшихся там со времен осады Ла Рошели. Революция довершила восстановление гугенотов в правах, которых их лишил Людовик XIV, отменив Нантский эдикт, поэтому они в большинстве своем встали на сторону революции. Присутствие протестантов еще более усугубляли неприязнь между горожанами и жителями деревень.

<sup>1</sup> Оноре де Бальзак «Шуаны», пер. Н. Немчиновой

Главным авторитетом для крестьянина, трудившегося на своем поле, границами которого зачастую выступал густой, посаженный самой природой, кустарник, был сельский кюре, католический приходской священник. Он являлся не только авторитетом, духовным наставником (который по-прежнему очень не любил гугенотов), но и своего рода посредником между сельской общиной и внешним миром. Раз в неделю крестьяне непременно встречались в церкви на воскресной службе и после вознесения молитвы Господу обсуждали и решали текущие дела.

Революция, известие о которой западные провинции встретили достаточно спокойно, стремительно набирала обороты, жестко и непрощено разрушая традиционный уклад сельской жизни. Новое деление страны на 83 департамента перечеркнуло издавна сложившиеся границы провинций. (А было предложение и вовсе поделить страну на равные, квадратные департаменты...) Церковная реформа не только выставила на продажу конфискованное у церкви имущество, но и обязала священников приносить присягу на верность государству. В стремлении во всем соблюдать равенство перекраивали территории церковных приходов.

Подобные меры не могли не вызвать ответных протестов, ибо они разрушали издавна заведенный миропорядок, в котором Бог и его служители занимали особое место, никак не связанное с государством. Поэтому, когда государство присылало на место не присягнувшего кюре «своего», присягнувшего священника, не владевшего местным бретонским языком, прихожане начинали выживать «чужака». Не присягнувшие священники уходили в леса, где тайно, по ночам, проводили службы. Распродажа национальных имуществ во многих уголках Франции превратила третье сословие, являвшееся движущей силой революции, в сословие собственников. Но в Вандее этого не произошло, там, напротив, лишь усугубился раскол между крестьянами, не имевшими денег на приобретение собственности, и горожанами, скупавшими эту собственность.

Казнь короля 21 января 1793 года по приговору Национального Конвента нанесла еще один сильнейший удар по привычному крестьянскому миропорядку, в котором королевская власть являлась символом стабильности земных устоев, размеренного вращения колеса повседневности. Вместе с королевской властью стала исчезать и «звонкая монета», замененная постоянно дешевевшими бумажками.

Последней каплей в море недовольства стал объявленный Конвентом трехсоттысячный набор в армию Республики.

Вандея взялась за оружие стихийно, вожди появились не сразу, их выбирали сами мятежники, обращавшиеся в основном к местным дворянам, известным своей преданностью королю. Постепенно мятежные отряды стали обретать организованную форму, образовав Католическую Королевскую армию. Среди наиболее известных вандейских генералов — маркиз Луи де Лескюр, Франсуа Атаназ де Шаретт, принц де Тальмон, Морис Жиго д'Эльбе, Анри де Ларош-жаклен, Шарль де Боншан, Жан Николя Стоффле, Жак Кателино и Жорж Кадудаль. Шестеро дворян и трое из третьего сословия.

Королевская Католическая армия несколько не походила на регулярное войско; она то рассыпалась на отряды, то снова собиралась, несла тяжелые потери и вбирала в себя новых, необученных людей без оружия (его приходилось добывать у неприятеля), способных самовольно покинуть строй, потому что настала пора полевых работ, а дом и поле совсем рядом. В вождях также не было согласия, каждый совет становился ареной не только споров по тактике, но и борьбы самолюбий. Лучше всего вандейская армия была приспособлена для ведения партизанской войны, ибо составлявшие ее местные жители знали в лесах и болотах каждую тропку и умели мгновенно растворяться среди зарослей и холмов.

Тем не менее, командиры решили идти на Нант, хотя операция была заведомо провальной: крестьянская армия не была обучена штурмовать города. В Нант, являвшийся воротами, через которые могли вторгнуться англичане, Конвент для поднятия боевого духа и усмирения жителей, сочувствовавших вандейцам, послал своих комиссаров, среди которых особой жестокостью отличался Каррье. Наступление мятежников провалилось, а Каррье в своем донесении писал: «Разбойники полностью разгромлены, наши солдаты убивают их, берут в плен и сотнями доставляют в Нант. Гильотина не справляется, я приказал расстреливать их. Из соображений человечности я очищаю землю свободы от этих чудовищ».

«Вандеец нехотя покидает свой лесистый край. Он знает, что его преимущество заключается прежде всего в природном рельефе местности, которую он знает как свои пять пальцев; у себя в краю он лучший воин в Европе, но за его пределами он ничто», — писал генерал Тюрро, назначенный в начале 1794 года командующим Западной

армией Республики, брошенной на подавление Вандейского мятежа. Раздраженный отсутствием дорог, тонущими в грязи пушками, партизанской войной без правил, Тюрро решил зажать мятежников в огненные клещи и, разделив армию на две части, приказал ей двигаться с запада и востока, уничтожая все на своем пути, включая женщин и детей. Карательные отряды Тюрро получили название адских колонн. Но даже они не смогли полностью подавить мятеж.

Первый историк Вандейской войны Альфонс де Бошан писал в начале позапрошлого века, что за время военных действий было истреблено четверть населения Вандеи. Современный французский историк Эмманюэль Ле Руа Ладюри пишет, что в те времена погибло 23% жителей Вандеи: 175 000 при общем населении в 770 000. В любом случае страшные цифры.

Бесценные свидетельства эпохи — воспоминания очевидцев, особенно когда речь заходит о таких величайших событиях, как Французская революция, трагической страницей которой является Вандейская война. Мемуаров об этой войне со стороны вандейцев по понятным причинам сохранилось мало. Вожди погибли, крестьяне в массе своей были неграмотны... Среди немногих записок ее участников сохранились воспоминания отважной кавалерист-девицы Рене Бордеро. До самого конца войны она столь отважно воевала в мужском платье, что никто даже не подозревал о ее принадлежности к слабому полу — кроме тех редких случаев, когда ей самой приходилось раскрывать свой секрет. О Рене Бордеро (1770–1828), в сущности, известно только то, что она сама рассказала, а точнее, надиктовала о себе по просьбе мадам де Ларошжаклен и мадам Шастелле. Не упомянула Рене Бордеро лишь о том, что, выйдя из тюрьмы в 1814 году, в 1815-м она из рук герцога Беррийского из дома Бурбонов получила орден Лилии.

Буднично, без лишних эмоций Рене Бордеро рассказывает о братоубийственной гражданской войне, в которой она твердо заняла свою сторону и не отступала ни перед чем и никогда. И от ее сухого, местами даже путаного изложения, события приобретают еще более трагическую окраску.

Воспоминания Рене Бордеро приводятся с небольшими сокращениями.

ВОСПОМИНАНИЯ РЕНЕ БОРДЕРО  
ПО ПРОЗВАНИЮ ЛАНЖЕВЕН<sup>2</sup>

Я родилась в селе Сулен, возле города Анже, в июне 1770-го, у почтенных, но бедных родителей.

Чтобы подавить роялистское восстание в Вандее, в 1793-м в наш край вторглись армии республиканцев, безжалостно грабивших и убивавших всех на своем пути. Я видела, как погибли сорок два моих родственника, мой отец погиб у меня на глазах, и их гибель наполнила меня яростью и отчаянием. С этой минуты я решила посвятить тело королю, а душу Богу, и поклялась сражаться до победы или умереть.

Для начала я купила двуствольное ружье и сделала около двадцати пяти холостых выстрелов, чтобы к нему приладиться, а когда научилась попадать в цель, раздобыла мужскую одежду и присоединилась к отряду, состоявшему из пяти сотен мужчин из моего прихода.

Сначала я взяла себе имя моего брата Гиацинта, но мои товарищи не могли его запомнить, и называли меня Ланжевен; это имя за мной и закрепилось.

Мы без промедления отправились в Вандею. Когда мы проходили через Мозе, к нам присоединились еще двести человек под командованием капитана Оде. Мы прибыли в Шоле, а уже через два дня нагрянул враг, и мы вступили с ним в бой. Сначала мы терпели поражение, но потом, собрав все наше мужество, мы так яростно сражались, что одержали победу. В этом сражении нами командовал г-н де Лескюр.

Скажу честно, поначалу я все время вздрагивала при звуках ружейных выстрелов и уже отчаялась, решив, что не смогу справиться со своим малодушием. Тогда, воздев руки к небу, я обратилась к Господу: «Господи, Боже мой, неужели ты не дашь мне храбрости, чтобы сражаться с твоими врагами?» И тотчас случилось чудо: я почувствовала, что больше ничего не боюсь. С тех пор благодаря Господу я больше не боялась.

---

<sup>2</sup> L'Angevin — анжуец (*фр.*)

Из Шоле мы двинулись в Сен-Флоран; там мы тоже одержали победу и захватили два орудия. Свернув к Жалэ, мы и там взяли верх, и нам досталось еще два орудия. Потом я участвовала в бою при Туаре, состоявшемся 5 мая; там я два часа сражалась в пешем строю, а моего коня держал аббат Ферре.

Нашим командиром по-прежнему был г-н де Лескюр; когда наши явились к нему с криками и требованиями боеприпасов, которых нам не хватало, он без колебаний ответил нам, махнув рукой в сторону *синих*: «Друзья мои, они там». И он оказался прав: в ходе боя мы захватили все неприятельские пушки и ящики с боеприпасами. Мы победили, но победа обошлась нам очень дорого: пришлось вброд пересекать реку; вода стояла нам по грудь, а враг обстреливал нас из-за укреплений. Переправившись на другую сторону, мы пошли на штурм стен, и, хотя нас отовсюду обстреливали, мы захватили город и взяли много пленных.

Дальше мы двинулись на Фонтене, где потерпели поражение и потеряли два орудия и много людей.

Но через два часа мы собрались, вернулись, одержали победу и забрали наши пушки и взяли новые.

Через две недели я участвовала в продолжительном сражении под Сомюром. Сначала наша атака со стороны Сен-Флорана захлебнулась, но потом две сотни отважных всадников, и я среди них, набравшись храбрости, снова устремились на врага. Уничтожив пятьдесят кирасиров на мосту Фушар, наш отряд сплотился и наголову разбил противника. Мы вошли в крепость Сомюр, и три тысячи республиканцев вынуждены были капитулировать.

Тогда я попросила своего командира, г-на Дюу, разрешить мне поехать в Шемийе, чтобы набрать еще людей. Там я нашла г-на Кади, уже собравшего пять сотен добровольцев, так что на следующий день нам всем предстояло выступить в Пон-де-Се, а оттуда в Анже на соединение с основной армией.

Изнывая от скуки в Пон-де-Се, я вместе с двумя кавалеристами имела неосторожность съездить в Анже пообедать у девиц Руже. Проезжая на обратном пути мимо Дуба Свободы, мы хотели срубить его, но потом передумали, решив не рисковать, ибо об него можно было сломать саблю. Трое республиканцев, увидев, как мы размахиваем оружием, потребовали от нас вложить сабли в ножны. Мы ответили, что сейчас превратим в ножны их желудки, и они

испугались и убежали. Мы миновали республиканского часового, который не осмелился остановить нас, и вернулись в Понт-де-Се, где заставили сотни две местных патриотов, явившихся поглазеть на нашу армию, снять трехцветные кокарды.

После взятия Анже мы двинулись на Нант, на подступах к которому бой длился весь день; оставив лошадь в укрытии, я сражалась четыре часа на своих двоих, и нам удалось даже дойти до предместий. Там мы с товарищами решили заскочить в ближайший дом, надеясь найти там хлеб, и в дверях столкнулись с двумя республиканскими солдатами. Одного я застрелила из своей двустволки, а другого убили мои товарищи. В этом бою погибли одиннадцать человек из моего прихода, а наш генерал Кателино получил пулевое ранение, и его унесли; через некоторое время он выздоровел, и в Бретани еще не раз водил нас в атаку. Потеряв много смелых бойцов, мы вынуждены были отойти, и я вернулась за своей лошадью. Мы отступили вглубь Вандеи.

После недолгого отдыха мы двинулись на Мартинье, селение, занятое врагом. Колонна, где находилась я, одержала победу; левую же колонну полностью разгромили, и нам пришлось отступить. Пулей меня ранило в ногу. Мы захватили в плен четырех республиканцев, и я, несмотря на отступление, сумела сохранить отобранные у них ружья. Нами тогда командовали гг. де Ла Сориньер и Стоффле.

Отступая, многие из наших солдат остановились у источника, чтобы напиться, но синие отравили источник, и более двух сотен несчастных скончались от яда.

Когда мы подошли к Бриссаку, я показала расположение складов боеприпасов, принадлежавших республиканцам; мы захватили их и разоружили много врагов.

Я участвовала в сражении при Люсоне, когда командовали гг. де Лескюр и де Ларошжаклен; тогда моего коня ранили трижды; меня тоже ранило, и меня сочли мертвой, потому что пуля задела голову. До сих пор, когда плохая погода, голова у меня начинает болеть. Конь сумел перенести меня через реку, но, выбравшись на берег, пал мертвым. Мы отступали по равнине, где неприятель преследовал нас на протяжении трех лье; за время отступления мы потеряли примерно две тысячи человек, но мы с товарищами сумели уничтожить шестерых врагов и захватить пять лошадей, и я снова получила коня.

Когда мы вошли в Шантоне, я захватила казну республиканцев и передала ее своим командирам, которыми в то время были гг. де Лескюр, Стоффле и де Ларошжаклен.

В Дуэ нам учинили полный разгром. Я спасла раненого, посадив его на коня позади себя. Во время отступления я храбро сражалась, несмотря на сидевшего у меня за спиной раненого. По дороге мы наткнулись на три брошенных орудия и забрали их с собой вместе с тремя ящиками боеприпасов.

Мы двинулись на Шатийон-сюр-Севр, захваченный республиканцами под командованием Вестермана и одержали безоговорочную победу. Наши люди были очень озлоблены против *синих*, которые выжгли все вокруг, а потому мы долго их преследовали, и местные жители очень нам помогали, особенно женщины. А несколько женщин, вооружившись железными вилами, взяли в плен двадцать *синих* и доставили их к нам; республиканцы были полностью разгромлены. Мы забрали их пушки, оружие и боеприпасы. Тогда нами командовали гг. де Лескюр и де Ларошжаклен.

Несколько дней мы шли за противником по пятам, но в преследовании своем зашли слишком далеко, и я дерзнула сказать об этом нашим командирам; мы повернули назад, но поздно: столкновения избежать не удалось; во время этого боя я сражалась только саблей. Вынужденные отступить, мы прибыли к Шатийону; по дороге враг, следовавший за нами по пятам, изрубил нескольких отставших наших. Снова вооружившись мужеством, мы отбили нападение республиканцев, и те отступили. Город ни мы, ни *синие* не захватили, но нам пришлось бросить все, что удалось отнять у неприятеля.

На следующий день г-н Мушетт со своими четырьмя сотнями солдат вошел вместе с нами в Шатийон; считалось, что в городе мы столкнемся с врагом, но там никого не оказалось. Забрав все найденные нами орудия, а также оружие и боеприпасы, мы вернулись в Молеврие и в Шоле.

Через несколько дней гг. Стоффле и Кади привели нас в Ла Рош-д'Арене, что возле Пон-де-Се. Эти места я знала очень хорошо, потому что в одном лье отсюда находилось мое родное селение. Оставив коня, мы с восемью пехотинцами из моего прихода устроили засаду возле моста. Мы укрылись между камней, а когда увидели, что *синие* хотят перейти через мост, принялись стрелять, не переставая; с фланга на них стремительно набросились подоспевшие



наши, и республиканцы, не зная нашей численности, стали прыгать в Луару, в водах которой их погибло не меньше шести сотен.

Спустя немного времени я с отрядом в двадцать пять человек на том же самом мосту снова преградила путь республиканцам. Наша армия, атаковав противника возле Рош-де-Мюр, обратила его в бегство; отступая, республиканцы захотели перейти через мост, но мы открыли по ним такой частый огонь, что они бросились в Луару, где их утонуло не менее тысячи. Помню, вся вода покрылась их шляпами. Мы снова захватили артиллерию и весь провиант противника. Об этих подвигах узнали повсюду, и наши командиры, среди которых гг. Стофле и Кади из Сен-Лорана, очень меня хвалили.

Расположившись на склонах Болье, неподалеку от Барре, враг направил свой авангард к Сен-Ламберу. Когда мы подъезжали к Сен-Ламберу, авангард республиканцев уже отошел от лагеря на четверть лье. Я настигла четверых республиканцев и убила их собственной рукой. У одного из них на штыке был наколот полугодовалый младенец и две курицы.

Вступив с авангардом *синих* в бой, мы сражались на протяжении двух часов, но не сумели продвинуться вперед, хотя и не отступили. Я поскакала к виноградникам, где укрывались пехотинцы, желая подбодрить их и призвать продвигаться побыстрее; внезапно вокруг меня полетели пушечные ядра; три ядра упали совсем рядом со мной, и я растерялась, не зная, в какую сторону бросаться. С одной стороны у нас река, с другой разрушенный мост, а наверху, на склоне *синие*, а так как мы находились внизу, противник получил над нами полное преимущество. *Синих* насчитывалось от двадцати пяти до тридцати тысяч, а нас всего пятнадцать тысяч.

Очень трудно представить себе, с какой жестокостью французы воюют против французов. Республиканцами командовал генерал Дюу, а нами его брат, шевалье Дюу, бывший одним из самых храбрых командиров.

Так как я хорошо знала местность, я сказала г-ну Дюу, что могу провести пять сотен людей потайными тропами в такое место, откуда они смогут внезапно атаковать республиканцев. Он мне поверил, и я незаметно вывела его отряд в пять сотен храбрецов туда, откуда они зашли республиканцам с фланга, чего те не ожидали. А так как напали мы внезапно, то противник решил, что нас гораздо

больше, чем на самом деле, и быстро сдали свои позиции. Мы же не остановились и бросились за ними в погоню, в результате которой республиканцы потеряли более двух тысяч убитыми. Земля на два лье в длину и на пол-лье в ширину покрылась мертвыми телами; почти все убитые были родом из Анже; в тот день в этом городе больше восьмисот жен стали вдовами. В тот же день мы одержали три победы в трех разных местах.

Я постоянно находилась в гуще схватки, и, когда моего коня ранили штыком в шею, я продолжала яростно рубить саблей направо и налево; сама я тоже получила сабельный удар в правую ногу, но не покинула поле битвы.

Сразив пятерых врагов на подступах к Луаре, в Пон-де-Се я в конце дня сломала на улице саблю о голову своего последнего противника. Увидев, что рядом со мной остался только один из наших, я вместе с ним поскакала к основным силам нашей армии. В тот день одна лишь я уничтожила два десятка врагов; сама я их не считала, об этом мне сказали те, кто сражался рядом со мной, и, если бы не они, я бы об этом говорить не стала.

Вечером я вместе с двумя кавалеристами, добрыми братьями Мартен из Мозе, поехала в Болье к девице Фардо; мы прибыли к ней в одиннадцать вечера. У нее нас накормили супом, и мы вместе съели двух кур, что я забрала у республиканца, который нес их на своем штыке вместе с младенцем.

Отдохнув пару дней, мы направились в Алансон, а по дороге обезоружили двенадцать национальных гвардейцев, слывших предателями. Рядом, в Вокретъене, мы разоружили еще шестнадцать сторонников Республики, а тамошний мэ́р, завидя нас, все бросил и скрылся в лесу Бриссак. Мы неспешно двинулись в Сен-Мелен, что возле Бриссака, и там разоружили еще два десятка местных гвардейцев, шпионивших в пользу *синих*, а также *чужака* (конституционного священника), оказавшегося при оружии; таких мы ненавидели особенно.

Как оказалось, одну роту тамошних гвардейцев возглавлял мой собственный дядя; меня он не узнал и, приняв нас за своих, обратился ко мне: «Поспешим, *дорогой гражданин*, *разбойники* уже близко». Я сохранила горькое воспоминание о том, что именно он командовал теми, кто убил моего отца и выгнал нашего доброго коуре; тогда он говорил, что если бы он мог, то уничтожил бы всех

роялистов до последнего. При этом воспоминании меня охватила такая безмерная ярость, что я перерезала ему глотку и ушла, не став смотреть, как он испустит последний вздох; так же мы поступили и с шестью гвардейцами из его роты. Остальных мы пощадили, взяв с них обещание, что они больше не будут против нас шпионить и сражаться.

Затем наша армия направилась в Шоле, чтобы дать сражение Майнцской армии; но хотя нас было много и в стенах города наши солдаты отважно сражались холодным оружием, мы потерпели поражение. К нашему несчастью, в этом бою смертельно ранили генерала де Боншана, и это повергло всех в уныние. А так как командиры, и в их числе принц де Тальмон, уже давно хотели переправиться на другой берег Луары, мы в ту же ночь вернулись в Сен-Флоран и 16 октября с превеликим трудом переправились через реку при отсутствии моста и имея ничтожное число лодок. Я преодолела реку вплавь на своем коне.

Перед переправой на другой берег, мы отпустили на свободу десять тысяч пленных, которых просил помиловать г-н де Боншан; но как только они оказались на свободе, как тут же подожгли все вокруг и начали обстреливать наших, не успевших переправиться вместе с основными силами.

Прибыв в Канде, я вступила в рукопашную схватку с противником и убила двух пехотинцев и одного гусара, чью лошадь я продала за 300 франков, а деньги отдала г-ну Муше де Шемийе, коменданту нашего округа, у которого было двое детей, но не было средств к существованию.

По дороге в Лаваль я захватила в плен комиссара республиканцев, и мои товарищи захотели его расстрелять. Я спасла ему жизнь, потому что он сумел доказать мне, что у него в доме укрываются три не присягнувших священника. Поэтому я велела вернуть ему отобранные 1500 франков и лошадь. В Лавале я остановилась в доме этого комиссара и прожила там четыре дня вместе с Муше де Шемийе и его двумя детьми. На следующий день состоялся бой в Ландах, во время которого мы вошли в такое тесное соприкосновение с противником, что хватали боеприпасы из одних и тех же ящиков, ибо узнать друг друга возможно было только при вспышках выстрелов.

Два или три дня спустя мы снова ввязались в бой, превратившийся в ужасную резню, во время которой мы уничтожили три

четверти армии противника. В этом сражении бравый кавалерийский капитан по имени Фрей, а по прозвищу Транш-Монтань<sup>3</sup>, собственноручно уничтожил десяток врагов; весь покрытый ранами, он упал с коня на поле боя и, недвижимый, остался лежать среди трупов; все решили, что он погиб, но когда на следующий день его нашли, он все еще дышал.

Еду в авангарде вместе с одиннадцатью кавалеристами и завидев авангард противника, состоявший из трех гусар, я сказала своим товарищам, что по мне, так лучше отступить. «Вы трусили», — ответили они мне. «Нет, я не трусил, — отвечала я, — но я вас не знаю, и боюсь, что вы можете меня бросить». Так оно и случилось; стоило мне ступить на мост, как они пустились наутек. Спасаясь от гусар, я вместе с конем прыгнула в воду, вплавь догнала бросивших меня всадников и, выбравшись на берег, сумела уговорить их перейти в наступление. Мы сумели договориться, прежде чем вражеский отряд перебрался на наш берег. Подавая пример, я поскакала на врага и получила удар саблей; двое моих людей были убиты. К счастью, на помощь пришел взвод нашей кавалерии, он и спас меня. Рана не помешала мне мчаться в первых рядах нашей армии и воодушевлять солдат, призывая их исполнить свой долг. После победы я вернулась в Лаваль, в дом спасенного мною комиссара, где перевязала себе руку; комиссар оказывал мне помощь и заботился обо мне. На следующее утро я вышла и у подножия большого каштана стала тренироваться в стрельбе левой рукой, чтобы, как только армия выступит в поход, по-прежнему сражаться в авангарде.

Спустя два дня армия вышла из Лавалья, и я, как обычно, намеревалась ехать в первых рядах. Увидев, что я ранена, г-н Стоффле обогнал меня и угрожающе спросил: «Раз ты ранен, зачем ты вылез вперед?» Решив пошутить, я сказала, что хочу, чтобы меня побыстрей ранили второй раз, а потому поеду в первом ряду. Он угрожающе замахнулся на меня саблей, намереваясь ударить плашмя. Но тут г-н Морнар из Анже, числившийся со мной в одной роте, остановил его и сказал, что я один из лучших кавалеристов, и, если бы генерал знал меня, он бы и не подумал меня наказывать. «А что, он такой знатный сеньор?» — «Нет, сударь, но повторяю, это один из самых храбрых ваших кавалеристов и потому рвется сражать-

<sup>3</sup> Tranche-Montagne — фанфарон (фр.)

ся в первых рядах армии и готов погибнуть за наше дело». Тогда генерал потребовал, чтобы ему сообщили мое имя. Г-ну Морнару пришлось назвать его, и с этой минуты генерал Стоффле всегда видел во мне своего самого преданного солдата и до самой своей гибели доверял мне как храброму и умелому воину.

Из Лавалья мы направились в Фужер, где, ворвавшись в город, мне пришлось вновь орудовать саблей; затем мы захотели взять Арне, и я направилась туда с сотней всадников; однако, увидев превосходящие силы противника, наши кавалеристы дрогнули и бросились в беспорядке отступать. Взяв на себя обязанности командира, я сумела восстановить порядок, и мы собранно, как подобает, соединились с основными силами нашей армии и вместе со всеми отбросили врага.

Двигаясь днем и ночью, армия прибыла в Доль, оттуда двинулась в Понторсон и далее в Авранш. Я начала постепенно пользоваться раненой рукой и даже зарубила ею двух всадников противника. Нам удалось освободить четыреста пятьдесят священников, содержащихся в тюрьме, устроенной в аббатстве Мон-Сен-Мишель.

Возле Доля состоялось сражение, длившееся с восьми вечера и до десяти утра; за это время меня дважды посылали в Доль за боеприпасами и пушками. В третий раз меня отправили привести с собой оставшихся людей.

Этот приказ вызвал в городе панику, но тут появился г-н Стоффле и навел порядок. Меня же с вместе с десятью верными людьми он отправил в расположение артиллерии сообщить нашим, что враг разбит на дороге в Арнэ и гг. де Мариньи и де Ларошжаклен преследуют его.

Далее мы направились в Ла Флеш, где сражались днем и ночью, и в авангарде, и в арьергарде.

Вместе с товарищами меня направили в дозор, разузнать, не приближается ли неприятельское подкрепление. Через пол-лье мы встретили одиннадцать гусар-республиканцев, которые спросили нас, не хотим ли мы выпить с ними по стаканчику. Мы ответили, что с превеликим удовольствием, потому что хороший солдат не может бояться другого солдата, и нас тоже мучит жажда. Выпив вместе три бутылки вина, мы разъехались, а когда оказались на расстоянии выстрела, застрелили одного и ранили двоих; они, в свою очередь ранили двоих наших, а потом пустились в бегство.

Мы долго преследовали их, не переставая обстреливать из ружей и карабинов.

Когда мы решили вернуться в Ла Флеш, мы обнаружили, что мост разрушен, а на берегу собралось не менее двух сотен наших, в основном моих земляков. Спешившись, я взяла командование на себя, и мы быстро раздобыли более двух десятков лодок, способных выдержать каждая до двадцати человек. Так мы переправились через реку и вошли в Ла Флеш; враг же, решив, что прибыли наши главные силы, бежал из города, оставив его нам. Мы вернулись к реке, на берег которой вышли основные силы нашей армии, и с помощью веток и стволов деревьев соорудили переправу, по которой смогли перейти и армия, и артиллерия.

В Ла Флеше армия провела всего два дня, а потом отправилась в Ле Ман.

В этом городе я купила коня, но в тот же день одолжила его г-же и девице де Шабо де Мортань, ибо видела, как им трудно идти, потому что они несли на руках младенца. Еще я отдала им 500 бумажных франков; я потеряла и коня, и деньги, ибо они, к несчастью, погибли, но я готова была потерять и больше, лишь бы только они остались живы.

После нескольких маленьких побед мы прибыли в Ле Ман, но враг продолжал нас преследовать, и в город мы вошли с боем. Оставшись без боеприпасов в самом пекле баталии, я продолжила сражаться саблей. Вечером и, как оказалось, очень вовремя, я отправилась разведать, что происходит на подступах к городским стенам. Я увидела, что враг подтащил две пушки, явно надеясь под покровом ночи сделать попытку проникнуть в город; увидев, что его обнаружили, враг отступил. Но на следующий день, ранним утром, между четырьмя и пятью часами, республиканцы снова явились, и мы столкнулись с ними нос к носу. После недолгого сражения мы заставили их отступить на полтора лье, убили много их солдат и захватили две или три пушки. Однако они вернулись снова, мы в третий раз отбили атаку и прогнали их до самого елового леса; но к ним прибыло подкрепление, мы отступили в город и всю ночь вели бой в его предместьях.

С пяти утра и до четырех дня, а потом еще и всю следующую ночь я сражалась, обходясь без пищи, равно как и мой конь. Мне удалось подобрать семь ядер, упавших возле меня, и я отвезла их нашим канонирам, чтобы те вернули их противнику.

Мы не хотели верить, что нам придется покинуть город, но поняв, что помощь не придет, были вынуждены начать отступление.

В трех лье от Ле Мана я с товарищами встретила генерала Дюю. Он сумел спасти горстку раненых и теперь сопровождал их. Мы сказали ему, что надобно продвигаться как можно быстрее, потому что враг идет за нами по пятам. «Нет, — ответил он, — я буду его ждать здесь, а там либо погибну, либо останусь жив, но не оставлю раненых». Видя его упорство и понимая, что мы ничего не можем сделать, мы двинулись дальше.

Потом мы узнали, что несчастного г-на Дюю убили вместе со всеми ранеными и женщинами, которые их сопровождали. Я со своими земляками присоединилась к армии в Лавале, и оттуда мы двинулись на Ансени.

С пятнадцатью товарищами я переправилась через Луару на кое-как соединенных между собой бочках и досках. Гг. Стоффле и де Ларошжаклен вместе с четырьмя сотнями солдат переплыли на старом корабле, давшем течь. Во время этой переправы нас постоянно обстреливали с вражеских лодок, прибывавших со стороны Анже, но мне повезло добраться до берега в целостности и сохранности.

Большая часть нашей армии использовала плоты, а тех, кто не успел найти способ вовремя достичь другого берега, через несколько дней разгромили и рассеяли возле Савене.

Вернувшись на землю Вандеи, я с пятнадцатью товарищами присоединилась к Кателино. За Кателино шло много людей, пять или шесть сотен. Так как мы пришли пешком, один человек дал мне коня. Потом мы участвовали во многих стычках с противником.

Мы намеревались квартировать в Монфоконе, однако примчавшийся из разведки кавалерист сообщил, что нас окружают три колонны *синих*; потом выяснилось, что тревога оказалась ложной, но наша армия, усталая и потерявшая в численности, не имела сил сопротивляться и растворилась: лесными тропами все разошлись по домам. Со мной осталось пятнадцать кавалеристов, и мы направились в Гобертьер, надеясь найти там г-на де Шаретта; не найдя его, мы, все пятнадцать, вернулись в приход Неви. Там мы провели два месяца, не зная, где сейчас наши командиры; они также прятались в укрытиях, о которых не знал никто: они опасались предательства.

За это время нам несколько раз удалось нанести урон противнику. Как-то раз мы встретили шестерых жандармов, сопровождавших

арестованных г-на де Лабуара из Жалэ и сестру г-жи де ла Поммельер из Лавуара; пленников мы освободили, а жандармов захватили вместе с конями. Потом мы разбили отряд из пятидесяти республиканцев.

Хотя нас было всего пятнадцать, однажды нам удалось так напугать две сотни республиканцев, сопровождавших четыреста голов скота, что они бросили свою добычу, и скотина разбежалась. А еще мы схватили четырех крестьян-республиканцев и троих жандармов, которые гнали шесть десятков баранов и везли четырнадцать мер зерна, и уничтожили их, а припасы забрали себе.

В то время мы размещались в окруженной лесом хижине, находившейся во владениях г-жи де ла Поммельер, которой принадлежала ферма Ла Бросс. Мы каждый день приходили на ферму, хотя *синие* тоже часто туда заглядывали, иногда человек по сто, а может, и больше.

Однажды, когда я была больна, они чуть не застали меня врасплох, я едва успела спрятаться в кустах, мимо которых они прошли в нескольких шагах; мне очень хотелось выстрелить в них, но я боялась скомпрометировать обитателей фермы.

В другой день в сумерках я нарвалась на часового республиканцев, и он уже прицелился в меня, но выстрелить, несмотря на небольшое расстояние, не решился, как и я: мы оба боялись промахнуться в темноте и, погрозив друг другу, разошлись в поле пшеницы.

Как-то раз, когда мы, все пятнадцать, шли вместе, *синие* выследили нас и окружили, и нам пришлось прорываться сквозь выстрелы; но хотя стреляли в нас очень часто и с довольно близкого расстояния, никого не задело. На мне в тот раз были кавалерийские сапоги, и я не могла бежать достаточно быстро, а потому прыгнула в ров с водой и просидела там более получаса, высунув из воды только голову. Меня никто не заметил, а мои товарищи решили, что я погибла, и стали меня оплакивать; когда же я выбралась из рва и пришла к ним, все посмеялись от души.

Нам надоело бродить самим по себе, и мы отправились на поиски наших командиров. Наконец, мы нашли гг. де Ларошжаклена, Стоффле и де Боже в лесу Везен: они скрывались в наспех сооруженных шалашах. С криком «Стой, кто идет?» г-н де Ларошжаклен, приняв нас за врагов, преградил нам путь; мы тоже сочли, что перед нами враг, и ответили «*республиканцы*». К счастью, г-н де Ларошжаклен



узнал мой голос. Все трое подошли к нам; и г-н маркиз де Боже спросил, чего мы хотим. Мы ответили, что мы, собственно, его и искали, и хотим снова собрать войско. «Вы очень храбры, друзья мои,— отвечал он,— но сейчас не время, и я не хочу приносить вас в жертву». Мы заверили его, что будем сражаться под его началом до самой смерти, и он отправился вместе с нами.

Мы привели его в Ланды, возле селения Кабурн. Как только стало известно о нашем прибытии, к нам тут же присоединилось шесть сотен добровольцев. Не желая подвергать нас опасности, г-н маркиз вместе с нами перебрался в лес Шемийе. Оттуда он отправил меня вербовать людей, и я привела ему еще две сотни человек, скрывавшихся на тамошних полях и фермах. Тогда же прибыл г-н Рену с тремя сотнями людей. Поддержка со стороны этого бравого командира придала нам мужества, и мы были готовы сражаться дальше.

Однажды я отправилась в лес к г-ну Стоффле, и мы с ним поехали на разведку. По дороге мы встретили двоих гусар и одного *чужака*. Гусар мы схватили, а *чужаку* удалось улизнуть. Он примчался в селение Жюмельер и сообщил о нас республиканцам. Те отправились в лес и стали нас искать, но не нашли и решили, что *чужак* нарочно поднял ложную тревогу, и убили его, а труп бросили вместе с телами тех двадцати пяти мужчин и женщин, которых они уничтожили в Жюмельере.

А мы в это время уже шли к Грото, где одержали победу над четырьмя сотнями республиканцев. На следующий день мы отправились в Жюмельер, чтобы пополнить запасы продовольствия, но ничего там не нашли, кроме следов крови, пролитой несчастными жертвами.

Оттуда мы направились в Шемийе, где утром, в восемь часов, враг намеревался уничтожить восемьсот женщин; мы прибыли в половине восьмого, освободили всех несчастных, спасли их от смерти и одержали полную победу.

Надо сказать, никогда еще я не сражалась с таким рвением, как в тот раз; жестокость республиканцев наполнила меня яростью, и я убила сразу двоих: одного выстрелом из пистолета, а другого ударом сабли.

Мы забрали у врага четыреста голов скота, всех лошадей и всю артиллерию, и три лье тащили ее по дороге. Но враг набросился на

нас с удвоенной силой, нам пришлось все бросить, а наш добрый генерал г-н де Ларошжаклен принял очень мудрое решение: отвел нас в лес Везен. У нас не было ни хлеба, ни муки, ни сена для лошадей. И хотя я забрала у врага трех лошадей, их пришлось бросить. Потом, сумев пробраться через республиканские заслоны, я добралась до фермы, где нашла печь, полную хлебов, которые мы вместе с товарищами забрали и отдали нашему генералу, а тот разделил их поровну. На следующий день наше лесное пристанище окружили, и нам пришлось через овраги и речки выбираться из окружения: пешие переправлялись с помощью наших лошадей, держась за их хвосты.

Мы вышли к Серизе; всюду, где бы мы ни проходили, к нам присоединялись честные люди. Мы встретили г-на Ришара, бравого капитана, у которого под началом было четыреста человек. Когда мы увидели, что враг полностью сжег Малевриер и Изерне, мы бросились за ним в погоню, но силы оказались неравны, и мы отступили в лес. Конь у меня тогда был плохонький, и с ним я чуть не попала в руки противника. Под двоими нашими убили лошадей, и они рухнули прямо передо мной, но у меня хватило смелости не отступить и спасти обоих всадников. Но в конце концов мы все рассеялись в разные стороны. Мы с моей ротой переночевали в Теремантине.

На следующее утро я отправилась на поиски наших командиров. Найдя их в лесу Везен, я увидела, что отряд, который сопровождал их, насчитывает не более ста человек. Г-н Стоффле отправил меня в окрестные приходы набирать добровольцев; я выполнила его задание, и на следующий день наш отряд уже насчитывал около двух тысяч человек.

Затем мы направились в Бопрео, где одержали полную победу над врагом. Я с двумя солдатами погнались за командиром республиканцев, мы убили его, и я забрала себе его коня, а его чемодан и все что в нем было, отдала солдатам.

В день Сретенья 1794 года мы переночевали в Жете. На следующее утро меня в числе многих назначили сопровождать генерала Стоффле в Грипьер. Пока мы находились в Грипьере, сообщили, что в Жете идет бой. Выслушав донесение, мы поспешили к нашим. Уже издалека мы увидели, что наши отступают в полном беспорядке. Бросившись наперерез бегущим, я закричала, что привела с собой

тысячу человек подкрепления. Мне поверили, и, объединившись, мы одержали полную победу.

По ночному времени мы двинулись на Шоссер, и на дороге увидели пять телег с мукой, которых сопровождали три республиканца. Заметив нас, они начали нас обстреливать, и наш отряд разделился на две части. Не обращая внимания на выстрелы, я с четырьмя кавалеристами помчалась прямо на врага и застрелила всех троих. Но эта стычка в сумерках напугала многих наших, так что нам с большим трудом удалось удержать всех вместе, чтобы никто не разбежался. В Ландах мы присоединились к генералу Стоффле, одержавшему к этому времени несколько побед. Но в Бопрео нас разбили наголову.

По дороге на Везен мы столкнулись с вражеским авангардом. Мы с десятью всадниками ввязались в схватку и захватили сначала шесть, а потом еще пять лошадей. В Лире нам пришлось спасаться бегством; из-за поднятой множеством ног и копыт тучи пыли мне удалось в самой гуще республиканцев скрепить разорвавшиеся подпруги седла: я была вся в пыли, и они приняли меня за своего.

При отступлении трое гусар бросились за мной в погоню. Спасаясь от преследования, я наткнулась на раненого, который умолял меня не бросать его. Тогда я остановилась и, отбиваясь, убила двоих гусар, а третий развернулся и ускакал. Посадив раненого позади себя, я привезла его в замок Лавуар, где меня уже и не ждали, тем более, что товарищи мои сказали, что они видели, как меня ударили саблей; но со мной ничего не случилось, только кобыле моей отсекли ухо.

Двигаясь в сторону Брессюира, мы встретили противника, подпустившего нас довольно близко, ибо поначалу он решил, что это к нему идет подкрепление. Мы очень удивились, ведь над нами развевалось белое знамя. Честно говоря, мы думали, что этот бой станет для нас последним, но мы сражались так храбро и так быстро перезаряжали наши ружья, что сумели отбросить врага, и, если бы не опустилась ночь, никому не удалось бы от нас уйти.

Когда мы ночевали в Аржантоне, генерал Стоффле велел приговорить к смерти Пике, дезертира из войска республиканцев, которому поручили командовать кавалерией; этот Пике ночью пытался совершить насилие над женщиной. Некоторые стали просить генерала пощадить Пике, но честные люди громко по-

требовали его казни, утверждая, что если оставлять преступления безнаказанными, вся армия погибнет. Несчастную женщину спасли мы с моими двумя товарищами: ночью мы услышали шум и бросились к ней на помощь. Разоблаченного нами преступника расстреляли на глазах у всей армии. И если бы не нагрянул враг, мы бы покарали еще двоих его приятелей. А в следующем сражении этих двоих ранили, и их оставили в хижине, что в чаще леса Везен. Через несколько дней (Бог ничего не оставляет безнаказанным), республиканцы вошли в лес и сожгли раненых вместе с хижинами; к несчастью, они сожгли не только двух негодяев, но и много добрых людей.

В те дни, когда мы сражались между Нуайлем и Шоле, мы имели несчастье потерять г-на де Ларошжаклена. Какой-то республиканец, чудом оставшийся в живых после того, как мы убили пятнадцать его товарищей, увидев, что он окружен, с десяти шагов выстрелил в г-на де Ларошжаклена из пистолета и снес ему череп. Армия погрузилась в траур, каждый оплакивал гибель генерала, словно гибель собственного отца. Долгое время его смерть скрывали, говорили, что он ранен и прячется.

Все же мы двинулись на Шоле, где я сражалась с удвоенной силой. Армия разделилась на три колонны: г-н де Боже командовал левой, г-н Рену правой и г-н Стоффле центром. Враг был отброшен; в городе началась резня: г-н Рену уничтожил сорок республиканцев, укрывшихся за стенами кладбища. Мы преследовали врагов более полутора лье, но они получили подкрепление, и нас отбросили назад. В тот день все наши храбрые и отважные командиры пешими сражались на улицах города.

Мы медленно продвигались к Шавану, где потерпели поражение. Однако в Кайюдьере мы разбили врага наголову и вернулись только на следующее утро. Зайдя к себе, я обнаружила, как одиннадцать солдат генерала Шаретта растаскивают мои вещи. В ярости я выстрелила и ранила одного из них. Я тотчас доложила обо всем генералу Стоффле, и тот сказал, что я правильно не дала им спуска: им было бы больше чести, если бы они преследовали врагов, нежели грабили меня.

В Вандее я чаще всего останавливалась в Шамийе, а также в замке Лавуар, где в окрестных фермах от ярости палачей скрывались несчастные женщины, дети, священники и бедные старики; чтобы

охранять и защищать их, я днем и ночью обходила дозором окрестности, проходя иногда пять и даже шесть лье.

В один из дней *синие*, покинув Сен-Лоран, где они все сожгли и всех перебили, не пощадив даже здешних своих сторонников, пришли в Шалон. Наш дозор предупредил о наступлении противника. Хотя нас было мало, я немедленно собрала всех, кого смогла. Всего оказалось примерно триста человек, и мы сумели отбросить врага на другой берег Луары. После этой победы меня захотели назначить командиром и даже предложили выделить мне секретаря; однако я отказалась, заявив, что не могу занимать такой высокий пост.

Наконец пришло время говорить о мире. Вместе с четырьмя кавалеристами меня отправили в Анже с письмами для представителя Делоне. На обратном пути я встретила с *чужаком* из Жюине, который прямо посреди улицы дерзко дал мне пощечину и велел жандармам арестовать меня; жандармов было двое, и они без труда отвели меня к г-ну Мижонетту, коменданту городка. По дороге они говорили, что мне надобно отрубить голову, потому что я всегда сражалась во главе роялистов и очень опасна для республики; мы шли больше четверти часа, и все это время они замахивались на меня саблями. Им очень повезло, что я была безоружна!

Наконец, их махание мне наскучило, и, приготовившись умереть, я схватила обеими руками их сабли, подняла их над головой и отважно заявила, что если я и заслужила смерть, то не им приводить приговор в исполнение — их дело отвести меня к представителю; наконец, меня доставили в ратушу. В первой комнате, куда меня втолкнули, ко мне отнеслись очень дурно, во второй немногим лучше. Мне сказали, что очень глупо сражаться за короля, да еще под командованием таких плохих и трусливых командиров, которые даже не позаботились наградить меня. Но если я столь же верно буду служить правительству, оно не оставит меня своей щедростью. Я ответила, что воевать меня никто не заставлял, что я делала это по убеждению, но, если они вернут мне живыми моего отца и сорок одного родственника, которых они убили, я обещаю стать добрым республиканцем (я говорила «добрым республиканцем», потому что по-прежнему выдавала себя за мужчину). Они мне сказали, что это невозможно. Что ж, ответила я, значит, мне не суждено стать республиканцем. Тогда они дали мне пропуск и как посланца отпустили,

посоветовав быть поосторожнее, ибо если меня снова поймут, то больше не выпустят. На самом деле они боялись появления отряда вандейцев, которые по тем временам могли неожиданно налететь и нанести им большой урон.

После замирения Нанта я спряталась на мельнице Брефьер, в приходе Сен-Кристин. Меня предали, и враги так быстро окружили дом, где я находилась, что я едва успела надеть на себя женскую одежду; убежать я уже не могла. Вломившись в дом, республиканцы спросили меня, где находится некий Ланжевен, кавалерист из Лавуара. А один из них, хлопнув меня по плечу, сказал: если я его найду, я точно узнаю этого *разбойника*. Я сказала ему, что *разбойник*, и правда, приходил сюда, и они могут взять его, если найдут. Видя, как они ищут меня повсюду, я сама, как бы помогая им, разворошила кровать, в которой спала, и, сбросив матрас и одеяла на пол, накрыла ими саблю, ружье и чепрак, и они ничего не заметили. Республиканцы забрали мою лошадь, но я потребовала вернуть ее, утверждая, что это лошадь моего хозяина. Они пообещали, если я сообщу им, где Ланжевен. А что вы от него хотите, спросила я у них, ведь мир уже заключен? Для него никакого мира нет, ответили они, сопровождая свои слова ругательствами, у нас приказ искрошить его на мелкие кусочки, где бы мы его ни нашли. Они велели мне идти с ними к коменданту Сен-Пьер де Шемийе, чтобы тот дал мне свидетельство о благонадежности. Комендант потребовал у меня сдать оружие. Я ответила, что у меня его нет, а если бы и было, то я бы его не отдала. «Ты смелая женщина, — сказал комендант, — оставь его себе, если оно у тебя есть. — И добавил: — Когда-то я тоже служил королю». К сожалению, я забыла имя славного коменданта, но с большим удовольствием вспоминаю о нем.

В Шемийе за мной бдительно следили на протяжении двух лет; несколько раз мне приходилось спасаться от жандармов. К счастью, я повсюду находила добрых людей, готовых меня принять и помочь спрятаться. Республиканцы не раз давали награду за мою голову, как в Бретани, так и в Вандее. Когда началось очередное ожесточение, во всех приходах расклеили афиши, призывавшие везде, где бы меня ни встретили, убить и даже разрубить на части; тому же, кто принесет мою голову, обещали сорок тысяч франков вознаграждения.

Сьер Андре, бывший тогда мэром в Потевиньере, много раз пытался поймать меня и предложил десять тысяч франков из собственного кошелька тому, кто меня арестует.

Многие, кто, как и я, звались Бордеро, были задержаны, и среди них немало здешних республиканцев. Капитан Фрей, о храбрости которого я уже рассказывала и который сейчас живет в Париже, может подтвердить, что я говорю чистую правду.

Все это не помешало мне принять участие в военных действиях 1799 года. Я участвовала во многих мелких стычках, и среди прочих под Сирьером, где был убит г-н де Гиньон, и в сражении при Обье, где я билась рядом с г-ном Рену, который командовал пехотой, а также возле Мулен-сюр-Нюэй. Дело началось довольно успешно, но, когда г-на Рену тяжело ранили и ему пришлось покинуть поле боя, все пошло наперекосяк, и нас разгромили наголову. Немногим ранее я с двадцатью пятью всадниками ездил к замку Верметт, где закрылся г-н де Бовуалье; мы привозили ему порох. Примчавшись раньше, чем *синие* полностью окружили замок, мы открыли огонь из карабинов и пистолетов, тем самым сильно переполошив противника, а дождь, хлынувший как из ведра, помешал ему открыть ответный огонь. Тем временем г-н де Бовуалье и его люди сумели проделать брешь в стене и спаслись.

Мир, заключенный г-ном д'Отишаном, как оказалось, был не для всех — в частности, не для меня и других храбрых людей. Мне пришлось прятаться в приходе Изерне; там мне повезло оказать услугу нескольким эмигрантам, и среди них барону де Везену, для которого мы раздобыли свидетельства о благонадежности, на основании которых его вычеркнули из эмигрантских списков.

Несмотря на все услуги, которые я оказала очень многим, я в конце концов совершенно обеднела; чтобы заработать на хлеб и при этом никого не беспокоить, мне пришлось по ночам развозить в тележке известь.

Однажды меня арестовали по очень странной причине. Меня обвинили в том, что я и есть тот мужчина, который изнасиловал дочь бригадира из Аржантона. Всю дорогу, пока меня везли в Брессюир, меня называли вандейским *разбойником*, и утверждали, что совершенных мною преступлений вполне хватит, чтобы меня расстрелять; только так я больше никому не причиню вреда. Мне стало не по себе, ибо совсем недавно Дюмениля и его брата

убили только за то, что они не предъявили пропуска. Когда меня доставили в Брессюир, вокруг собралась чернь вперемежку с жандармами, и все глазели на меня, выкрикивая: «Вот и еще один вандейский голубок попался!» Мне это надоело, и я ответила: «Голубок, он самый, но скушать меня вам не удастся». Посреди яростных воплей и криков меня препроводили к мировому судье; тот сразу попросил мои бумаги. Я тотчас их предъявила. Он спросил, настоящее ли я ношу сейчас имя. Я Богом поклялась, что настоящее. Он сказал, что напишет мне домой, а в ожидании ответа отправит меня в тюрьму. Добрый мэр Изерне, где я тогда жила, убежденный роялист, быстро отправил нарочного с ответным письмом, где заверял мирового судью, что я говорю правду; еще он писал, что я славная и честная девица, а потому никак не могла изнасиловать дочь бригадира из Аржантона. Но так как я имею обыкновение одеваться в мужской костюм, возможно, что я понравилась той девушке, но совершить над ней насилие я никак не могла. Меня тотчас отпустили на свободу.

В Изерне меня заподозрили в том, что я препятствую молодым людям записываться в армию, жандармы стали следить за мной, и мне пришлось перебраться жить в Шоле. В Шоле я не прожила и года, как меня снова стали подозревать в том, что я препятствую рекрутскому набору и уговариваю всех не ходить на мессы священников, которые принесли присягу за конкордат. Подозрения их были оправданны, потому что с помощью добрых роялистов, мэров Сунуара, Лазиньера и Изерне я доставала свидетельства о непригодности к военной службе; всего таких свидетельств я достала то ли десять, то ли двенадцать; а еще я находила честных людей, которые прятали у себя скрывавшихся от набора и кормили их.

В конце концов меня арестовали и отправили в тюрьму Бопрео, потому что считали, что я слишком опасна; но они обещали меня наградить, если я стану служить правительству так же верно, как служила *разбойникам* из Вандеи, выдам дезертиров и места, где скрываются руководители мятежников. Мне приводили в пример кюре из Сен-Лод, который перешел на их сторону и стал епископом. Я отвечала, что я не кюре из Сен-Лод, и, если тот предал своих, то я никогда своих не предаю, даже если меня решат убить или сгноить в тюрьме; таково мое убеждение, и я не изменю его и унесу с собой в могилу.



Через семь месяцев, после многочисленных допросов, из тюрьмы в Бопрео меня вместе с пятнадцатью уклонистами, крепко связав нас друг с другом, перевели в Анже. Нас так боялись, что для сопровождения в Анже выделили две сотни человек. Вот какая шла про нас слава! Когда мы ехали по полю возле Сен-Ламбера, где в свое время состоялось сражение, меня спросили, сколько человек я здесь убила. «Так много, сколько смогла, — отвечала я им, — и, к сожалению, вы были не из их числа, иначе вы бы сегодня не конвоировали меня». — «Была бы наша воля, — отвечали мне, — тебя тоже сейчас здесь бы не было, так как мы бы прикончили тебя на месте; гильотина слишком нежна для тебя». Я ответила им, что они должны исполнить приказ и доставить меня в Анже, а там решат, заслуживаю я смерти или нет.

Когда мы проезжал по мосту Се, собравшиеся вокруг добрые роялисты оплакивали мою участь, а кровопийцы-республиканцы кричали, что нас надо отправить на гильотину.

Меня привезли в крепость Анже, где мне так же, как и в тюрьме Бопрео, предложили раскаться в своем *разбойном* прошлом и поступить на службу к правительству; в этом случае меня обещали отпустить на свободу. Я дала им прежний ответ, и меня посадили в тюрьму, устроенную в бывшем монастыре кающихся, в одиночную камеру, где я провела три недели, не видя ни одного человеческого лица. Власти обсуждали, к какой казни меня приговорить, однако местные патриоты воспротивились смертному приговору, опасаясь, что за меня станут мстить, а, значит, погибнет еще очень много людей. Впрочем, эти соображения не помешали им разворовать все мои вещи и продать все, что у меня было; больше всего я сожалела об оружии, которое они нашли в одной из моих кроватей.

Еще полтора года меня держали в темнице среди сумасшедших, которых натравливали на меня в надежде, что они меня убьют; но могущество Господа велико, и Он распространил благоволение Свое на меня и на всех честных людей, коих постигла такая же участь.

В этом печальном узилище я три недели находилась при смерти, но власти под страхом тюремного заключения запретили оказывать мне помощь. Однако несколько милосердных душ были столь добры, что попросили г-на Данкре, священника из монастыря кающихся, прийти и исповедать меня, чтобы не дать мне умереть без причащения. Дважды священник приходил в тюрьму, однако так и не смог

пройти ко мне; ему говорили, что я не нуждаюсь в исповеднике; настоящая же причина заключалась в том, что они не хотели, чтобы все узнали, как отвратительно со мной обращаются. Но господин кюре был так добр, что дошел до самого префекта и наконец получил у него разрешение прийти и исповедать меня; самое время, ибо я уже почти не могла говорить. Он принес мне немного еды, которая придала сил. Через два дня он снова пришел и от имени префекта велел тюремщикам снять с меня кандалы и прекратить бесчеловечное обращение со мной. «Будь мы уверены, что об этом никто не узнает, мы бы лучше пристрелили ее по-тихому», — отвечали они. Так говорили полицейский комиссар Берто и тюремщик по имени Корсери.

Добрый кюре не оставлял попыток с помощью честных людей Анже вытащить меня из темницы; но их усилия оказались напрасны. Несколько сердобольных лиц приходили навестить меня, но комиссар Берто и тюремщик отказывали им в свидании со мной и даже угрожали. А с молоденькой девицей Арлуэт они обошлись так грубо, что запугали ее до полусмерти. Как-то раз я спросила их, когда мои мучения кончатся, и они ответили: «Через три дня». Когда указанные три дня истекли и со мной ничего не случилось, я почувствовала себя лучше, ко мне вернулась бодрость духа. Неожиданно явились мои тюремщики и сковали мне руки вместе, заявив, что им велели охранять меня как следует, ибо, если об этом не позаботиться, я непременно убегу из тюрьмы.

Я, действительно, пыталась убежать из анжерской тюрьмы; Бог послал мне человека, снабдившего меня инструментом, с помощью которого я сумела открыть замки моих кандалов. Поэтому я твердо решила бежать; меня не пугала даже необходимость спрыгнуть со стены узилища, высота которой составляла более шестидесяти футов. К сожалению, проделанную мною дыру заметили и стали стеречь меня пуще прежнего. Каждый день я направляла просьбы префекту, чтобы меня отдали под суд или отпустили на волю, но мои усилия оставались втуне. Очевидно, чтобы поскорее уморить меня, полицейский комиссар и тюремщик сообщили министру и префекту, что я хотела их убить, равно как и всех остальных узников. Как будто несчастная со скованными руками могла взбунтоваться против них или против ста шестидесяти женщин, которым ни разу не сказала худого слова!

Вскоре меня стали готовить к отправке в тюрьму на Мон-Сен-Мишель. Меня сковали одной цепью с шестью мужчинами, которых я никогда не видела. «Вы всегда стояли во главе *разбойников*, теперь вы снова на своем месте», — сказали мне тюремщики. Мужчины, оказавшиеся на одной цепи со мной, шли позади меня, а я была впереди. Вот так нас вели всю дорогу, обращаясь с нами совершенно отвратительно; в цепях мы проделали не менее шестидесяти лье, ночуя в тюремных камерах и не имея даже соломы для ночлега.

Когда мы прибыли на Мон-Сен-Мишель, нас встретили как самых отвратительных негодяев, какие только есть в мире: такую вот характеристику дали нам в нашем департаменте. В камерах, куда нас поместили, кормили только хлебом, а пить давали только ту воду, что падала с неба: ее здесь собирали в цистерны. Ежедневно на каждого выдавали примерно по полбутылки воды; каждые две недели получали по шесть фунтов соломы. Воздух в наших камерах был затхлый, исполненный вредных испарений, и прежде всего потому, что мы вынужденно справляли нужду прямо в камерах, а потом, собрав в солому, выбрасывали ее через решетку, и все такое. Нам никогда не разводили огня и не давали свечей, даже в самые сильные морозы; зимой во время сильных холодов трое мужчин замерзли и умерли.

Всего в тюрьме я провела пять лет, из них три года в Анже, из которых полтора года в одиночной камере и полтора в общей, с другими заключенными; еще два года я провела в подвальной темнице на Мон-Сен-Мишель, откуда вышла только тогда, когда наш добрый король, наш Желанный, вернулся во Францию.

После стольких мук и страданий, когда я много раз теряла все, что имела, я верю, что заслужила счастье увидеть нашего доброго короля и всю семью Бурбонов, которым я всегда была и буду предана до самого последнего вздоха.

В заключение должна сказать, что я очень много всего забыла, моя память сохранила лишь обрывки воспоминаний о том, что мне довелось пережить; то же я могу сказать и про даты, вспомнить которые мне становится все труднее, а потому я не стала их диктовать, поскольку могла их перепутать. Но я никогда не забуду моих отважных вандейских командиров, особенно гг. Ларошжаклена и Лескюра, соединивших в себе глубокую набожность с великой храбростью. Я всегда буду помнить гг. Стоффле, Сапино, де Боншана,

д'Эльбе, Кателино, де Боже, Дюпера, Рену, де Борепера, Форестье, Кади и других, чьи имена я сейчас запомнила; все они были отважными и преданными защитниками правого дела. Я имела счастье спасти жизнь г-на де Лагарда, когда синие окружили нас со всех сторон, а также г-на Рену, за чью голову была назначена награда.

Я совсем не упомянула аббата Бернье, которого долго охраняла, считая, что он стоит на стороне правого дела. Но как только я заметила, что он больше не поддерживает короля, я покинула его.

Добавлю, что эта война сгубила еще двух моих братьев и шестерых близких родственников, сражавшихся вместе со мной. Один из братьев умер год назад от полученных в боях ран, оставив двух малолетних детей, у которых нет иной опоры, кроме меня.

Вот, дорогие дамы, так я жила в Вандее, о чем и постаралась вам рассказать, как могла. Прошу меня извинить и не оставлять своим вниманием ту, кто имеет честь воздать вам глубочайшее уважение.

Ваша смиренная и почтительная служанка Рене Бордеро по прозвищу Ланжевен.

*Перевод с французского Елены МОРОЗОВОЙ*





**От редакции**

**Михаил Жванецкий.** Одесса. Еда...

**Анна Михалевская.** Внутренний Гольфстрим. *Рассказ*

**Елена Андрейчикова.** Меланхолия мяса. *Рассказ*

**Юрий Михайлик.** Пальмы и рябины. *Стихотворения*

**Евгений Голубовский.** Бабель во Флоренции. *Эссе*

**Виктор Лошак.** Учитель словесности. *Очерк*

**Влада Ильинская.** Вдали от монитора. *Стихотворения*

**Илья Ильф.** Повелитель евреев. *Рассказ*

**Юрий Олеша.** Рассказ об одном поцелуе

*Публикация Евгения Голубовского*

**Тая Найдено.** О Родине, о птичках. *Стихотворения*

**Олег Губарь.** Дело Локотникова. *Эссе*

ОТ РЕДАКЦИИ

155-й номер нашего журнала (№2'2020 г.) был полностью отдан одной теме — Одессе. Она была рождена на южной окраине Российской империи как свободный и европейский город. Правда, по сравнению с европейскими столицами, откуда съехались строить свой Город Солнца талантливые и темпераментные авантюристы, он молод. 227 лет — но каких! Колесо Истории и давило, и кромсало, и мозжило его — а город жив и прекрасен, и живы его платаны, акации и прямые улицы, сбегające к морю, и неповторимый пряный аромат его воздуха, речи, музыки, живописи, литературы.

Одесса — Южная Пальмира... Ее мифологическая притягательность неизменна. Любой сюжет, любую ситуацию можно проиллюстрировать картинками бурной одесской истории. И все это будет небанально и содержательно, и всегда на удивление актуально. Вряд ли, например, найдется другой город, где существует такое изобилие названий, связанных со словом «карантин» — Карантинная гавань, Карантинный мол, Карантинная улица, Карантинное кладбище, Карантинная балка, Карантинная крепость, Карантинная стена, Карантинный спуск...

Идея сделать одесский номер НЮ принадлежала Евгению Голубовскому — легенде одесской журналистики, интеллектуалу, энциклопедисту, обладателю уникальной библиотеки и обширной художественной коллекции, связанной с южно-русской школой живописи. Стараниями Евгения Михайловича, вице-президента Всемирного клуба одесситов, выходят «Всемирные одесские новости» и литературный альманах «Дерибасовская-Ришельевская». НЮ связывают с Е.М. давнишние отношения — достаточно сказать, что благодаря Голубовскому (и с его предисловием) мы опубликовали в 2001 году знаменитый роман Владимира Жаботинского «Пятеро».

Одесса и ее многослойная живительная почва подарила миру такое обилие разных талантов, такую уникальную и блистательную литературу — что невозможно было не соблазниться идеей показать нашим читателям срез и сегодняшней одесской

словесности. Да и просто снова рассказать об этом, ныне украинском городе — в таком полифоничном звучании.

Авторов того номера, который здесь поименован как «Одесская тетрадь» (и молодых, и умудренных опытом; тех, кто живет в этом воздухе, и тех, кто давно уехал, но так и не расстался с ним), связывает одно, главное — одесская инакость как способ мышления.

И последнее. За год, отделяющий выход одесского номера НЮ от выпуска Избранного'2020 ушли из жизни два знаковых, чрезвычайно важных для Одессы человека. Это Михаил Михайлович Жванецкий и Олег Иосифович Губарь. Символично, что «Одесскую тетрадь» открывают и заканчивают именно их произведения.

М и х а и л   Ж в а н е ц к и й

ОДЕССА. ЕДА...

Утром каша — кабаковая, то есть тыквенная.  
Хотя кабаки здесь сладкие и каша сладкая.  
В кабаковую кашу кладем пшено.  
Не я кладу, Наташа кладет и Леночка.  
Есть у нас еще Леночка, которая кладет в кабаковую кашу пшено.  
С этой каши начинается одесский день.  
Солнце бьет в окна.  
Температура постоянная.  
Сентябрь, двадцать пять—двадцать семь...  
После каши крошечные сосисочки, как дамские пальчики. Вкусно!  
Иначе я бы не ел.  
Я не командую.  
Командует у нас Наташа.  
Она четко знает, что за чем.  
Она знает, чем меня кормить и чем меня лечить.  
После этого, что остается? Ничего...  
Письменный стол и кофе.  
Без кофе не могу.  
После каши вьялая голова, но крепкий живот.  
Я все время за столом.  
За письменным столом. Так, примерно с десяти тридцати.  
Если рано встал.  
Один час разминка.  
Двадцать минут каша и четыре сосисочки.  
Пересаживаюсь тут же за письменный стол.  
Мучаюсь до шестнадцати, семнадцати, восемнадцати...  
По мобильному телефону спускаю команду: «Салат — помидоры, огурчики и все, что в доме, — насечь!!!»  
Редисочка, лучок, болгарский перчик насекается, поливается подсолнечным или оливковым маслом.  
Чуть бальзамического уксуса — сладковатого коричневого.  
Все это посыпать мелко натертой брынзой.



Все это посыпается, находясь в глубокой тарелке. И снизу вверх — из молодости в зрелость.

Иногда для радости тюлечка.

Но в отдельной большой, но плоской.

С чем? Не надо гадать.

С кругленькой, тепленькой, вечно молодой картошечкой.

Плоская тарелка должна быть большой. Самой большой.

К этому редко бывает. Ну, бывает!

Но бывает! Темно-серый, ноздреватый, мягкий, мягкий хлеб...

Мы понимаем. Мы понимаем. Мы все понимаем.

Это вредно. Очень вредно. Очень не рекомендуют.

Но очень вкусно!

Рекомендую!

Нет. Не, неслаб человек.

Мы с вами живем в такое время и в таком месте, когда хлеб становится самым вкусным блюдом всего обеда.

Как он умудрился после полувекового перерыва?!

Этот ноздреватый коричневый с хрустящей корочкой и мягкой вкуснейшей мякотью...

А если сливочное масло домашнее?..

Зиночка, подруга Наташи, она там с папой как-то сбивают это масло.

Если намазать на этот, нет не белый, а такой же, но коричневый хлеб...

Не представляю, как его не есть, глазами в небо!

Когда маленькие тюлечки, соленькие, совсем крошечные.

К ним маленькая целенькая горяченькая картошечка.

Дальше... Нет, не дальше, а ближе, здесь же глубокая тарелка, полная икры из синеньких с лучком, мелко-мелко насеченным и загнанным внутрь...

Все это с чайком черным бархатистым, для проводимости.

И это не обед. Это какой-то завтрак, полдник, переходной...

Но это я все о придворных.

А главная царица — кефаль кусками.

Жарена и терпковата.

Ее лучше брать, чтоб обжечься! Брать руками с большого блюда на свою тарелку и разогнуть, и расплатать.

У нее там только ребрышки.

Извините, я слюной закапал текст... Нет! Это слезы со слюной...  
По-королевски. Нет! По-царски разорвал руками кефаль.  
Жирными пальцами ребра сложил отдельно на плоской крошечной тарелке, чтоб не подавиться.  
Склонился над большой, огромной, тоже плоской, принялся и приступил...  
Рядом никого. Кефаль не любит хлеба. Кефаль не любит чая.  
Большой кусок бумажного рулона.  
Вначале слезы, потом губы, потом пот и вдаль, где море, откуда все и поступает...  
Ей-богу! Это лучшее!  
Все, что дал успех, собрали зрители, за вычетом того, что я съел и съело государство, уже внутри.  
Я отдыхаю. Тяжело дышу. Легко пишу.  
Теперь, дай Бог, чтоб то, что я запомнил и описал, нашли и вы в моей родной Одессе.



Анна Михалевская

## ВНУТРЕННИЙ ГОЛЬФСТРИМ

В том апреле на берег выброшен дельфин. Мы приходили к нему, словно к божееству, и подолгу смотрели, пытаясь понять суть неведомой жертвы. Обессиленной лапой прибор хватался за дельфиний хвост и отступал, шипя от злости и сожаления.

Тушу убрали не сразу — тогда и город, считай, не убирали. Но кого это волнует в семнадцать лет? Мы видели красоту в парящих полиэтиленовых пакетах и слышали музыку в перестуке консервных банок. Мы сбегали из дома — хоть на час к морю, — окрыленные весной и свободой, дышали жизнью, как приключением. И сами не понимали, что счастливы.

Наша четверка устроилась на Желтом камне: Влад, Толик, Кристи и я. Огромный камень разделял два пляжа и стоял у самой воды. Сверху казалось, что плывешь на корабле — впереди было только налитое синью вечернее море, тонкий ломтик луны, отрезанный чьей-то бережливой рукой, да крошки звезд, рассыпанные по скатерти неба. Фривольный морской ветер пробирался под легкое пальто. Распущенные волосы трепало, я терпела ради красоты и старалась не думать, как их потом расчесывать.

Дописав последние слова, поставила подпись и дату. Толик потянулся за листом, внимательно прочитал, водя фонариком по строчкам. Он это все и придумал — он всегда думал на шаг вперед. И если Толик опаздывал на час или даже на два, все двадцать человек компании ждали его, ругались, но ждали. Ибо он один знал верную дорогу, и мы это чувствовали.

Увидев дельфина первый раз, Толик сказал:

— Когда-нибудь наша дружба закончится. Навалются взрослые дела, семьи, заботы...

Слова звучали предательски. Я попыталась успокоить — не столько его, как себя:

— Будем жить в одном доме. Ходить друг к другу в гости.

Толик хмыкнул. Даже не стал спорить...

Он подхватил с камня пустую бутылку из-под шампанского и протиснул туда листок с нашими клятвами в вечной дружбе.

Кристи тихо пела, подыгрывая себе на гитаре:

*А моря до краев наполнялись по каплям,  
И срослись по песчинкам камни,  
Вечность — это, наверно, так долго<sup>1</sup>.*

Ей не мешали ни ветер, ни наша суета. Кристи вообще мало что волновало, кроме музыки и стихов.

А Влад маялся от безделья. Он отрабатывал на мне приемы айкидо, лихо выкручивая руки и рассказывая о философии слияния с атакой противника. Вскоре Владу наскучило сливаться с моей вялой атакой, он выхватил у Кристи гитару и принялся брэнчать на одной струне — так ему нравилось.

Наконец Толик закупорил бутылку с ценным посланием и передал Владу. Зашвырнет так зашвырнет, понадеялись мы на философию айкидо. Но встречный ветер ничего про эту философию не знал — бутылка плюхнулась в воду в паре метров от подножия камня. А волны выбросили ее на берег. Словно горькое лекарство, море выплюнуло наши клятвы еще пару раз, но потом все-таки проглотило.

\* \* \*

Замерев перед дверью квартиры, я напряженно вслушивалась. В глубине ее кухонного нутра гудел спор.

— Га-Ноцри не слаб, он свободен от желания быть сильным! — хо-рошо поставленным голосом школьного учителя говорил дядя Вова.

— Вова, борщ остыл! — переживала мама.

— Я не оправдываю Пилата, но сила на его стороне. И власть, кстати, тоже... — возражал папа.

Значит, начали с Булгакова. Скоро на Блока перейдут. Закусят Маяковским. Воспитание Бориса Ефимовича Друккера давало себя знать. Я закончила ту же, 118-ю школу, но намного позже дяди Вовы — нас, перестроечных детей, уже некому было воспитывать. Мы развивались сами — зигзагами, петлями и долгими обходными путями.

---

<sup>1</sup> Флёр, «Шелкопряд».

Я тихо проскользнула в коридор — вдруг не заметят? А то влетит за поздние прогулки по первое число. Если еще и следы от ботинок на подоконнике увидят... Но весна, сирень — не предавать же такой вечер ради глупых правил.

— Где была? — строго спросила мама, поглядывая на папу.

Тот перестал улыбаться и насунил брови — мол, воспитывает дочь.

Дядя Вова в переглядываниях не участвовал, он шагнул вплотную и взялся за пуговицу пальто. Это означало: дядя Вова будет говорить. Его лицо приблизилось, я различала лишь отдельные детали — глубокие морщины, крупный нос, цепкие темные глаза, непроницаемые, как ночное море. От дяди Вовы пахло коньяком и грустью.

— Ничего не бойся. И не давай себя сломать.

Ответа дядя Вова не требовал — можно было кивать и ждать, когда он отпустит пуговицу. И все же — я уважала его за свободу мысли и всегда старалась понять.

— Одиночество — та еще гадость, любочка! Но каждый висит на кресте сам. А потом, если повезет, это кого-то спасет.

Мама охнула, папа взял дядю Вову под локоть. А тот все изучал мое лицо — будто искал в нем свое забытое, безвозвратно утраченное... И только когда я кивнула, отпустил пуговицу, позволив папе увести себя на кухню.

Путь в комнату открыт — взрослые заняты разговорами, им в кои-то веки не до меня. Но спать не хотелось. Мое будущее бурлило мечтами: я представляла, как отправлюсь в леса Южной Америки или в Антарктиду и сделаю что-то важное для людей. А одиночество... Оно существует?

Не в правилах дяди Вовы было сворачивать с дороги. В начале девяностых его семья и друзья разъехались по всему миру, а дядя Вова остался в Одессе. До неудобства честный человек, он был честен и с самим собой. «Что я там потерял?» — говорил он. «Приедешь, найдешь!» — отвечали родные и отводили глаза...

Он жил в прокуренной квартирке на Малой Арнаутской — стеклянная дверь с занавесками, скрипучие деревянные полы, книжные шкафы до потолка, портрет Блока в прихожей; здесь мать и тетя вырастили троих детей — сами, оплакав погибших на фронте отцов. В эту квартирку он привез с институтской практики из села тридцать учеников — показать Одессу. Всем нашлось место — даже дочери тракториста, которую Вова пылко полюбил вопреки запретам мамы и тети...

Со временем он устроился в одесскую школу, учеников называл «мои дети» и переживал, как за своих. Мирил с родителями, вытаскивал из передряг, помогал стать на ноги. А чего стоили его уроки истории — ученики строились «свиньей», «клином» или «каре» и начиналось настоящее сражение, за которое потом дядю Вову не раз вызывали на ковер в районо. «Дети» вырастали и приходили в квартиру на Малую Арнаутскую, как домой, — устраивали дяде Вове праздники, заботились о его буднях. И всем по-прежнему хватало места. Ночами своего единственного и краткого супружества дядя Вова читал любимой стихотворения — Евтушенко, Рождественский, Есенин, Пушкин, Бродский, Пастернак... — летние ночи были долгими, а память дяди Вовы исключительной.

Разве такую жизнь увезешь с собой в эмиграцию? Дядя Вова врос характером в одесскую землю, в ее поэзию и прозу, в работу, в учеников, в море, в послевоенную разруху детства, в разруху девяностых на пороге старости — его, родное, единственно правильное.

\* \* \*

Безумная идея жить в одном доме все-таки осуществилась. Мы год снимали квартиру — она стала нашим лобным местом. Дверь потрепанной «чешки»<sup>2</sup> не закрывалась — бесконечным потоком шли друзья. На завешанной плакатами аскетичной кухне Кристи пела свои новые песни. Влад занялся фехтованием; рапиру он, к счастью, при себе не носил.

Толик перестал нас куда-либо вести, лишь изредка подталкивал:

— Дашка, уйти из дома — еще не самоцель. Для чего ты живешь? — говорил он мне.

— Кристи, твои песни должны звучать из каждой второй форточки Одессы. И то, потому что первая закрыта.

— Влад, когда найдешь работу?

Даже этих кратких вопросов хватало, чтобы заставляя нас искать и пробовать.

Свобода уже не казалась такой блистательной, ее основательно подгрызли мыши самостоятельной жизни. В приятном опьянении от терпкого красного, в разгар веселой перепалки, когда один начинал

---

<sup>2</sup> Квартиры в одесских девятиэтажных домах, построенных по чешскому проекту.

фразу, а другой продолжал, или в наполненном смыслом молчании — я вспоминала дельфина и дядю Вову. Оба плыли против течения. Для них это было важно. А что важно для меня?

Через несколько лет Толик уехал в Штаты. Он решил стать режиссером, не осознавая до конца, что уже режиссирует наши жизни.

С его отъездом что-то сломалось. Нет, мы по-прежнему встречались — но пустоту стало нечем заполнить. Молчание было теперь лишь молчанием. И оборванные фразы никто не продолжал.

\* \* \*

Дядя Вова часто навещался к родителям. На Пасху он приносил маму, а на Рождество садился во главу стола и первым поднимал бокал:

— Так давайте выпьем за великого человека, который родился две тысячи лет назад, чтобы спасти человечество!

Вот и сейчас неверующий еврей произносил проникновенную речь во славу христианского сына божьего. Никого это не удивляло — в доме праздник. Я любила гостей. Люди улыбались, шумели, горели глаза, звучали тосты, дарились подарки. В этой звенящей суете, в калейдоскопе лиц я забылась. И одиночество, в которое раньше не верила, отступило.

Как бы просто дядя Вова ни говорил — сразу его не поймешь. Что-то оседало на пуговицах, которые он так крепко держал, и доходило уже потом, когда наталкивалась на похожий взгляд. Вопреки логике и обстоятельствам я упрямо шла своим курсом — но пока это никого не спасло.

Поздно вечером, когда гости уже разгулялись, но еще не разошлись по домам, дядя Вова вышел на кухню, зажег сигарету, затаился. Я поставила последнюю тарелку в сушилку, вытерла руки о передник.

— Любочка... — начал он и, выпустив клуб дыма, сощурил глаза.

— Знаю, свой крест и все такое...

— Ничего ты не знаешь... — Дядя Вова крепко сжал локоть и цепко, как умел только он, поймал мой взгляд.

— Вова, не травми ребенка, иди на улицу! — На пороге кухни выросла мама и расставила жизнь по местам.

Дядя Вова медленно разжал хватку на моем локте, опустил голову и вышел дымить в палисадник.

\* \* \*

Желтый камень все еще походил на корабль. Только мы уже не годились ему в капитаны.

Море осторожно гладило каменные лапы, притворяясь со всей хитростью, на какую способна вода, кротким и сговорчивым. Но под тонкой, податливой гладью сотни сотен лет шла невидная кропотливая работа — вода отбирала камень себе, заращивая его мхом и водорослями, насылая на него крабов и мидий, сковывая льдом, врезаясь прибоем. Море умело великодушно уступать — оно знало, что сильнее, оно знало, что все происходит по его воле.

Толик прилетел в гости из Штатов, и мы снова сидели здесь, на вершине Желтого камня, растерявшие весь свой взрослый опыт, беспомощные и глупые — еще беспомощнее и глупее, чем были пять лет назад.

— Ты доволен?

— Да, — поспешно ответил он и добавил: — Наверное. Столько всего поменялось.

Сказал и посмотрел на меня чужими глазами. Жизнь Толика действительно поменялась. Он много работал, играл в театре, снимал клипы. Все такой же увлеченный поиском смысла Толик, но уже не наш. А мы для него? Наверное, застряли в прошлом, как залегший на дне моря реликтовый лес.

— Что Кристи? Влад?

— Песни Кристи звучат из каждой второй форточки Одессы. И даже Украины. Влад теперь инструктор по серфингу. Катает всех под парусом. Серега играет в рок-группе на басу, недавно был концерт...

Рассказала про всех друзей и знакомых, до кого дотянулась память. И я видела — даже в сумерках, — как жесткий профиль Толика смягчается, и на лице мерцает улыбка.

— А ты? — вдруг спросил Толик.

— Пишу сказки...

— Здорово! Только про меня не пиши!

— Угу, — пообещала и решила, что обязательно напишу.

Толик рассмеялся и крепко обнял — так же крепко, как дядя Вова всегда держал пуговицы.

Что прожито по-настоящему, не может исчезнуть, дошло до меня. Мы знаем, как это — идти по одной дороге, дышать в унисон, угадывать



мысли друг друга. Мы знаем, как это — постоянно искать свой путь и задавать вопрос: кто я. Неважно, что мы сейчас порознь, важно, что научились этому вместе...

Потянувшись за сумкой, я достала пустую бутылку из-под шампанского. Ну, почти пустую.

— Наши клятвы в вечной дружбе? — удивился Толик.

— Пять лет назад море не засчитало попытку. Я подобрала бутылку на следующий день. Попробуем еще раз! — И что есть силы замахнулась.

Метать мячи я категорически не умела, но бутылка улетела неожиданно далеко и с тихим всплеском ушла под воду.

Ошарашенная, я оглянулась на Толика.

— Делай добро и бросай его в воду. — Он пожал плечами.

Я всегда считала, что дядя Вова плыл против течения. Как и тот дельфин, что выбросился на берег. Но это не так: они держались своего внутреннего Гольфстрима.



Елена Андрейчикова

## МЕЛАНХОЛИЯ МЯСА

Изойду слюной, пока пожарим эти стейки. Мясо — вот что, собственно, и мотивирует меня иногда проводить время с людьми. Оно сближает. Сегодня еще и несколько важных временных и пространственных обстоятельств: бабье лето, выходной день, дача на берегу Днестра, три ряда созревших помидоров сорта «Черный принц». И то самое мясо. Свиная шея, купленная утром на Привозе у болтливой тетки-перекупщицы в выцветшей косынке, умело строящей из себя колхозницу, а на самом деле всю жизнь проживающей на Новосельского. Сто семьдесят гривен за килограмм — так нагло дорого. В вырезке было килограмма три, не меньше. И весь кусище был с тонкими прожилками, в меру жирный, бледно-розовый — одним словом, свежий. При мысли о хорошем мясе я всегда улыбаюсь. А что еще в этом мире может по-настоящему радовать?

Диана нарежает его идеальными для прожарки на решетке кусками, поперек волокон — я контролирую. Соль, перец молотый. Руки мои протестуют, когда она достает перец душистый. Она пытается объяснить, что Петрович, который должен скоро присоединиться к нам, в прошлый раз добавил его в маринад, а еще лук и лавровый лист, и заканчивает совсем лишним аргументом: «Ну было же вкусно, вспомни». На что я со всей широковозможной для себя улыбкой посылаю ее в жопу. Жопу Петровича. Мысленно. Я давно не трачу слов: людям, во всяком случае, понятливым, достаточно правильных взглядов.

В два часа начинают подъезжать машины, чьи-то нервные руки терзают звонок, и ноги стучат по воротам. Прибыли любители до отвала набить желудок до полуночи, а после полуночи лечить внезапную изжогу. Я же съем ровно столько, сколько моему, честно сказать, субтильному организму положено.

Диана всех встречает и вежливо улыбается. Хорошая, в сущности, женщина. Но слишком уступчивая. Меня это почти бесит, хотя я прак-

тически не способен выходить из себя из-за чьих-то поступков. Она женщина — и это предопределяет все ее слабости. Если на них смотреть сквозь легкое снисхождение — мне можно, я любя, я не сексист, — то она бывает даже очаровательной.

Ей двадцать два. На восемь лет меня старше, но это совсем не значит, что взрослее или умнее. Русые густые волосы до талии. Архаизм, конечно, дикий. Но мать который год упорно отговаривает ее постричься: мол, пожалеешь. Вот она и жалеет который год. Себя. Но боится, видимо, пожалеть еще больше.

Сегодня Дэ в белом. Дэ — это коротко «Диана». Сколько же пафоса родители вложили в ее имя! И вы еще фамилию не слышали. Она давно догадалась, что эта буква, произнесенная мной, может означать все что угодно, поэтому иногда косит сжатыми губами в сторону, когда я ее зову.

Все говорят, что Дэ похожа на отца. Разве что привычкой кусать ногти. Недавно она, что редко случалось, села рядом с матерью за стол на таком же пикнике, и я мог дольше обычного их разглядывать и сравнивать, — и вот здесь я обнаружил очевидное, во всяком случае для меня, сходство. Внешнее, конечно. Потому что Дэ без матери не может даже выбрать цвет помады, это же всем известно, а та в ее возрасте уже управляла отцом. Замечу, что иногда проще управлять, например, металлургическим заводом.

Осень анархичная в этом году. В начале сентября плюс десять и дождь, переходящий в град. А теперь жара. Листья опадают зелеными, не успев постареть как следует. Вот мы и собираемся каждые выходные. И каждый раз как последний. Ведь скоро зима, и на улице не посидишь. Закупаем продуктов все больше и больше: курица, свинина, баранина, овощи, фрукты, четыре вида хлеба, вобла для старта, торт под занавес. Пиво, вино, джин, виски, самогон. На любой вкус. Выбирай что хочешь и мешай с чем хочешь.

Какая досада! Шампанское забыли.

— Алло, Петрович! С тебя два ящика брюты.

Мельники приехали. Мельник-женщина начнет через два часа ныть, потому что она за рулем, ей скучно, трезво и тошно. И Мельник-мужчина будет скоростно напиваться, поднимая один за другим тост во славу любимой жены, обнимать ее и щипать где-то между ног, чтобы таяла, чтобы успокаивалась, чтобы терпела, сколько ему нужно.

Дэ за столом обычно сидит тихо, глаз не поднимает. Но бокал регулярно. Всегда пьет красное сухое. И мне нравится стабильностью хоть в этом. Потому что все, что я могу рассказать о ее жизни, — сплошной хаос. Мать-холерик, отец-меланхолик, брат-мизантроп, школа с физико-математическим уклоном, филологический вуз, маркетинг в Австрии, шахматы, ландшафтный дизайн, обреченная любовь к поэту, потенциальная любовь с банкиром.

Самогон из бутылки нюхает. Вообще она не дура. Точно не дура. Но иногда да.

— Когда замуж, Дианочка? — стандартный вопрос от Мельника, взгляд которого, шастая по столу в поисках идеальной закуски, натывается на дочь друга.

— Подожди, ей еще год учиться, — спешит за Дэ ответить мать.

— Ой, сколько можно ей учиться! Будет сильно умной — замуж никто не возьмет. И вообще пора внуков для нас рожать! А давайте выпьем за детей! — закрывает тему отец.

Я же знаю, как она относилась к Жене. Мы никогда не говорили о нем, но это было очевидно. Возраст. Гормоны. Нестабильность психики. Первая любовь.

По вечерам они смотрели в ее комнате черно-белые фильмы. Феллини, поцелуи, бутерброды: бородинский хлеб, мед, а сверху малосольные огурцы. Пищевое уродство. Но ели же оба.

— Поэт? Замуж? Ты в своем уме? Может, хотя бы за художника? — пытался шутить отец.

— Где вы жить собираетесь? С его мамой? Фу! Чем питаться будете? Рифмами? Ха! Только через мой труп!

Любимый козырь матери в любой игре — ее труп.

Дэ тихо плакала. Но на бунт не решилась. Родители отправили ее учиться в Вену.

Снова стук — еще гости.

— Дианочка, беги открывай, Евгений приехал!

Побежала, малахольная. Евгений, но не тот.

А у меня желание пребывать с людьми, еще и в таком количестве, заканчивается. Жду мяса. Пью морс. От запаха вина меня воротит.

Дэ возвращается. Румяная. Щеки и даже уши красные. Целовалась с ним, что ли? Евгений этот позади. Два метра перспективы — банкирский клерк и бывший спортсмен.

Хотя Женя, который поэт, мне тоже не нравился. Стихи хорошие, а он нет. Не потому, что ревную. Глупости, с чего бы это? Он даже не протестовал, когда она уехала. Отпустил. Вегетарианец. Как такому человеку можно верить?! Не ждите от меня толерантности к непохожим: не приучен. Детство во вседозволенности. Эдипов комплекс. Нарциссизм. Снобизм и ханжество.

— Готово мясо? Мальчики, несите скорее! Умираю от голода!

Надо как-нибудь подсчитать, сколько раз за день мать умудряется умереть.

Мир перенаселен. У мангала толпа с тарелками носится, еще и сталкиваются на поворотах. Солнце садится. Холодает. Надену капюшон. Евгений в футболке. Победоносные бицепсы и эспаньолка. Дэ никогда его не полюбит.

Доедаю свой стейк. Пора уходить.

— Да, да, сейчас вернусь.

И за спиной:

— Та не жди его скоро. Женечке салатика подложи.

Давно они смирились с моей интроверсией.

Но я точно вернусь. Видел, в кастрюле еще сырое мясо осталось.

Так гремят посудой — на втором этаже слышно. Не буду ничего читать, полежу минут пятнадцать, переварю мясо. Включил аудиокнигу. Никогда не надоедающий Оруэлл, чтобы долго не выбирать. Когда я сыт, я не читаю, а слушаю.

«Все, что пахло порчей, вызывало у него надежду...»

У меня тоже.

Совсем темно за окном. Уснул я, что ли? Уснул. Галдят на улице. Как мне вообще удалось заснуть? Открыл окно. Загалдели объемно, но все так же беспредметно. Воздух пахнет илом и мятой. И яблоками. Подняться бы с кровати и пойти сорвать — прямо под окном у меня висят, кислые, хоть и спелые.

Слышу треск в камышах. Возня.

Дэ? Юбка ее желтая. Точно Дэ! С Евгением обнимается. Кто ж еще может заслонить собой луну?! Поддалась на папины желания и мамины советы. Променяла Женю на Женю. Не поймешь этих женщин: то романтику им дай, то соответствие общественным ожиданиям.

Целуются. Такое чавканье над Днестром стоит!

И это они хотят назвать любовью? Меня воротит на расстоянии двадцати метров. Представляю, как им там, рядом друг с другом.

Никогда не женюсь.

Возвращаются влюбленные назад, к компании. За столом голоса все выше и выше. Совок уже обсудили. На девяностые перешли. К новому времени подбираются. Музыка свою ностальгическую включают. Петровичу спасибо за Летова, уважаю. Запах, какой запах! Вторую партию жарят. Придется спуститься.

— Диана! Я же недавно Женьку встретил! — вдруг орет Петрович.

— Какого Женьку? — В момент произнесения вопроса отец и сам понимает какого.

— Динкиного, бывшего, — ляпает Петрович, переводя взгляд на Женьку настоящего.

— Ну и что, Василий? Какое нам до него дело? — невозмутимо вставляет мать.

— Я с внучкой был. Мы поздоровались, «как ты, что ты» и разошлись. Настенька мне его потом в Инстаграме показала. А там сотни тысяч подписчиков, три книги издал, ездит по Европе с литературными концертами!

— Да ладно? — глухо спрашивает отец, пытаясь пережевать информацию.

— Говорю же, разбогател на поэзии! Машину даже купил.

Глаза сидящих за столом округляются.

— Стихами??? Ты слышала? — обращается отец к Дэ.

— Слышала, — вытирая раздутые губы, говорит та.

— Что-то я его не рассмотрел, не понял. Быть же такого не может. Стихами...

— Может. Все, папа, в этом мире может быть, — равнодушно отвечает Дэ и прижимается к правому бицепсу качка.

Я снова поднимаюсь на второй этаж, к себе. А мне даже понравился сегодня Петрович. Не пустой пришел — с хайпом. Надо же. Бедная Дэ. Напьется сегодня.

Снова из окна треск камышей. Удивительные люди эти взрослые. Почему, как только напьются, на любовь их тянет? А до этого что, нет? Не любитесь? Качок Женя не пьет, с ним все ясно: Дэ молода и прекрасна, можно и трезвому с ней целоваться. А вот она как собирается — так всю жизнь и пить?

— Мама, откуда дети берутся? — спросит ее мой племянник.

И она смущенно, но честно ответит:

— Из бутылки красного вина.

Подошел закрыть окно. Комаров уже нет, но с улицы доносится человеческое жужжание. Раздражает не меньше.

Это уже перебор, Дэ. Что за страдания? Присела на корточки, сгорбилась, голову вниз опустила, на воду смотрит. Ты еще прыгни туда! Низ юбки свесился с моста в воду: не убрала его.

Черная вода с серебряными отблесками луны. Дэ наклоняется. Плавать же не умеет. И чего там сидит, что высматривает? Плохо мне видно: темно совсем. Разрыдалась бы, что ли. Качок бы прибежал, пятерней слезы утер, на руках к столу понес — и забылось бы все, и полюбила бы даже немного его за это. Но нет, не плачет, точно не плачет: линия плеч обреченно замерла.

Долго сидит. Неподвижно. Хоть бы не упала. У моря живет, а плавать не научилась. Вот так сиганет сдуру сейчас или споткнется пьяная — и все, конец! Не закончит магистратуру! Пропадут все оплаченные знания вместе с новой юбкой.

Я, правда, тоже до сих пор плавать не умею.

О чем думаешь, Дэ? Скажи еще — о смерти. Неужели тебе так страшно жить, что ты думаешь о таком варианте развития событий? Дэ, моя милая Дэ. Там тебя тоже ничего не ждет, хотя ты веришь, я знаю. А здесь хоть мясо вкусное. И вино. Ты же любишь вино.

Так долго сидит и сидит, и никто ее назад не зовет. Никто даже не заметил ее долгого отсутствия. Почему-то мне кажется, что она улыбается. Думает, что может сделать это? Думает, что в любом случае всегда сможет просто прийти сюда и прыгнуть? Думает, что всегда есть выход? Если совсем устанет себя жалеть, то сможет прекратить вот так?

Этим она меня ставит в очень неловкое положение. Если прыгнет, я же не побегу. Но надо хотя бы крикнуть. А нужно ли ей, чтобы я кричал? Или лучше просто улыбаться, как сейчас она? Чего ей хочется больше — спасения или улыбки солидарности? Что я могу ей предложить?

Обняла себя руками за плечи. Я непроизвольно повторил ее позу.

Отойди уже от воды, дурочка. Не сделаешь ты этого. Ни сегодня. Ни когда-либо.

А все равно она настоящая. Живая. Подпорченная — и настоящая. Как она в этом мире будет жить? Что ей тут и с кем делать? Ладно я. Как-то разберусь. Мне все равно легче. Все еще существующий патриархат, хотя Дэ пытается это отрицать, не просто существует, а господствует. Я — наследник, я — красавчик, что бы ни творил.

Хотя я ничего и не творю. Я всегда в своей комнате — или здесь, или в городе. И в школу не хожу: учусь дистанционно. Иногда я все-таки хочу другие города увидеть. Мак-Мердо, например. Чтобы людей поменьше: шумные они все слишком.

Просто вернись за стол, Дэтка.

Или уже сделай это! Удиви меня сегодня. Представляешь: ты — в воду, все сбегутся, крики, шум, Мельник-мужчина бежит позади всех, потому что еще успел допить рюмку водки. Петрович снимает ботинки и прыгает в реку. Мать в истерике: «Я умру, если умрет она». Отец ныряет вслед за Петровичем. Качка держит Мельник-женщина: нечего троим там барахтаться. А потом они вдвоем держат безутешную мать.

А ты ушла на дно Днестра.

Из-за любви. Большой, настоящей, чистой, искренней любви, в которую тебе очень хочется верить, о которой ты мечтала всю свою жизнь, начиная с того момента, как робко, кривыми ножками сама пошла без поддержки матери в год и четыре, и до того момента, как в тумане встала из-за стола и очнулась на мостике. Проблеск надежды. Поэт Женя. Любовь. Ночь. Черная вода. Не сразу спохватятся. Великий акт ради великого чувства. А знаешь, сделай это! Решись! Решись сейчас! Окунись в эту бездну, в надежду на любовь. Пусть и чувствовать ты это будешь всего несколько мгновений, но настоящих, тех, которые и должны по большому счёту называться жизнью. Ради любви. Всё существование до этого момента не было так полно любовью, как ты можешь его наполнить прямо сейчас. У тебя есть шанс оправдать свое появление на свет, а главное — этот мой бесконечный, скучный, бесполезный день.

Ну же! Давай! Я не буду кричать и звать на помощь! Дай нам всем эту веру в любовь. Все наконец-то поверят: и мама, и папа, и твой качок. Все за столом, все в городе. И обязательно поверит Мельник-женщина: она давно ждет такого знака от кого-нибудь.

Прыгай! Зажмурься и прыгай! Я тебя не подведу, я промолчу. Как тогда, помнишь, когда ты слопала две коробки конфет и сказала, что это мы вдвоем сделали. Вот сейчас закрою окно и отойду от него. Я ничего не видел и ничего не знаю. Но я знаю тебя, бедная Дэ. Ты не сможешь мириться со всем этим всю жизнь. Ты другая. Но ведь правда? Ты другая? Не дай мне поверить, что ты такая же, как они. Нормальная. Только прыгни.



«Если цель — не остаться живым, а остаться человеком, тогда какая в конце концов разница?..» — у этого диктора идеальная дикция, но мало эмоций.

Крик. Женский. Мать. Вот чем Дэ похожа на отца — привычкой беспрекословно подчиняться матери. Доминантная мать — это приговор. Или спасение. Просто позвала Дэ к столу. Та просто встала, расправила складки на юбке и медленно пошла прочь от черной воды. Иди в жопу, Диана. В жопу Петровича.



Ю р и й М и х а й л и к

ПАЛЪМБИ И РЯБИНЫ

•

Не первые мы, не вторые  
Кто звал эту землю своей.  
В курганных степях Киммерии  
Могилы бессмертных царей.  
Знакомая черная стая  
Снижается над головой,  
Тяжелые крылья пластая  
Над крашеной красным травой.  
И топот табунный, чугунный  
И поле от пыли темно...  
А готы идут или гунны —  
Убитым не все ли равно?

•

Летний сон. Полночная прохлада.  
Мягкий звук — во сне иль наяву?  
Ты не бойся, — там, во мраке сада,  
абрикосы падают в траву.

Тихий отдаленный ритм прибора  
медленно качается вдали,  
словно предназначен нам с тобою  
краткий промельк жизни и любви.

Зыбкими мерцающими снами  
мир и сад качаются в стекле.  
Ты не бойся — это было с нами.  
Может, только с нами на земле.

Ничего другого мне не надо,  
пусть приснятся, если доживу, —  
сонный сад, июль, во мраке сада  
абрикосы падают в траву.



Млечный Путь. И в поисках ночлега  
век из века тащится телега.  
Притяжение и отторженье —  
лучший способ для передвиженья.  
По обломкам рухнувших империй,  
через гравий вер и суеверий  
колеса дробящее движенье —  
притяжение и отторженье.  
Это было болью и любовью,  
нашей стариной и нашей новью  
на камнях Египта или Рима...  
Все уже без нас. Отдельно. Мимо.  
Ибо нам разрешено судьбою  
только то, что можно взять с собою,  
и от Вавилона до Гранады  
виноватых нам искать не надо.  
Граждане цыганские евреи,  
мы играли в этой лотерее,  
мы галдели в этом балагане,  
граждане еврейские цыгане.  
Странники, изгнанники, бродяги —  
ямы, рвы, канавы и овраги...  
И повсюду нам принадлежали  
только те, кто в этих рвах лежали...  
По золе Варшавы, сквозь руины,

через смрадный морок Украины,  
только то, что можно взять с собою...  
Что там — кроме памяти и боли,  
что там — кроме нежности и муки —  
в узелковых письменах разлуки?  
Притяжение и отторжение —  
мировая формула движенья.  
Плыло болью, остывало былью,  
звездной солью и подзвездной пылью.  
Альтаир, Арктур, Капелла, Вега —  
век из века в поисках ночлега.  
Грозный гул, кибитка кочевая...  
...Блеск костра меж звезд опознавая...



Ночь не спросит. Утро не ответит.  
Ветер провожал нас — ветер встретит.  
Жемчуг мелок. Да и супчик редок.  
Улыбнись подруге напоследок.

Улыбнись подруге, ей досталась  
кочевая поздняя усталость.  
С моря тянет ветром незнакомым.  
Ветер пахнет дымом, а не домом.

Словно от привала до привала  
нам судьба колоду тасовала.  
Там в колоде обещаний много,  
а сбылась лишь дальняя дорога.

Поклонись дороге — ты свободен.  
Нет на свете ни одной из родин.  
А уж от чужбины до чужбины  
что тебе все пальмы и рябины...



Спи, любимая, так хороша  
долгожданная наша свобода,  
неспроста на гудок теплохода  
откликалась печалью душа.

Спи, любимая, так коротка,  
так спокойна заря над волнами,  
и не ветер проходит над нами —  
только нежность несет облака.

Открывается берег вдали,  
а над ним высоко, как в мираже,  
эти старые горы на страже  
засыпающей бедной земли.

Спи, родная, за эти года  
всё, что было и мной, и тобою  
стало просто одною судьбою,  
неразъемной уже навсегда.

Спи, родная, в полночную тьму  
погружается берег прекрасный.  
То, чему эти горы подвластны,  
неподвластно уже ничему.

### **КАРОЛИНА СОБАНСКАЯ**

Красавица, лошадка, волчья сыть,  
перенесла, как Польша, три раздела,  
и как сама при этом не згинела —  
нет Лотмана, и некого спросить.

В те вольные крамольные года  
собой дарила — как благодарила,  
а что она действительно любила?  
Стихи? О, нет. Поэтов. Иногда.

Гордячка, умница, и горе по уму,  
она еще припомнит в день печали —  
кому б они стихов ни посвящали,  
ей — лучшие. Такие — никому.

Два гения ревнивых языков,  
они шалели, а она шутила.  
Но ею вдохновенных строк хватило  
для двух народов и для двух веков.

Измученные нежностью моря  
на опустелый берег строки сложат —  
... я вас любил. Любовь еще, быть может... —  
но — жизнь, но — страсть, но — гибель — все не зря.

Стихами задыхались соловьи,  
стихами водопады голосили,  
и девушки — кто в Польше, кто в России —  
беспрекословно гибли от любви.

●

На Платоновском молу варят черную смолу,  
ветер сбрасывает в море золоченую золу.  
Солнце, адская жара, жар небес и жар костра,  
обожженными бортами ждут шпаклевки катера.  
Ты кипи, смола, кипи, ты терпи, котел, терпи,  
ты, матросик полуголый, пошевеливай — не спи.  
На молу лежит вельбот, переломан левый борт,  
ни на что уже не годен, на дрова теперь пойдет.  
Жил ты, плавал, путь один — алый пламень, черный дым...

От золы веселый дьявол стал седым, совсем седым.  
Черный дым столбом стоит, чайка черная парит,  
Там другой котел на небе адским пламенем горит.  
Два огня и два котла, и кипит, кипит смола,  
облака летят по небу золотые как зола.



Евгений Голубовский

## БАБЕЛЬ ВО ФЛОРЕНЦИИ

«Бывают странные сближения» — как не вспомнить эту фразу А. С. Пушкина, когда жизнь сталкивает вот с такими странными сближениями.

Можно, конечно, задаться целью — найти нечто новое о Бабеле. А результат? Сомнителен.

Правда, именно я напечатал когда-то в «Вечерке» очерк «Самый упрямый одессит» о боцмане Иване Сергеевиче Барвиненко. Поставил перед собой человек, влюбленный в космос, задачу — найти метеорит. Поднял с земли тысячи камней и... нашел. Зарегистрирован Академией наук метеорит «Одесса», найденный в Лузановке И. С. Барвиненко.

О чем это я? Нет, не поднимал я в библиотеках тысячи журналов и книг... Хотя в свое время мой друг, известный одесский краевед Саша Розенбойм решил просмотреть все однодневные газеты, выходившие в Одессе в двадцатые годы. Так называемые «летучие издания», многие из которых вообще не регистрировались. И вот в газете «На помощь» он обнаружил рассказ Бабеля «Справедливость в скобках», переписал его от руки, принес мне. Вместе написали предисловие и опубликовали этот рассказ в журнале «Простор». С тех пор этот рассказ со ссылкой на алма-атинский журнал перепечатывается во всех собраниях сочинений Бабеля.

В 2017 году я готовил номер «Всемирных одесских новостей». Не простой номер — сотый (!). И решил выпустить его перед днем рождения Бабеля, перед вручением первой Бабелевской премии. И, естественно, ждал чуда — а вдруг... 18 мая, празднуя Международный день музеев, Одесский художественный музей решил сделать любителям искусства подарок — показать французский фильм об одесском французском художнике Филиппе Гозиасоне режиссера Давида Гринберга.

Меня пригласили — потому что еще в 60-е годы я писал о Ф. Гозиасоне, а позже даже переписывался с ним.

Филипп Гозиасон для Франции — классик, фигура легендарная. Он родился в Одессе 15 (27) февраля 1898 года, его мать была племянницей Леонида Пастернака. В Одессе принимал участие в выставках



Независимых, преподавал в студии А. Экстер. В Одессе же вышла его книжка об Эль Греко, первая книга на русском языке о великом художнике. В ноябре 1919 года Гозиасон эмигрировал в Италию. Жил в Германии, потом во Франции, воевал, был ранен, скрывался от нацистов. Умер в почете и славе в 1978 году в Париже. За год до смерти дал журналистам четырехчасовое интервью. Фрагменты из этого интервью и легли в основу фильма.

И вот идет показ фильма. Интересно. Но никаких неожиданностей. Для меня.

Тридцатые годы. И тут Филипп Германович говорит, как будто знает, что я буду это когда-нибудь слушать: «А теперь о Бабеле».

Этот фрагмент из фильма — еще нигде не публиковавшиеся мемуары — я сейчас предлагаю вашему вниманию.

«Об Исааке Бабеле. Я встретил его в 1934-м во Флоренции. Я был раздражен. Бабель, знаменитый советский писатель, разглагольствовал о людях из России, о необходимости... рассматривать искусство с марксистской точки зрения.

Я был не в том состоянии, чтобы говорить ему, что я люблю Флоренцию по абсолютно другим причинам. Я встретился с Исааком Бабелем возле галереи. Он навещал Горького на Капри, возвращался в Париж с остановкой во Флоренции, и он увидел в газете объявление о моей выставке. Мы договорились встретиться на Площади Синьории в кафе напротив «Давида» Микеланджело.

Когда я нашел его в кафе, я увидел плачущего Бабеля.

Я спросил его: «Что с тобой?»

«Как можно выдержать такую красоту?»

Я говорю: «Это то, чего я не ожидал».

«Ну ладно! Я останусь здесь на эту ночь».

Мы продолжили наше шатание по Флоренции, мы говорили ни о чем, это были просто разговоры обо всем, что мы видели. Я рассказывал все, что знал об архитекторах Флоренции. Брунеллески, Микеланджело как архитекторе, и он задавал вопросы, что можно увидеть в Риме.

Его энтузиазм становился все более буйным. Он был чрезвычайно благодарен за информацию, которой я с ним делился, и он стал таким нежным, каждый раз говоря: «Какая красота! Вы и представить себе не можете! Как прекрасно, что все это существует в мире».

Мы вернулись пешком от Палаццо Питти к церкви Санта-Мария-Новелла, там, где вокзал.

Мы добрались на вокзал за час до прибытия поезда. И как раз тогда мы увидели... прибытие молодых фашистов, в униформе с черными рубашками, выстроившихся вдоль платформы.

Мы молчали, Бабель и я, так как в такие минуты лучше держать рот на замке. А когда поезд подъехал, Бабель посмотрел на меня и сказал:

«Везде все то же самое».

Это глубоко потрясло меня. Я сказал ему:

«Что ты хочешь этим сказать?»

«То, что я сказал. Я имею в виду, что в России, откуда мы, и в Германии, и здесь я вижу одно и то же».

Я спросил: «Ты же не член... партии?»

«Я? Я не вижу разницы между тем, что мы только что видели и что можно видеть дома. Да, я не могу иначе. Я не могу жить вне России. Но, дорогой Филипп, мы больше никогда не увидимся. Потому что после Парижа я еду в Москву. И можешь быть уверен, я больше никогда не выеду из страны». Абсолютно очевидно, что он предвидел свой конец, и я больше никогда не видел его».

Многое меня взволновало в этом рассказе Филиппа Гозиасона. Но более всего — слезы Бабеля от соприкосновения с великим искусством. В тот же вечер я поделился этой находкой (оговорив, что право первой публикации за мной) с крупнейшим знатоком жизни и творчества Бабеля Еленой Погорельской. Она внесла два уточнения: во Флоренции Бабель был между 19–20 и 27 мая 1933 года; на Капри Бабель ездил с Максимом Пешковым, а у Горького был в Сорренто. Память у Филиппа Гозиасона была превосходной. Он по памяти вспоминал стихи Катаева и Бабаджана, по памяти воспроизводил одесские вывески 1914–1919 годов и написал о них статью во французском журнале. Но, конечно, и хорошая память может не удерживать даты.

И еще. Бабеля за границу еще раз «выпустили». В июне 1935 года в Париже был созван Международный конгресс писателей в защиту культуры. В советскую делегацию включили Тихонова, Караваеву, Киршона, Лахути... Французы подняли бунт — они требовали прислать на конгресс Пастернака и Бабеля. Пришлось пойти на

попятный, их отправили, когда уже шли заседания. Исаак Бабель и Борис Пастернак выступили на конгрессе. Для Исаака Эммануиловича Бабеля это была, действительно, последняя поездка за рубеж. Во Франции жили его первая жена, их дочь Наташа, но на дальнейшие просьбы поехать он получал отказ.

В 60-х годах в письме ко мне Филипп Гозиасон, называя своих одесских знакомых, упомянул Ильфа, Фазини, Бабеля. И я ругаю себя за то, что, сосредоточившись на его творчестве, не расспросил о литературных связях.

Вероятнее всего и с Бабелем Гозиасон был знаком по Одессе. Уже не узнаешь...



Виктор Лошак

## УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ

21 августа 1997 года Борис Деревянко, как обычно, шел на работу пешком. Путь до редакции в хорошую погоду занимал у него полчаса. Хотя главному редактору «Вечерней Одессы» еще оставался год до шестидесяти, врачи советовали больше ходить. Нервотрепка, вечное курение трубки, сидение в редакции с утра и допоздна уже сказывались на сердце. Когда до здания издательства оставалось метров пятьсот, сзади Деревянко нагнал человек. Неизвестный четыре раза выстрелил ему в спину. Смерть наступила мгновенно. Позже стрелявшего или выбранного на эту роль задержали. На суде он свою вину отрицал, факты у обвинения не сходились, о заказчиках и посредниках и речи в зале заседаний не было. Обвиняемый был признан виновным и получил пожизненный срок. Площадь, на которую спешил к началу рабочего дня Борис Деревянко, теперь называется его именем.

Те, кто знал Бориса Федоровича, а тем более работал с ним рядом, не должны были удивиться, что жизнь его в это время и в этом городе закончилась именно так. Да он и сам что-то подобное предвидел. В 1994-м описывал себя как белую ворону одесской власти: «... Начнешь бунтовать, носиться с реформаторскими идеями, и тогда финалу не позавидуешь».

Мой первый редактор был бойцом. Когда костяк «Вечерки» разехался, перешел в столичную прессу, он вступил в войну один. Стал не только редактором, но и самым ярким, самым острым автором собственной газеты. Город воспринимал его как последнего бойца обороны Одессы. Обороны от криминала, провинциальной серости, воинственного национализма, реванша бездарностей из бывших функционеров. Одесса избрала его на первых свободных выборах народным депутатом СССР. И это при том, что именно журналист и редактор Деревянко мог говорить городу неприятную правду: «Одесса значит для меня все... Но Одесса многолика. Одесса умная, серьезная и веселая, Одесса терпеливая, неунывающая и талантливая, но

есть и другая Одесса — жуликоватая, жадная, ленивая и грязная, сутелливая, истеричная, безумная любительница “сладкой жизни”».

...Уже уехав из Одессы, я еще долго ловил себя на том, что правлю от руки текст так же, как это делал он. Борис Федорович, пыхтя трубкой, печатал на машинке, но правил всегда авторучкой с тонким пером и всегда черными чернилами. Мне казалось, что мой первый редактор Борис Деревянко любит смотреть на себя со стороны: вот так по-хемингуэевски он курит трубку, так тщательно расписывается под приказом, а вот — ярко, но не без позы выступает на летучке... Летучки и вообще прищпоривание коллектива были его страстью. Еженедельно собирая журналистов, он не уставал придумывать анкеты. Кроме выяснения мнений о лучших и худших материалах, мог задать вопрос о том, например, что ты читал на этой неделе или какая статья понравилась у конкурентов.

После первого курса университета летом в каникулы он взял меня на полставки библиотекаря — 45 рублей. Начинать я спортивным репортером буквально в один и тот же день с Геной Швецом, позже одним из лучших спортивных журналистов страны. Полжизни проработал он в отделе спорта «Комсомолки». Гена был профессиональным спортсменом — прыгуном в высоту. Он и в шестьдесят еще участвовал в самых известных марафонах в разных точках мира. Однажды поразил меня тем, что вернулся из Сахары, где тоже, оказывается, бегал.

Неудивительно, что именно Швец придумал ставший популярным в стране марафон одесской «Вечерки» «100 километров за 24 часа». Через год после его открытия мы с друзьями и сами попытались его пробежать или хотя бы пройти, но где-то на тридцатом километре сломались. Помню, как прямо в спортивном костюме я поехал домой, и на улице почему-то все на меня оглядывались. Некоторые улыбались. Я осмотрел себя с ног до головы. Ничего не смог понять. И только дома, раздевшись, обнаружил на спине огромный белый номер.

Работать в отделе спорта было непросто, потому что одним из главных, если не главным автором его был футбольный обозреватель Андрей Ясень. Он громил и возносил «Черноморец» так страстно, будто это был не футбол, а продолжение боев за город времен Великой Отечественной. Ясень был героем не только газеты, но и известной всем «Сборки» — одесские фанаты собирались на

Соборной площади. В самой же редакции верность мнения Андрея Ясеня никогда не обсуждалась. Ясень — это был псевдоним главного редактора. На мой взгляд, «Ясень» — это все-таки было лучше, чем юношеский его псевдоним в районной газете — «Гарольдов».

Когда лето закончилось, Деревянко меня в штат не взял. И разговаривать со мной он тоже не стал. Опытный мой друг Димка Романов предположил, что в заполненной мною анкете Деревянко обнаружил неприятную любому украинскому партийному руководителю запись в графе национальность, а с евреями у него в редакции и без меня был явный перебор. Надо сказать, что все годы работы в одесской «Вечерке» один из главных дискуссионных вопросов в журналистских междусобойчиках звучал прямо: «Антисемит ли Борис Федорович?» Я так и остался сторонником того, что природно этот парень из райцентра Ивановка евреев не то, что недолюбливал, но не вполне им доверял и даже в какой-то степени разделял по отношению к ним линию партии. Но как природный журналист и человек, стремившийся к просвещенности, поощрял таланты и открыто признать в себе хоть каплю антисемитизма не мог. Более того, обвини его кто-то в этом важном для бдительного украинского коммуниста качестве, Деревянко наверняка бы обиделся. Текст, мысль, сенсация были для него важнее любой национальности автора. Но факт остается фактом, что сам он бесконечно этот вопрос обдумывал и к нему возвращался даже в своих редакторских колонках. При этом очевидно: оценки других его волновали меньше самооценки. Он как-то признался: «За годы редакторства мне пришлось выслушать и прочитать о себе много и всякого — как резко критического, так и восторженного. Оценки были просто взаимоисключающими: антисоветский, антипартийный деятель и партократ, сионист и антисемит, демократ и консерватор, умница и дурак (“Ты не Ясень, ты — дуб!”), справедливый и бессердечный...» Деревянко все-таки жил в Одессе, где самоирония была и остается главной защитой. Интересно было наблюдать, как боец партии сочетался в этом страстном человеке с тонким и смелым делателем самой популярной в городе газеты.

Одесса ждала «Вечерку» долго. При советской власти городская вечерняя газета разрешалась городу с миллионом жителей. Миллионнику полагалась уже иная инфраструктура и многое другое. Но с этим долго тянули, хотя все знали, что миллионный житель уже давно родился. Наконец, летом 1973-го ему разрешили родиться и

официально, а 1 июля вышел первый номер «Вечерки». В миллионной Одессе тираж «Вечерки» достигал двухсот тысяч экземпляров. Получалось, эту газету читали все или почти все одесситы. Это слово, «одесситы», кстати, ужасно не любили в украинских партийных верхах, чувствуя за ним опять же какой-то неправильный национальный оттенок. Честно сказать, мои земляки платили власти тем же — глубоко и искренне «имели ее в виду». Одесса, собственно, как и вся страна, напоминала море наоборот: наверху все благостно — штиль, зато ближе к невидимому дну, внутри общества — волны недовольства и шторма разочарований. Позже эта накопившаяся придонная энергия и вылилась в революцию — перестройку.

Из штата я осенью 1973 года ушел, но продолжил печататься и учиться. Популярность «Вечерки» и игра за баскетбольную сборную университета позволяла мне не очень напрягаться на местном филфаке. Следующим летом Деревянко меня окончательно взял в газету. Моими университетами стали письма трудящихся городагероя. Одесса, вся Одесса писала. Иногда мне казалось, я слышу над городом шорох — это скрипели по бумаге тысячи авторучек. Через много лет в «Известиях» я нашел неожиданное подтверждение того, что это, быть может, не галлюцинация. На каждую республику и область в отделе писем этой огромной редакции было по одной учетице, а вот на Одессу — три!

Я даже помню первую стопку расписанных мне, как корреспонденту, писем и фразу из верхнего конверта: «Костик стоял на тонких ножках и от воздуха качался». В общем, ничего веселого. Давно забытый жанр письма в редакцию, а на моих глазах этот водопад превратился в реку, потом в ручеек, потом в тонкую струйку и иссяк... Даже старый добрый «Огонек» редко теперь будит у читателя желания купить конверт и сесть за белый лист. Зачем, если есть интернет?

В «Вечерку» каждый день приходило по мешку писем. Если бы они были звуковыми, то из мешка доносились бы стоны, ругань и плач. Письмо в редакцию при советской власти было обычно последним жестом отчаяния. Помогая людям, газетчики сами провоцировали своих читателей писать им. Если не считать вечных жалоб на отсутствие воды, шум трамваев и неустроенность коммуналок, можно было бы не поверить, что одни и те же идеи и вопросы приходили в голову самым разным гражданам почти ежедневно круглый год. Чаще всего одесситы кричали «Эврика!» от идеи о том, что раз

под Одессой есть катакомбы (город строился из камня, который под ним же и добывался), то «у нас же легко будет провести метро!» Раз в неделю кто-нибудь просил объяснить: ну неужели для ветчинно-рубленной колбасы действительно рубят такой замечательный дефицит, как ветчина?

У жанра «одесского письма» был и свой король. Его звали Георгий Никонович Мудряков. В подписи значилось «ветеран войны и труда». И он действительно воевал, а оставшуюся часть жизни проработал на судоремонтном заводе. Письма Мудрякова легко было узнать сразу — они начинались с выведенной цветными чернилами цитаты из классиков марксизма-ленинизма. В «Вечерку» Мудряков писал много, но все-таки по остаточному принципу. Его письма цитировались едва не во всех главных телепередачах страны. Особенно его любил главный политобозреватель СССР Юрий Жуков. «Ветеран войны и труда Георгий Мудряков из Одессы спрашивает, до каких пор израильская военщина...» — начинал мэтр «Международную панораму». Бичевал Георгий Никонович и «американский империализм», и «колониальную политику тори», и так далее по всему пропагандистскому списку. Сам же эпистолярный король из Одессы очень гордился одной своей победой. Якобы это он написал Алексею Каплеру в «Кинопанораму» письмо с замечанием, мол, не сиди в кресле — осанки не видно. И Каплер пересел на стул.

Была у этого изобретательного пенсионера и своя ловушка для журналистов. Через копирку он размножил ответ из Института русского языка о том, что выражение «поднять тост» неверно, поднять можно лишь бокал или рюмку. Как только в любой из газет страны он встречал что-то с поднятием тоста, тут же слал возмущенное письмо с копией ответа специалистов. Не знаю, почему все это доставляло старому одесситу удовольствие?

Жизнь Георгия Никоновича закончилась так, как и должна была. Переписку, связки ответов он хранил на чердаке своего старенького дома на Пересыпи. Будучи пожилым и грузным, полез за какой-то бумажкой, сорвался и больше не встал. Зять его позвонил в редакцию: «Вам не нужны ваши ответы?»

Вообще у журналистики есть какие-то магниты, которые затягивают и затягивали в нее самых разных, порой совершенно посторонних профессии людей вроде Мудрякова. Публичность? Тщеславие? Безмерно популярный в СССР фильм «Журналист»? Хорошо



одетые, брезгливые типы на телеэкране, неискренне сочувствовавшие американским безработным? Одним из таких случайных, но замечательных персонажей был мой начальник — заведовавший отделом писем Игорь Новицкий. Он закончил войну командиром авиаполка, был изранен и награжден. Война и самолеты остались его родиной. Работу мы с ним делили так: я с интересом занимался письмами, а Игорь с таким же интересом простаивал часами у окон редакционного холла, выходявших в сторону аэропорта, и четко фиксировал ошибки и удачи своих настоящих коллег при посадках и взлетах.

«Нет смелых журналистов, есть смелые редактора», — эта советская аксиома была полностью применима к Борису Деревянко, а позже, уже в Москве, и к другому моему учителю — Егору Яковлеву. Советская журналистика от Сталина до Брежнева была сурова: да, автор отвечал за написанное, но после публикации главным ответчиком становился главный редактор. Деревянко как главред и взял на себя бесконечно тяжелый груз сатиры в газете. Мне даже трудно представить, какое количество врагов он нажил себе в Одессе, как выкручивался в мрачных коридорах Одесского обкома партии — том самом здании, где уже в другую эпоху, 2 мая 2014-го, горели одесситы.

Но любовь города-шутника «Вечерка» завоевала именно своими фельетонами. Они назывались «Пробегами Антилопы Гну» (привет Ильфу с Петровым), каждый имел свой номер и дежурных водителей. Фельетонистов было трое, а каждый очередной фельетон писали вдвоем. Жанр был трудоемким: проверка фактов и документов, встречи с героями, какие-то нужные поездки и муторно долгое писание... Город хорошо знал всех троих еще и потому, что двое, Юрий Макаров и Семен Лившин, были известными одесскими КВНщиками, а третьего, Диму Романова, просто нельзя было не запомнить: высокий, глаза-двустволка, с острой рыжей бородой... Я никак не мог представить, как человек с такой внешностью работал до газеты пожарным. Популярность их была невероятной. Шутники — вообще главные одесские герои, пожалуй, похлеще капитанов дальнего плавания и даже футболистов «Черноморца». Каждый день мы по Пушкинской улице из редакции ходили пить кофе в бар гостиницы «Красная». Несколько раз к Макарову, капитану ставшей чемпионом страны команды КВН, мамыши с одесской непосредственностью подводили детей: «Потрогай дядю, доча, это Макаров!»

Собственно, это была и остается главная необычность Одессы. Отсутствие дистанции между людьми — это то, что так удивляет, а иногда и пугает приезжих. Через минуту после того, как вы спросили: «Как пройти на Дерибасовскую?» — одессит вам расскажет о себе и семье такое, что в Москве вряд ли доверят друзьям и после десяти лет знакомства. Когда меня просят объяснить Одессу, я всегда вспоминаю один и тот же эпизод. Мы с моим старшим другом по «Вечерке» Женей Голубовским, разговаривая, ловили такси. Подъехали «жигули», и мы сели сзади, продолжая беседовать. Через несколько минут на светофоре немолодой водитель повернулся к нам: «Говорите же громче, мне не слышно».

Секрет естественного одесского юмора был не сложен — нужно было просто уметь слушать и слышать свой город. Жванецкий, например, всегда передвигается по Одессе с блокнотиком («Не можешь любить? Сиди дружи», «Это же как нужно ненавидеть страну, чтобы бросить квартиру с таким ремонтом», «Меня опасно в гости звать. Я прихожу», — это все оттуда), а писатель Валерий Хаит издал смешную книжку из просто услышанного. Там, поверьте, нет ни одного из пошлых якобы одесских анекдотов, пачками рассылаемых в сети и по мобильным. Одесса, в отличие от героев этих анекдотов, шутит без натуги.

Видимо, потому, что я все время писал какие-то реплики по письмам, меня взяли в команду фельетонистов. Там как раз освободил место Макаров, которого повысили до редактора самого большого, экономического отдела. Через несколько лет я унаследовал от него и этот пост, а позже вслед именно за ним перебрался в «Известия»... Герой КВН и лидер «Вечерки», Юра на всю жизнь оставался моим любимым другом — терпимым, веселым, разнообразно одаренным. Вспоминая перестройку, нельзя, например, обойти ее знаковое событие — Юрину пьесу «Не был, не состоял, не участвовал» в театре им. Станиславского. Трагедия и новый взгляд на жизнь, пришедший к человеку, потерявшему партбилет... Сегодня даже трудно объяснить, насколько революционным был этот сюжет. Пьеса шла с таким успехом, что Макарова пригласила родная Одесская киностудия. Перед ним поставили лишь одно условие: «Мабудь, Юрію Івановичу, це будэ профспілковий квіток?..» Помню, тогда мы с ним, смеясь, вспомнили закон украинской партийной жизни: что в Москве не любят, в Киеве — ненавидят.

Отъезд Макарова в эмиграцию в середине 90-х был прежде всего несправедлив к его таланту журналиста (он работал редактором отдела фельетонов «Известий») и драматурга. Как бы ни успешен он был в Америке, именно в Москве, а не в Нью-Йорке были его среда и его читатель.

...Я прожил счастливую журналистскую жизнь. Счастье это было в друзьях и учителях, в тех газетах и журналах, где я работал и работаю. В «Вечерке» мне было так интересно, что первые несколько лет я даже не ходил в отпуск. Работа все равно была интереснее. Так же, собственно, жил и Деревянко. «Мой рабочий день длится 10–12 часов, — как-то писал о себе Борис Федорович, — львиная доля времени принадлежит не мне, а полосам, чужим рукописям, письмам, справкам, приказам, телефону, приемам по личным вопросам, выступлениям перед людьми...» Изредка Деревянко уезжал в командировки, а в отпуск — никогда. Но и в это счастливое десятилетие «Вечерней Одессы» (я пришел в нее в 22 и ушел в 33) не было интереснее времени, чем то, когда мы с Лившиным и Романовым писали фельетоны.

Кроме самой работы, встреч с людьми, бесконечного придумывания шуток, каких-то, как мы их называли, «площадок» с размышлениями, разочарованного черканья написанного, было и внутреннее ощущение, что мы смеемся над монстром, которого ненавидели и обсуждали на кухнях. Смеемся над властью, над тупой местной бюрократией, над порядком вещей, которому вроде должны были служить. Мы многих защитили, кого-то и спасли, но попутно, конечно, и обидели немало. Почему-то эти обидные эпизоды застряли в памяти четче. Позже стало понятно, что в том числе выступали и против каких-то зачатков рынка, против пусть искаженной, но личной инициативы, пробивающейся робко в советских гражданах. После наших фельетонов закрыли знаменитую одесскую барахолку. Нам, например, тогда казалось справедливым сражение с теми, кто скупал у водителей дизтопливо, чтобы использовать его для обогрева теплиц, кормивших город ранними овощами. То обстоятельство, что экономические порядки заставляли шоферов все равно сливать бензин и солярку как доказательство пройденного большого километража, нами в расчет не бралось.

Кажется смешным, что мы боролись, например, со спекуляцией — выгодной перепродажей товара. Смешно это было прежде всего потому, что этим промыслом занималась половина города — все,

кто был причастен к работе на море. Потому что стимулом работы советского моряка была так называемая «школа» — умение с максимальной выгодой потратить заработанную в рейсе валюту. Тут была масса нюансов и тонкостей: где и что купить, кому и за сколько перепродать. Например, джинсы везли только лохи, люди с опытом привозили из рейса отдельно ткань, нитки и фурнитуру, что было куда выгоднее. В Одессе, напомним, находилась крупнейшая в мире судоходная компания — Черноморское морское пароходство, а еще китобой, рыболовы, технический флот и т. д. Таким образом, спекуляцией кормились десятки и десятки тысяч одесситов. Среди самих горожан она уж точно не была зазорной.

Возможно, со стороны наша работа казалась фанатичной. Мы могли ночь напролет придумывать заголовок для фельетона и, окончательно озверев от этого занятия, часа в три ночи минут тридцать играть в длинном редакционном коридоре один на один в футбол моим спущенным баскетбольным мячом. Смешно, как однажды после такого матча на рассвете, когда мы с Семеном Лившиным сочиняли что-то о торговле цветами, а заголовок не шел, нам в одну и ту же секунду пришло в голову название — «Вяленький цветочек».

Со своими фельетонами мы десятки раз могли лишиться и работы, и партбилетов, что собственно было одно и то же. То замахнулись на неприкасаемых, то герои оказывались чьими-то родственниками, а то и сами прокалывались на собственном кураже. Например, как-то использовали в концовке текста цитату из популярного антисоветского анекдота. Какой-то бдительный читатель просек и пожаловался в Киев. Какой начался скандал! Но все-таки нашим громоотводом был главный редактор и, как ни странно, не только он. Еще в перестройку мне казалось несправедливым поголовное бичевание тех, кто работал в партийном аппарате. Может быть, СССР и оставался так долго на плаву, потому что среди тех, на ком держалась власть, было немало трезвых и достойных людей. В ЦК работали и Александр Николаевич Яковлев, и замечательные авторы «Московских новостей» — Андрей Грачев и Александр Ципко, будущий пресс-секретарь Михаила Горбачева — Виталий Игнатенко, Виктор Черномырдин, а в самый последний призыв — Сергей Ястржембский, Игорь Малашенко... То же и на местном уровне. Смелость «Вечерки» была защищена первым секретарем горкома Петром Дацко и особенно секретарем по идеологии Евгением Стеценко.

Дацко изредка приходил в свою газету, но не выступал, а, в основном, слушал. У него был внимательный и тяжелый взгляд. Хотя до горкома он возглавлял крупный завод, мне казалось, что именно война, которую он прошел от звонка и до звонка, оставила в нем какой-то трагический незаживающий след. Вообще в советское время люди воевавшие меньше боялись, их этические принципы, их знания о хорошем и плохом, достойном и недостойном были четче разложены по полочкам. С главным начальником Одессы я столкнулся лично лишь однажды. В ночь после объявления о смерти Брежнева меня послали на митинг ночной смены сборочного цеха старого машиностроительного завода ЗОР. Люди собирались неохотно, переругивались. От разбитых окон тянул сырой ветер. Дождаться нужно было в кабинете начальника цеха. Я вошел и застал там лишь одного человека — за столом сидел первый секретарь горкома. Было темно, холодно, и мы долго молчали. «Который час?» — спросил меня Дацко. «Я без часов, Петр Семеныч». Мне показалось, ему полегчало. Дальше он мне бесконечно долго и наставительно рассказывал, как важно для журналиста чувство времени и уж часы иметь совершенно обязательно. Что случилось с его часами, я спросить постеснялся.

Еще и не мечтая стать главным редактором, я пристально наблюдал за Борисом Деревянко. Думаю, всех без исключения интересует личность собственного начальника. Но меня необъяснимо интересовала технология его работы, логика решений. Почему-то первое, что я понял, — это обреченность на одиночество. Наверное, это касается любого, кто руководит людьми творческими: режиссеров, главных редакторов, дирижеров... Деревянко ни с кем в «Вечерке» не сближался. Что-то мог обсудить, уважал кого-то больше других, но даже на редакционных застольях никогда не было пожелавших заступить за красную линию отношений с шефом. Мы выпустили, наверное, сотню редакционных стенгазет по самым разным поводам и написали десятки всевозможных капустников, где шутили и на его счет. Он, внешне, не обижался, но уж точно никак этому не радовался. И вообще, я думаю, обиделся по-настоящему на меня лишь однажды, когда я не пригласил его на собственную свадьбу. Мы просто боялись всеобщей скованности от присутствия такого гостя и, наверное, были неправы. Много позже, когда вдова Бориса Федоровича Алла собрала его публикации в книгу, я был тронут и удивлен одной

фразой из ее письма: «Борис понимал, что многими не услышан... Он всегда выделял вас среди других».

Глядя на то, как вел дела Борис Деревянко, я понял, что газета, радио, телеканал — это, конечно, журналисты. Но главное — среда, которую удается создать. И читатели, и журналисты, и те, кто изредка пишут в газету, и другие, кому можно позвонить, чтобы проверить факт или уточнить подробность. Старшим по фельетонам у нас был Семен Лившин. Бог ему дал не просто талант, а сатирическое сознание. Он смешно писал, смешно общался, весело жил. Когда в дружеском кругу начинал шутить, этот поток уже нельзя было остановить. Я бы не удивился, если бы в окружении Семена Адамовича кто-то действительно от смеха помер. В углу его кабинета под шкафом промышляла морская свинка Маша. Стоило Семену забраковать написанное и бросить скомканный лист на пол, как Машка выбегала и с радостным хрустом начинала жевать бумагу. На гостей этот трюк производил ошеломительное впечатление. Предметом нашей особой с Димой заботы были Семины попугайчики. Несмотря на легенды о жуткой яйценокости и ударном материнстве, у этих желтых нахалов не получалось ни с яйцами, ни с птенцами. Мы применяли все возможные методы, чтобы порадовать любимого начальника. В воду птичкам подмешивали и «ркацителы», и «билэ мицне» — не помогало. Семен очень расстраивался. Тогда мы заказали известному в городе камнерезу два яйца. Когда Лившин по утру провел дежурный осмотр, счастью его не было границ... Потом нам пришлось скрываться до конца рабочего дня.

Нет ни Димы, ни Юры, ни Семена, и единственные люди, с кем можно вспомнить то время,— знаменитый одесский журналист Женя Голубовский, наша фабрика идей, и легендарный Ефим Выдомский. Четыре колеса «Антилопы Гну» — это и был Ефим. Он служил одесским таксистом, но план его горел голубым пламенем чуть ли не ежедневно, потому что Выдомский мотался по нашим общим фельетонным делам. Все оборвалось на том, что, зацепившись за «пятый пункт», профком таксопарка не пустил его в Болгарию. «Ах, так?!» — ответил им Ефим Яковлевич и, собрав жену Риту и сына Вадика, уехал обиженный в Америку. Чем же занялся он там? Работал таксистом и писал в «Новое русское слово» бичующие реплики о состоянии дорог Нью-Йорка, уличном мусоре и полицейском беспределе. Ровно о том же, о чем приносил заметки в «Вечернюю Одессу».

Однако о чем бы Выдомский ни писал, в истории Одессы он остался как знаменитость. На организованной «Вечеркой» одесской «Юморине» этот асс съехал на «Запорожке» по Потемкинской лестнице.

Парадоксально, что веселый городской праздник с шествием и пробегом старых автомобилей — «Юморину», придуманную одесскими КВНщиками как хотя бы какую-то временную замену КВНу, — со временем тоже запретили. Больше других, может быть, расстроился режиссер Олег Сташкевич, позже ставший незаменимым помощником и литературным секретарем Миши Жванецкого. Ведь название «Юморина» придумал именно Сташкевич. «Юморину» пытались отвоевать с применением тяжелого московского оружия. В Одессу специально приехал редактор отдела сатиры и юмора «Литературной газеты» Виктор Веселовский. Его обращение к первому секретарю Одесского обкома партии начиналось словами: «Советский народ — народ весельчак». Не помогло. Из обкома Веселовскому, копия «Вечерке», разъяснили, что Одесса — город замечательных трудовых и боевых традиций и смеяться здесь не над чем, да и времени на это у народа-труженика нет.

Мы, каждый по-своему, трудно уходили из «Вечерки». Романов стал собкором «Труда», мы с Лившиным рванули в столицу. В такой трудный момент, когда, по сути, все нужно было начинать с начала, доказывать заново собственную состоятельность после одесской популярности, мы были очень сосредоточены на себе. Наш разгонный блок — «Вечерка», казалось, навсегда остался в пройденных, одесских слоях атмосферы. Мы уж точно не очень задумывались, какво без нас будет газете и ее редактору. Через годы какой-то старый коллега обвинил Деревянко, что он разогнал лучший состав «Вечерки». Ответил ему редактор, как это у него было принято, через газету: «Господи, да какой редактор в здравом уме будет разгонять людей, на которых держится газета? Кто может знать, что творилось на душе у меня, когда то один, то второй, то третий просили отпустить их! Что же я не понимал, что с уходом Семена Лившина, Виктора Лошака, Дмитрия Романова уйдет и юмор со страниц газеты? Что на первых порах нельзя даже пытаться найти им замену, потому что равноценной нет, а на подмену читатель просто не согласится?.. Но ясно было: человеку надо расти, он хочет заявить о себе громче, он, в конце концов, принял нелегкое для себя решение — начинать сначала, это и мужества требует».

Одесса тяжело отпускала меня. Я еще не разложил чемодана в Москве, как пришло страшное известие — умер от разрыва сердца папа моей жены Марины, молодой, 53-летний. Он был мне и родственником, и другом. Через несколько дней после похорон уже моя мачеха сломала шейку бедра. Страшно было отвечать на междугородные звонки — опять слезы: не стало любимой таксы. В довершение тяжело заболел самый ценимый мною в жизни человек — мой папа. Все выбились из сил: Марина — в Одессе, я — в Москве. Но отступить было нельзя и невозможно. Одна жизнь и одна история, в том числе и история страны, заканчивалась, начиналась другая.





*Влада Ильинская*

ВДАЛИ ОТ МОНИТОРА

**ШЕЛКОВИЦА**

крокодил не ловится  
цапля не клюет  
черная шелковица  
набивает рот  
шортики и маечки  
в сладкой черноте  
девочки и мальчики  
выросли из тел  
казаки-разбойники  
гойи-сорванцы  
вертятся покойники  
мамки да отцы  
вертятся и молятся  
открывают счет  
черная шелковица  
по губам течет

**0110011011001**

пока эфир раслаивала злость  
на то, что где-то, что-то не срослось —  
я просто прожила себя насквозь,  
обратно замоталась в пуповину.  
под куполом утробной темноты  
я стала восстанавливать мосты,  
которыми вышагиваешь ты  
на светлую земную половину.  
моей силлаботоники ока

прошла в ушко газетного ларька  
и, наизнанку вывернув века,  
заглохла под давлением курсора.  
мигай же чаще истовый предел!  
чтоб каждый видел, сколько он успел,  
как много нам дано достойных дел  
на родине, вдали от монитора.  
и будет новый день и новый чат,  
мы нарожаем яблочных зайчат.  
нас больше никогда не разлучат —  
мы станем наконец единым целым.  
хор пикселей, бредущих между строк,  
споеет нам новый ритм и новый ток.  
спасибо, правда, господи за то,  
что подарил и черный нам и белый

### **МИРНЫЙ АТОМ**

трепещет в логове маньяк  
под дулом стонет киллер  
в сенат подался Керуак  
в ашрам отчалил Миллер

Лавкрафт и Эдгар Алан По  
в наглаженных рубашках  
суют прохожим у сильпо  
«Сторожевую башню»

Гомер сраженный красотой  
расстреливает Гойю  
Симон Петлюра и Толстой  
в обнимку входят в Троию

на лобном месте у дворца  
копают Трампом яму  
чтоб в ней резвился без конца  
несносный Фукуяма

летит история в биде  
помянутая все  
и плотник Данте на воде  
девятый круг рисует

там дружно водят хоровод  
тараски и ацтеки  
и мирный атом восстает  
в тени библиотеки



ОТ ПУБЛИКАТОРА

Южно-русская литературная школа, или, как назвал ее Виктор Шкловский «Юго-Запад», кажется прочитанной и зачитанной, разошедшейся на цитаты. Ну кто, скажите пожалуйста, не читал «Одесские рассказы» Исаака Бабеля, «Двенадцать стульев» и «Золотого тельца» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, «Зависть» Юрия Олеши?..

Но у этих писателей до сих пор остаются произведения, не ставшие достоянием широкого читателя. Два таких рассказа публикуются в этом номере журнала.

Юрий Олеша в молодости писал стихи, называл себя поэтом. Томик его стихов мной издан в Одессе, но широкому читателю он недоступен. Как и ранняя проза Олеши.

Еще будучи гимназистом, в Одессе, он печатал рассказы в детской газете «Гудок» под псевдонимом — Малиновская. Первый раз под своей фамилией Олеша опубликовал «Рассказ об одном поцелуе» — романтический, напоминающий прозу XIX века, но в нем уже были олешинские метафоры. Рассказ был экранизирован. Фильм не сохранился.

Мы привыкли к Ильфу-Петрову, как бы близнецам. Но Илья Ильф в Одессе, до встречи с Евгением Петровым, писал стихи. А приехав в Москву в 1923 году, начал писать рассказы. Один из самых первых — «Повелитель евреев».

Ильф послал его письмом в Одессу своей невесте Марии Тарасенко со словами «Если он тебе понравится, я буду очень рад». 11 июня 1923 года Маруся ему ответила: «Рассказ получила. Мне нравится рассказ».

Почему же он не был опубликован? Возможно, затерялся в письмах Марии Тарасенко. Нашла его Александра Ильинична Ильф, их дочь. И подарила альманаху «Дерибасовская-Ришельевская» в 2003 году, через 80 лет после написания.

Рассказ не потерял своего очарования. Он смешной и грустный. Настоящий.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ

## ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕВРЕЕВ

В Брянске шел дождь, за Брянском толпилась весна. Я заметил ее только у Нежина. Причиной этому послужили четыре мебельщика, которые ехали в одном купе со мной. Толстую даму — моего пятого спутника — я тоже не забуду. Я ненавидел ее все время, которое необходимо скорому пассажирскому поезду, чтобы пройти расстояние от Москвы до Казатина. В Казатине она собрала свои вещи и ушла. Только тогда я смог опустить оконную раму.

— У меня тридцать восемь градусов, — сказала толстая мануфактурщица на Брянском вокзале, — я могу простудиться, если этот ветер будет продолжаться.

Раму подняли, и до Казатина воздух, разгорячаясь всё больше, быть может, послужил поводом к тем событиям, о которых мне надо здесь сказать.

Это главная цель моего рассказа. На протяжении полутора тысяч верст я был повелителем четырех мебельщиков. Мне воздавали почести. Я имел подданных, которых держал в страхе. Четыре моих спутника лежали на моей ладони, как воробы, выпавшие из гнезда.

Сахар стал для них солью, а дни их почернели. Мое маленькое княжество образовалось в одном из купе поезда № 7, который от Москвы валился на юг, продираясь сквозь кустарники со скоростью сорок верст в час, а иногда и меньшей. Мануфактурщицу я мог уничтожить, но не сделал этого.

— Илья, — сказал мне пятнадцать лет назад один мой приятель с расстегнутыми спереди, как и у меня тогда, штанами. — Илья, будем ухаживать за девочками. В «Детях капитана Гранта» я читал, что нет большего счастья, чем это!

Я сентиментален и простодушен. С тех пор разговор с женщиной я считал за счастье. Потом я увидел, что не всегда это так. Маленькие девочки превращались иногда в несносных дам. Но уважение к женщине у меня осталось навсегда, и поэтому я терпел своенравие мануфактурщицы.

Все-таки если мне придется на моей жизни еще раз встретиться с ней, я буду этому рад. Имена, раз написанные кровью, второй раз пишутся сахаром. Я понял это, когда увидел башню из сладкого теста в магазине Моссельпрома. Девиз, написанный на знаменах дивизий, был повторен сахарной цепью на сладком тесте.

Нет ненависти, которая не превратилась бы в воспоминание. А воспоминания приятны, и уже теперь мне кажется, что мануфактурщица была прелестной дамой.

Когда я вошел в купе, эта прелесть лежала на нижней полке. Против нее сидело двое мужчин. Моя полка находилась над ними. Еще двое, от которых я видел только спины, перевесились за окно и быстро кричали прощальные слова.

Мне не с кем было прощаться. Серые и голубые глаза и полосатую карамельную юбку я мог увидеть только там, куда ехал. Остальное не было важно для меня.

— Можно мне опустить полку?

Двое сидевших подняли головы. Двое прощавшихся обернулись. Поезд задрожал и сдвинулся.

Я лег, чтобы думать о том, для чего ехал.

Он пришел ко мне, когда я спал, и застрелил меня. Когда я умер, он вынул из кармана моей рубашки письма и стал их читать, сев на мои мертвые ноги. Я увидел знакомый, высокий и нежный почерк и начал осторожно поворачивать голову, чтобы в последний раз прочесть то, что мне писала Валя. Я уже прочел свое имя. Для того чтобы читать дальше, надо было шире раскрыть глаза, и, раскрыв их, я проснулся. В купе было жарко. Я видел плохой сон. Тело мануфактурщицы было неподвижно. Зато остальные четыре моих спутника говорили о мебели.

Они говорили о ней на русском языке, и когда им казалось, что слова их недостаточно убедительны, то они немедленно переводили их на жаргон. На жаргоне они объяснялись прекрасно. Эпитеты их были энергичны, фразы коротки, и мебель, которой они торговали, описывалась ими с большей силой, чем это удалось сделать Гомеру в описании дворца Приама.

Их было приятно слушать. Стулья из бедного ясеня расцветали, покрывались резьбой и медными гвоздиками. Ножки столов разрастались львиными лапами, под каждым столом сидел добрый библейский лев, и красный лев лежал на стене Валиной комнаты,

дрожа и кидаясь каждый раз, когда огонь вылезал из-под кучи спешегося в печке угля.

Тяжелый, как поезд, на повороте кричал трамвайный вагон, тяжелый вагон бежал по кругу, в центре которого была комната. А в комнате на стене — дрожащий лев. Я молча глядел на него, с плеча катилось дыхание Вали, и в дыхании я разбирал слова, от которых сердце падало и разбивалось с тонким, незабываемым звоном стеклянного бокала.

Когда я во второй раз проснулся, стекла вагона еще звенели от резкого торможения. Разбивая стрелки и меняя пути, поезд подходил к брызгающему огнями Малоярославцу. Свесив голову, я заглянул вниз. Мануфактурщица, стена, пила чай, а мебельщики копошились над курицей.

Я был набит добрым чувством к мебельщикам. Они мне нравились. Я еще не знал, что через час смогу распорядиться ими, как захочу. Я относился к ним как равный, и если не вступал в их беседу, то только потому, что мне нравилось любить их молча.

Мое молчание принесло неожиданный плод. Оно встревожило мебельщиков. Обглаживание курицы и разговор на русском языке прекратились. В действии остался один только жаргон.

Но я уже не слушал. Поезд валился к югу, от паровоза звездным пламенем летел дым, голова поворачивалась вправо и влево, и от жары в купе стоял легкий треск.

Жара делает людей резкими на суждения и опрометчивыми в поступках. Во всем, конечно, была виновата мануфактурщица. Я уверен, что, если бы рама была опущена, не произошло бы того, что случилось, и слова, которые так меня изумили, ворвавшись в мой слух, не были бы сказаны.

Они ошиблись. Жаргон я понимал, а чекистом никогда не был.

Я испробовал много профессий и узнал стоимость многих вещей на земле. Я узнал страх смерти, и мне стало страшно жить.

Я был солдатом и штурмовал бунтовщицкие деревни. Разве я когда-нибудь забуду блестящий рельс, через который перепрыгнул, и огромного человека, ждавшего меня внизу под откосом? Штык его винтовки провалился, когда я выстрелил, и этого забыть нельзя.

Я узнал любовь, и разве я когда-нибудь забуду картофельный снег, падавший на Архангельский переулочек, в котором я топал по ночам, потому что там лучше всего вспоминались худые, вызывающие нежность руки?

Я работал на строгальных станках, лепил глиняные головы в кукольной мастерской и писал письма для кухарок всего дома, в котором жил, но чекистом никогда не был.

Однако мебельщики поселились в воображаемом мире, мир был полон духоты, догадка в нем немедленно становилась уверенностью, и я был для них чекистом, человеком, который может отнять дубовые стулья и комоды из сосны, сделанной под красное дерево.

Поля почернели, тучи были спущены с цепей, и ветер заматывался в спираль. Громкий разговор о моих преступлениях продолжался в горячечной духоте.

Я узнал, что расстрелял тысячу и больше человек. Все эти люди были добрыми семьянинами и имели хороших детей. Но я не щадил даже детей. Я душил их двумя пальцами правой руки. А левой рукой я стрелял из револьвера, и пули, выпущенные мною, попадали в буфеты, сделанные из дорогого лакированного ореха, и вырывали из них щепки.

Мебельщики называли даты и города, где я все это проделывал. Они были возбуждены, и единодушие их раскалывалось только иногда и только в мелочах.

Я насиловал женщин. Это установила мануфактурщица. Да, я погубил не одну девушку. Предварительно я разрывал на них платья из синего шелка, которого теперь нигде нельзя достать. На синем шелку были вышиты желтые пчелы с черными кольцами на животах. Я много порвал такого шелку и многим девушкам показал жизнь той стороной, где были не пчелы, а только боль пчелиных укусов.

На поезд напала гроза, за поездом гналось убийство. Молнии разрывались от злобы и с угла горизонта пакетами выдавали гром. Внизу мне приписывали поджог двухэтажного дома. Час захвата власти настал. Я сел и спустил ноги вниз.

— Евреи!

Я ликовал и говорил хриплым голосом:

— Евреи, кажется, сейчас пойдет дождь!

Ни одна тронная речь не была так незначительна, как моя. Однако ценность вещи зависит от того, кто ею владеет. Слова приобретают значение в зависимости от места, где их произносят, и языка, на котором говорят.

Я сказал их по-еврейски.



Дни мебельщиков почернели, и жизнь их стала им как соль и перец. Я думаю, что они тоже не заметили весны, толпившейся за Брянском.

От Брянска и до низкорослого вокзала в Одессе они лежали передо мной животом на полу. Я обнаружил свое знание жаргона, но не сказал больше ничего. Меня продолжали считать чекистом.

Меня боялись и готовы были дать мне удовлетворение в том виде, в каком я захотел бы его взять.

Я узнал, чем славна каждая станция. Их деньги стали моими деньгами, а мое желание было их действительностью.

Моя полка возвышалась Синайской горой, и так как гроза еще продолжалась, то мои приказы я давал через гром и при свете суетливых молний.

Но если десять скрижальных заповедей тянули первобытный народ к небу, то мои заповеди притягивали его к земле. Путешествие вызывает голод и жажду. В Одессу я приехал набитый пищей.

В Сухиничах я ел кислые яблоки.

— Кушайте, — сказал мне один из мебельщиков, — вам станет прохладно и кисло. — В его словах я услышал иронию. Этот долгоносый старик с длинными глазами был немедленно наказан.

Я приказал ему рассказывать вслух Ветхий Завет, который я плохо знаю. И пока поезд катился мимо облитых белым цветом деревьев и, как искра, проскакивал полустанки, я узнал, в какой день на небе затряслась первая звезда и в какой была сотворена щука.

В Кролевце я пил вино. Когда я пил вино, Сара сидела под зеленым дубом, и мебельщик передавал мне разговор, который она имела с тремя молодыми ангелами. Я узнал славу каждой станции. Мне приносили кирпичики из масла и белое молоко в шершавых глиняных банках. В Нежине моим трофеем был маленький бочонок и сто едва посоленных огурцов, которые лежали в бочонке.

Я довольствовался немногим, хотя мог получить все. Но в одном я был требователен и беспощаден. Долгоносый мебельщик не имел права прерывать рассказы из Ветхого Завета. Ко второй ночи его длинные глаза покрылись красной сеткой, и голос его колебался, когда он дошел до описания ямы, в которой лежал Даниил.

Над ямой стояли львы и смотрели на Даниила зелеными глазами. А Даниил валялся с засыпанным землей ртом и жаловался львам на негодяев военачальников Вавилона. Львы слушали и молча ухो-

дили, а на их место приходили другие, и на пророка снова глядели зеленые глаза, и Даниил опять кричал и плакал. Во рту его были земля и песок, и песок и земля были во рту мебельщика, когда, крича и плача, он рассказывал мне про несчастья Даниила.

В окне на мгновение останавливалось зеленое цветенье светофоров и молча уносилось назад.

Колеса били по стыкам, и пока поезд падал на юг, пока паровоз кидал белый дым и проводники, размахивая желтыми квадратными фонарями, ходили по темным вагонам, там, куда я ехал, еще ничего не знали.

Там еще ничего не знали, а я уже скатывался к югу, колеса уже били по стыкам, зеленый огонь в светофоре, приближаясь, сделался огромным, и влетевшие в него вагоны запылали.

Зеленый горящий одеколон навалился на меня сразу, и, задыхаясь, я прорвался через сон.

В вагоне уже не было никого. Мои подданные удрали первыми. Я был на вокзале в Одессе. Путешествие мое окончилось.

Я увидел серые и голубые глаза и, когда увидел, забыл все, что случилось в поезде № 7, на который в Брянске напала гроза. Я забыл молнии, произведенные этой грозой, и власть, которую имел над четырьмя торговцами мебелью.

Мы сидели на подоконнике, и я говорил:

— Сколько раз ночью я шел под высоко подвязанными фонарями, переходил каток и выходил в Архангельский переулок. На виду золотой завитушки масонской церкви и желтых граненых фонарей было лучше всего вспоминать о тебе.

Я знал голод и страх смерти. Я ел колючий хлеб и никогда не наедался. Разве я когда-нибудь забуду сны, которые я видел в то время. Я видел только муку. Она стояла мешками, и, когда я подходил к ней, сон, треска, разваливался. И я просыпался в невыносимом свете прожектора, который обливал комнату.

В то время была война, и из-за нее я узнал страх смерти. Разве я когда-нибудь забуду битое стекло, сыпавшееся из расстрелянных окон поезда, убежавшего из-под обстрела. От пяти часов вечера и до шести я знал страх смерти. Потом я узнал его еще много раз и уже не помню, как я могу забыть поле, разорванное кавалерией, и звон сыплющегося стекла.

Я также узнал любовь, которая стала мне тяжелее, чем голод и страх смерти. Это моя любовь к тебе. Я написал ее кровью. Но боль-

ше так писать не хочу. Поэтому я бросил астраханские башни Кремля и приехал к тебе, чтобы на этом подоконнике мы сидели вместе.

На пароходах разбивали склянки, и бродившие на окраинах собачьи стада задавленно и хрипло кричали «ура».

Когда зеленый коралл, стоявший против окна, от утреннего света снова стал деревом, Валя сказала:

— В тот день, когда ты приехал, возвратился домой мой папа. Если ты хочешь, мы можем сегодня пойти к нему. Он будет очень рад видеть тебя, хотя очень утомлен дорогой. Всю дорогу он не спал.

— Почему же он не спал? — рассеянно спросил я.

— К нему пристал какой-то чекист и для своей забавы заставил его всю дорогу читать Библию.

— Сегодня? — Я пошел в угол комнаты. — Сегодня? Нет, сегодня я занят и не смогу.

Я так и не пошел к нему. Но мне придется пойти, и я выжидаю своего времени. Я думаю, что меня встретят хорошо, ибо слова, раз написанные кровью, второй раз пишутся сахаром.

1923 год



Ю р и й    О л е ш а

## РАССКАЗ    О Б    О Д Н О М    П О Ц Е Л У Е

## I

Над каждой ложей между двумя лепными амурами висел матовый фонарь, похожий на дорогую писанку. В красной темноте ложи стояли молодые люди в черных смокингах с блестящими отворотами и старики с розовыми лысынами, напоминавшие пуделей. Над барельефами, украшенными облупившейся позолотой, оперев локти о малиновую обивку барьера, сидели дамы, и плечи у них были оголенные и красивые, а тальи схвачены легкими тканями или темным мягким бархатом. При каждом повороте головы или движении руки то на шее, среди кружев, в узком мысе холодного тела, то на пальцах, то в ушах под тяжелыми волосами — загорались разноцветные огоньки, вытягивая длинные острые лучики. В бинокль, в малиновом овале, были видны их лица с глазами, сиявшими голубым блеском и необычно длинными от глубокой синевы, с алыми губами, говорящими что-то неслышное, что слилось в ровный, журчащий, неумолкающий шум, с биноклями, поднесенными к лицу, в тонких пальцах с блестящими ногтями. В партере, похожем на раскрытую коробку конфет, веяли воздушные платья, склонялись плоские проборы кавалеров, маячили ослепительные манишки, золотые погоны и оскаленные воротники, затягивавшие, как петли, чахлые шеи стариков.

Над двумя многостворчатыми дверьми горели немигающим светом красные фонари, похожие на лампочки, при которых проявляют снимки, а у косяков стояли в аккуратных бачках, как будто загримированные, капельдинеры в красных с синим ливреях с золотыми позументами. Занавес с Русланом, разящим страшную голову, казался сделанным из тяжелой желтой парчи, и на большую раковину была похожа суфлерская будка. Погас свет, зазвенел звонок сразу в трех местах, отдавшись чистым переливом под какими-то невидимыми сводами, и низ занавеса осветился ярко

от вспыхнувшей рампы, в то время как верхняя его часть осталась в лиловом полумраке. В пролеты дверей, внезапно ставшие темными, торопясь проходили запоздавшие, чуть усилился шелест платьев и шарканье ног, и вдруг все сразу насторожилось, только в одной ложе кто-то прошел в двери, бросив обрывок желтого света, отчего блеснуло зеркало в темноте, и гулко ударив дверью.

Неожиданно появившиеся музыканты, совсем маленькие внизу, заиграли, когда маэстро взмахнул, как игрушечный, руками. Скрипачи, сидя в ряд и склонив в одну сторону головы над скрипками, упершимися в белые платки под их подбородками, одновременно размахивали локтями, вытягивая тонкие, похожие на золотые дрожащие рапиры, ноты. В это время через вестибюль, где была лестница, покрытая пурпурным ковром, с балюстрадой из мрамора такого цвета, как кофе, прошел в двери, ведущие в зрительный зал, золотоволосый юноша, одетый в черное. Стараясь ступать тише, он пробрался к своему месту в близком ряду и сел. Перед собой он увидел спину седой дамы, а рядом молодую девушку, которая смотрела в бинокль, держа близко от золотоволосого юноши голый локоть.

Струился приятный аромат, получившийся оттого, что смешались все запахи духов с запахом старой материи, которым тянуло со сцены. Золотоволосый юноша чувствовал себя хорошо и оттого, что, взглянув мимоходом в вестибюле в зеркало, которое шло до потолка, вправленное в барельеф между двумя рядами электрических ламп, он нашел, что сегодня он бледен, и что это очень идет к его золотым волосам, и от присутствия нарядной публики и красивых женщин, и от приятного вкуса ликерной конфеты, который остался во рту, хотя съел он ее еще после обеда, стянув у сестры Зои. Девушка, сидевшая в кресле рядом, через несколько минут после того, как он сел, отняла бинокль от лица и посмотрела на него блестящими веселыми глазами. От движения головы метнулись и заблестели сережки, и нельзя было узнать, что блестело больше: сережки или глаза.

Золотоволосый юноша заметил, что ей захотелось улыбнуться, потому что, вероятно, она тоже себя чувствовала хорошо. Потом, до конца акта, она глядела в свой бинокль, слегка склонившись влево и положив одну руку на поручень кресла.

## II

Окончился акт. Артисты, трое, держась за руки, выходили раскланиваться перед чуть оттянутой створкой занавеса, и теперь от того, что был опущен желтый занавес и горела рампа, неприятно был замечен их грим, и белки глаз казались совсем голубыми. Зажглись опять фонари над ложами и люстра, вверху, на страшной высоте, оранжевыми жемчужинами, похожая на повернутую книзу шапочку сказочного пажа. Золотоволосый юноша встал, чтобы дать проход девушке, сидевшей рядом.

Она, извинившись, прошла близко возле него, повеяв духами и чуть задев его руку холодным браслетом, на котором звенела цепочка. Он повернулся к сцене и, оглядывая публику, увидел во втором ряду сидящую к нему спиной даму. От шеи, широкий сначала и постепенно суживающийся книзу вырез в черном блестящем шелке обнажал ее плечи. Она сидела, поднеся обнаженную руку к подбородку и немного подавшись вперед, отчего между лопаток легла у нее мягкая складка, и шелк неуловимо красивыми линиями сбегал к ее коленям. Золотоволосый юноша подошел ближе и увидел, что волосы у нее были того красивого оттенка, который бывает у светлых шатенок, а плечи такого цвета, как страница старого молитвенника. И эти плечи заполнили все его сознание, как будто он видел их всегда и только не знал, что это они, как будто то, чего бы он когда-либо захотел, как самого ценного во всем мире, это была бы именно возможность поцеловать эти плечи в вырезе черного блестящего шелка. Он даже поднес руку к лицу.

«Я поцелую ее плечо, да, поцелую». Он прошел к барьеру, отгораживавшему оркестр, посмотрел на виолончелиста, который ел мятные лепешки, повернул и лицом к публике пошел по проходу, чтобы увидеть ее спереди. Он увидел ее лицо и кольца, отяжелевшие ее пальцы, которые она держала у подбородка. Коричневые глаза, слегка оттененные, взглянули на него. И прежде, чем глаза их встретились, он успел заметить, что рот у нее был большой и очень красный, а волосы слегка завиты.

«Я ей нравлюсь», — подумал он. Она, не отводя взгляда, как ему показалось, расширила глаза, немного откинулась назад, и губы у нее шевельнулись, сдержав ласковую улыбку. Это было делом

одной минуты. Уже проходя мимо, он увидел ее обнаженную руку в коротком рукавчике, веснушчатое лицо и жидкий пробор господина, который сидел с ней рядом, но, видимо, не был с ней знаком. Золотоволосый юноша пошел дальше между рядами по коврику, заглушавшему шаги.

«Поцелую ее в плечо! А что будет?.. Воображаю. И все равно. Это интересно». Дрожь от головы к ногам прошла по нему, и ему припомнились те сны, которые снились ему в детстве, и когда, видя сон, он знал, что это сон, и не боясь, делал все, что ему хотелось. Он принял такое положение, чтобы видеть ее. Она сидела уже иначе, и он решил, что она, вероятно, повернулась, ища его глазами, покамест он шел к своему месту. Теперь немного был виден ее профиль, и издали, от освещения, была заметна влажность ее рта. «Да», — решил золотоволосый юноша. Трехтонно зазвенел звонок, и погасли оранжевые жемчужины, только матовые фонари над ложами еще горели. Ряды пополнялись. Опять ему пришлось встать, чтобы пропустить свою соседку. Она прошла, чуть склоняя голову и приподняв согнутую руку, чтобы не задеть его браслетом, на котором звенела цепочка.

«Ну, что будет! Ничего не будет. Получу пощечину». И чувствуя, как теплые волны хлынули к ногам, сделав их тяжелыми, а сердце заставив ускоренно биться, — он встал, удивив соседку, которая уже пристраивала свой перламутровый бинокль, и медленно пошел к тому ряду, где сидела дама с красивыми плечами. Он увидел чьи-то спины и чей-то висок с рыжеватыми волосами. Потом перед его глазами очень близко и вместе с тем как бы и не тут, а где-то в прошлой жизни, были ее плечи с мягким углублением между лопаток, матовый блеск черного шелка и красноватый огонек, как Сириус, в ее кольце на пальце обнаженной руки, которую она поднесла к голове, чтобы поправить завиток волос.

В то же мгновение стало темно, низ занавеса сделался ярко-желтым с четкой тенью суфлерской будки, и красный Сириус потух, потому что дама опустила руку. Золотоволосый юноша, чувствуя, что на него все ближайšie из зрителей смотрят с удивлением, нагнулся и поцеловал даму в плечо, как раз в том месте, где началась шея. Было мгновенное неизъяснимо-приятное ощущение теплоты на губах, которое вызвало такое же мгновенное и ушедшее в глубины души чувство непонятной нежности, такое чувство, будто

в нем сосредоточилась вся сила любви, которую он испытывал когда-либо или только будет испытывать.

И пока еще ничего не произошло, в тот мгновенный промежуток мига, пока он смыкал губы, его охватил запах, исходивший от нее и похожий на тот, которым пахло от смятой постели его сестры Зои. Вскочил чей-то жилет, и чьи-то глупые голубые глаза испуганно посмотрели. Кто-то сбоку сказал: «Боже!» Она вздрогнула, двинулась вперед, точно кто-нибудь прикоснулся к плечу куском льда, привстала и повернулась так, что одна ее рука, мягко изогнувшись, осталась на спинке ее кресла, а другая напряженно уперлась в спинку бывшего напротив кресла. Он почувствовал, что краснеет, и почему-то неловко дернул рукой.

Но потом он увидел, что лицо ее стало другим — из удивленно-го веселым. Она протянула ему обнаженную руку, чуть согнутую в локте, и, слегка закинув лицо с большим очень алым ртом, сказала и не громко, и не тихо:

— Вы красивый и смелый.

Он пожал ее пальцы.

Она повторила:

— Вы красивый и смелый. Я на это не решилась бы.

— Тише! — сказал кто-то недовольно.

Кто-то засмеялся.

Она еще раз протянула ему руку, и опять у нее губы шевельнулись так, как будто сдержали ласковую улыбку или как будто после поцелуя. Потом она светло улыбнулась. Маэстро взмахнул руками, точно нарисованный на плакате, и оркестр заиграл.

— Идите садитесь, золотоволосый.

Он пошел к своему креслу, сопровождаемый взглядами, и встретила его улыбкой девушка с голыми локтями, сидевшая с ним рядом.

### III

В антракте она встала и, мягко ступая и чуть наклонившись вперед, подошла к нему. Прежде чем заговорить, она посмотрела прямо в глаза ему широкими зрачками своих коричневых глаз. Он встал. Она улыбнулась. Золотоволосый юноша видел ее близко: черный блестящий шелк таким же вырезом открывал ее груди,



схватывая плотно талью и расходясь к ногам шумящими складками. Покачивались от каждого движения головы завитки волос над висками, и поблескивали, то потухая, то вспыхивая, кольца на руках.

— Это самое оригинальное знакомство, — сказала она.

— Подождите, может быть, сегодня еще кто-нибудь прибегнет к такому способу.

— Это уже будет не оригинально. — После паузы она добавила: — Вы мне нравитесь. У вас удивительные волосы.

Когда спектакль окончился и поднялся шум от закрываемых дверей, от запоздалых хлопков, от слов, от шелеста платий и от того, что кто-то на галерке звучным баритоном повторял последнюю фразу премьера, она подошла к нему и, сделав такое движение, точно хотела опереться об его руку, сказала:

— Ну, мой мальчик, вы меня проведете домой.

— А это не страшно?

— После того, что вы сделали, вам нечего уже бояться. Только будьте до конца оригинальны.

В гардеробной, где была толкотня и веселый шум, он помог надеть ей темно-лиловое манто с коричневым меховым воротом, в которое она запахнулась так, что над мехом были видны только ее глаза. На шляпе у нее было белое перо в виде маленьких стрелок. Стрелки дрожали, и тяжелыми складками покачивался низ ее манто.

— Мы пройдем пешком, — сказала она, когда швейцар в длинной до пят ливрее с пятью пелеринками и круглыми, похожими на луны, пуговицами открыл перед ними дверь и в стекле отразились огни и бледное лицо золотоволосого юноши.

— Мы можем поехать.

— Нет. Идем. Смотрите, какая ночь. Возьмите меня под руку.

В небе была луна и огромная галоша над куполом «Проводника». Звенел стеклами, громыхал трамвай, и лошади храпели, выпяливая кровавые глаза. Она ответила ему такой же оригинальностью. Когда они пришли к ней, она угощала его ликером, который горел, как золото, от света лампы в ее будуаре, где все было в желтых, теплых тонах.

Она отдала ему для поцелуев свои плечи и смеялась, когда он целовал их, и черный шелк, и обнаженные руки, и широкими

зрачками смотрела на свое и его отражение в зеркале, и ее большой, очень алый рот как будто слегка шевелился.

Потом, когда прошло несколько дней, ему не верилось, что все это было в действительности. Как будто все это выдумал Шопен: и то, что золотоволосый юноша, одетый в черное, поцеловал в театре даму в плечо, и коричневые глаза, и лиловое манто, и прекрасные плечи, и руки цвета страницы старого молитвенника на белых подушках в пене кружев, и большой очень алый рот, целовавший темные глаза золотоволосого юноши.

*1918 год*



Т а я Н а й д е н к о

О РОДИНЕ, О ПТИЦКАХ

**ОДИН ГОВОРIT**

Один говорит «будь проще»,  
Второй собирает вещи,  
А третий — почти прощен.  
Мужчина вообще не прочен,  
Мужчина вообще не вечен,  
Мужчина пройдет, как сон.

Останутся просто люди  
На общем большем портрете,  
Где каждый трагично мал.  
Один обещал «мы будем»,  
Другой уточнял «как дети»,  
А третий уже дремал.

Один научил без звука  
Рыдать по утрам, мечтая,  
Что кто-то расслышит стон.  
Один говорил «ты сука»,  
Другой возражал «святая!»,  
А третий не знал имен.

Но надо уметь, как ящер,  
Заботясь о благе общем,  
Отбросить их всех, как хвост...  
Один улыбался чаще,  
Другой говорил «будь проще!»,  
А третий и сам был прост.

Я стала еще сложнее  
(Что каждый из них пророчил,  
Как самый дурной исход).  
А все-таки — чуть нежнее.  
Особенно — ближе к ночи.  
Но это само пройдет.

### ПОЭЗИЯ НЕ МОЖЕТ

Все говорят:  
— Поэзия не может  
Быть больше скучной! Всё! Какого черта  
Мы терпим эту нудную бодягу —  
О Родине, о птичках, о любовных  
Страданиях какого-то уroda,  
Довольного собой при этом, в общем,  
Но как-то недовольного вообще?!  
Пусть эта поэтическая сволочь  
Хотя бы выступает перед нами!  
Пред публикой, точнее. Или перед  
Любым, кто оказался впереди!  
Пусть он поет хотя бы под гитару,  
Пусть он хотя бы хорошо танцует,  
Или хотя бы носит трость и шляпу,  
Пусть он хотя бы ногти подстрижет!  
Пусть он следит за кожей и улыбкой,  
Раз выдумал назваться здесь поэтом,  
Пусть будет нам приятен, пусть покажет,  
Как все безразличны здесь ему!

Все говорят «Поэзия — не может!»  
И добавляют бред какой-то в рифму,  
Как будто бы поэзия — про рифмы,  
Как будто бы поэзия — про жизни,  
Про среды, понедельник, субботы,  
Про выпитое, зло, добро и связи  
Какие-то между всем этим бытом,

Про смерть, или детей, или про бога,  
Про котика, червонец, мясорубку,  
Как будто бы поэзия — про что-то,  
Что вообще понять могли бы все.

Все говорят — поэзия не может...

И правы.

Ничего.

Все эти строчки —

Всего лишь бесполезная попытка.

Попытка не носить, к примеру, шляпу.

Не выступать перед своим народом.

Не нравиться ни вам, ни местным птичкам,

Ни Родине, ни матери своей.

Ходить без пистолета, без гитары,

Без паспорта, без денег, без опоры.

Без кожи. И уж точно — без улыбки!

С улыбкой — только если так нельзя.

Все говорят «Поэзия не может»

С каким-то очень недовольным видом,

Как будто бы им что-то обещали —

Кредит под это дело, летний отпуск,

Прогулку, секс, успехи в обороне

Страны или бессмертие в Париже —

И будто это все не получилось

Из-за одной досаднейшей причины:

Поэзия, скотина, не смогла!

Все говорят «Поэзия не может»...

Да с нами и кино уже не может!

Вот-вот откажет проза, а за нею —

Простейшие, привычнейшие вещи,

Такие, как мораль или убийство,

Вкус сладкого, шуршание бумаги,

Приятность наблюдения за кем-то,

Возможность помочиться или выйти

Через окно куда-либо еще.

Начнется удивительное время.  
(Поэзия по-прежнему не сможет,  
Конечно же...)  
Тогда и станет важно  
Умение ходить тут без опоры,  
Без паспорта, без публики, без шляпы,  
Перетекать из одного в другое —  
И становиться рисовой бумагой,  
Шуршанием бумаги или светом,  
Кружащим над бумагой, или мыслью  
О том, что на бумаге написать.  
Без имени, без кожи, без улыбки.  
Без глаз.  
И наконец-то — без стихов.



*Олег Губарь***ДЕЛО ЛОКОТНИКОВА**

«За чарующий взгляд искрометных очей не страшусь я ни мук, ни тяжелых цепей». Поразительно, как точно и лаконично воспроизводится предлагаемый вашему вниманию сюжет словами проникновенного романа Н. Р. Бакалейникова.

Скандалное дело канцеляриста Одесского строительного комитета Локотникова скрупулезно разбиралось на протяжении многих лет, однако о главном фигуранте мы не знаем практически ничего. Неизвестно ни его имя, ни даже инициалы. Понятно только (фамилию не отнесешь к благородным; впрочем, в Петербурге первой половины XIX века известен состоятельный домовладелец Локотников), что происходил он из разночинцев. Этот герой, или скорее антигерой, привлек мое внимание отчасти по той причине, что судьба его трагически вплетена в ту малопочтенную отрасль общественного быта юной Одессы, о которой до сих пор не имелось никаких сведений. Однако обо всем по порядку.

На рубеже 1814–1815 годов в главной властной инстанции Одессы, Строительном комитете, недосчитались значительной суммы. Деньги эти следовали по почте из Херсонской казенной палаты в возврат средств, употребленных Комитетом на починку зданий Одесской конторы государственного коммерческого банка. Банковские дома, располагавшиеся на углу Дерибасовской и Гаванной улиц, в 1806 году купили у брата основателя Одессы, отставного майора Феликса де Рибаса. Афера с похищением осуществилась очень просто: один из чиновников Комитета получил эти деньги в почтовой конторе и просто-напросто присвоил их себе.

Спрашивается, как же такое могло произойти? Суть в том, что немалые казенные суммы довольно регулярно переправлялись

эстафетой из Херсона, и «за распискою» их получали те или иные чиновники Комитета, которых на почте знали в лицо. Означенную сумму — 6 102 рубля 63 1/2 копеек — и получил Локотников, оставив неразборчивую подпись. Как впоследствии выяснилось, он присвоил еще и другой, не столь крупный казенный перевод, около 400 рублей. Чтобы оценить значимость общей суммы в контексте времени скажу только, что многие приличные дома в центре Одессы стоили менее 6 000 рублей, обер-офицерам отпускалось 500 рублей в год на аренду хорошей квартиры, а, скажем, годичное содержание в Благородном институте с полным пансионом обходилось в 670 рублей. Если бы Локотников в течение десятилетия аккуратно складывал бы весь свой оклад и наградные в копилку, то и тогда едва ли собрал такую сумму.

Чтоб не вызвать подозрений, сообразительный канцелярист не стал сразу же увольняться из Комитета. Мало того, оставаясь сотрудником, он мог контролировать переписку с Херсонской казенной палатой. То есть если последняя запрашивала, получена ли отправленная сумма, а Комитет — отчего деньги не поступают, Локотников перехватывал письма, оттягивая развязку. Когда же, несколько месяцев спустя, он уволился, наверняка уже нельзя было выяснить, кто именно получал означенные суммы. Ситуация тогда вообще была несколько путаной по причине административных пертурбаций. В сентябре 1814-го фактически руководивший Комитетом де Ришелье оставил Одессу, предполагая, что отлучка временная, вышло же иначе, и место градоначальника заступил военный комендант генерал Кобле. Тем не менее, ситуация вскоре уравнилась, и пропажа сделалась очевидной. Как один из немногих сотрудников, причастных к получению почтовых отправок, регистратор Локотников, конечно, оказался в подозрении. Однако эти подозрения не имели бы доказательной базы, если бы мелкий чиновник и далее проявлял благоразумие.

Но молодой человек, выражаясь изощренно, не выдержал испытания искушением. Шаг за шагом следствие открывало многочисленные неприглядные подробности его падения. Ищите женщину... На свою голову, Локотников понимал это изречение буквально и сгорел на «веселых домах». Об организации проституции на первом этапе существования города дошло крайне



мало достоверных известий. Наверняка можно сказать, что свободные женщины любого состояния здесь были тогда в исключительном дефиците. Доходило до крайностей: похищения и перекупки замужних, совращения малолетних, не говоря уже о тривиальных изнасилованиях. По этой причине оказание сексуальных услуг становилось более чем прибыльным бизнесом.

Ранние архивные документы фиксируют главным образом разнообразные акты насилия, умалчивая о добровольных коллекторах «общественного темперамента». Мне трудно было поверить, что в 1800–1810-е годы пестрый, пряный, поистине левантийский порт («в нашу гавань заходили корабли»), обладавший временным, а вскоре и постоянным городским театром, Казенным садом, разного пошиба трактирными заведениями и в целом развитой инфраструктурой развлечений, не имел соответствующих заведений. Но где искать упоминания, коль скоро чопорные зарубежные вояжеры умалчивают о них в своих мемуарах. Подумалось: а что если проштудировать документы, относящиеся ко времени борьбы с чумной эпидемией 1812 года, когда закрыли все общественные места, а затем объявили и общий карантин? Ведь тогда известного рода «мероприятия» непременно должны были быть взяты под контроль.

И действительно, среди распоряжений, сделанных герцогом Ришелье 29 августа 1812 года ввиду открывшейся заразы, находим следующее: «Всех женщин, живущих в известных вольных домах, собрать в одно место и самым строжайшим образом запретить — и за тем наблюсти, — чтобы они никого не принимали, но ежели какая из них преступит запрещение, таковую и вместе с нею принятого гостя, как ослушников, отправить в полицию, где по рассмотрению учинить им наказание». То есть таких домов и их насельниц уже тогда было немало. Очевидно, к благополучному 1814 году, когда внешняя торговля довольно многолюдной Одессы резко пошла в гору, посещаемость порта резко увеличилась, и значительно возвысился спрос на сексуальные услуги, число «вольных домов» и тамошних обитательниц явно возросло. Из материалов, связанных с расследованием дела Локотникова, становятся понятными некоторые любопытные обстоятельства.

Сюжет совращения комитетского канцеляриста начался с посещения «веселого дома», который содержала еврейка Шейндля

Лейбова. Судя по всему, это было лучшее в городе заведение подобного сорта: состоятельная хозяйка пользовалась покровительством достаточных горожан, совершала сомнительные с нравственной точки финансовые операции и привлекала к сотрудничеству иногородних партнеров, в том числе из «ближнего зарубежья». Возможно, неискушенного юного Локотникова втянули в какую-то банальную игру. В сказанном доме, а быть может, и за его пределами, он познакомился с некоей польской барышней Закревской. В следственных материалах ее называют просто развратной женщиной или девкой, опять-таки не снисходя до упоминания имени.

Формально Закревская пребывала в кабале у Лейбовой, которая заплатила за нее солидный долг шляхтянке Магдалине Тарновской, а затем продолжала использовать «по назначению». Похоже, романтический канцелярист доверился шитой белыми нитками исповеди Закревской, страстно влюбился и решился вызволить ее из дома терпимости, поначалу бесцеремонно увез, фактически украл у «хозяев», да и только. Но не тут-то было. Не прибегая к содействию полиции, его взяли в оборот многие материально пострадавшие особы. Ну, во-первых, ему следовало рассчитаться с Лейбовой, которая выплатила Тарновской 500 рублей наличными и на 250 выдала расписку. Еще 250 рублей требовал компенсировать прежде содержавший Закревскую болгарин Топалов. Каким-то боком к делу оказались причастны шляхтянка Макушинская (надо полагать, содержательница другого «вольного дома» или же поставщица «живого товара»), грек Бани, немец Пурио. Мировое, так сказать, соглашение со всеми кредиторами и ко всеобщему удовольствию в частном порядке помог устроить десятский (гражданский полицейский чин) Соломон Гершкович, разумеется, не подозревавший о совершенной Локотниковым краже. По архивным и другим данным, Гершкович — из семейства первых одесских поселенцев, состоявших в мещанском сословии и владевших недвижимостью по Еврейской улице, — в феврале 1812 года в числе других получил место для возведения каменной лавки на Новом базаре, но затем передумал строить. В 1820 году он просил Строительный комитет об отводе земли из городского выгона, однако этот участок отошел под хутор известному медику, надворному со-

ветнику Ивану Вицману. В 1830-м Соломон Гершкович построил собственный дом на Новой Слободке.

Так или иначе, а бедный канцелярист сполна выплатил контрибуцию.

Узнав от своих осведомителей о серьезных тратах недавно уволившегося мелкого чиновника и внезапном отъезде с вызволенной «развратной девкой», Комитет незамедлительно организовал его поимку и препровождение в Городскую полицию, которая на тот момент еще не была официально задействована в расследовании. Локотников недальновидно убежал в Киев, где успел приобрести скромный домик в надежде свить гнездышко с Закревской. В общих чертах вся цепочка вырисовывалась оперативно, поскольку показания давал более чем осведомленный десятский Соломон Гершкович. И хотя обстоятельства были ясны как Божий день, следствие затянулось на годы. Почему? Да потому, что главный вопрос сводился не только и не столько к тому, чтобы покарать виновных, а состоял в том, чтобы компенсировать казенную сумму — 6496 рублей 65 копеек. Комитет был заинтересован в этом в первую очередь, ибо кража косвенно компрометировала эту инстанцию.

Однако интересы Комитета кардинально расходились с интересами «взятых по делу». Каким бы постыдным ни был промысел Лейбовой, он не был противозаконным, и, при всех обвинениях с точки зрения морали, ей нельзя было предъявить претензий с позиций законности. Факт оставался фактом: долг Закревской она погасила из собственного кармана. Правда, рассчитывался канцелярист казенными деньгами — вот в чем загвоздка.

Естественно, все движимое и недвижимое имущество арестованного описали, но оно оказалось весьма незначительным: 185 рублей наличными и крохотный домик в Киеве, на отшибе, некоторое время стоявший без присмотра и явно разоренный к моменту продажи, иначе никак не объяснить полученные за него после реализации 45 рублей — вероятно, это стоимость материала от разборки. Личные вещи арестованного позднее продали за 187 рублей 30 копеек. Остальное Локотников лихо промотал, что, с учетом жесточайших для него последствий, вызывает во мне даже некое чувство злорадного удовлетворения.

Далее полиция круто взялась за мещанку Шейндлю Лейбову, каковая подала по этому поводу прошение исправляющему

должность одесского градоначальника генерал-майору Фоме Александровичу Кобле. «По делу подсудного (...) Локотникова, — пишет она, — взято у меня наличными деньгами 775 руб., 14 ниток жемчугу и одни часы, что все и поныне хранится в Одесском Комитете». Мотивируя несправедливое изъятие денег и ценностей, Лейбова полностью приводит финансовую раскладку израсходованных ею на Закревскую сумм, упоминая полученную от Тарновской расписку и поступившее во взаиморасчет от канцеляриста. Завершается этот документ следующим пассажем (орфография оригинала): «Объясняю выше писанное по истинной справедливости, осмеливаюсь прибегнуть под защиту Вашего Превосходительства и всепокорнейшее прошу хранящиеся в Комитете мои как 775 руб. деньги, так жемчуг и часы кому следует повелеть возвратить мне. В случае же, каким-либо по сему делу присутственным местом произведено будет с меня взыскание показываемых Локотниковым 900 р. денег, то и при получении из Комитета моей собственности благонадежных поручителей в ответствование за меня на случай моей несостоятельности имею».

То есть она вполне логично просила вернуть ей собственность до решения суда, ссылаясь на авторитетных поручителей. Комитет отреагировал предсказуемо. Отвечая 24 июля 1815 года Кобле по поводу полученного тем прошения, пишут о том, что такая-то, «промышляющая постыдным и противным благонравию ремеслом, содержа развратных женщин и других ей надобных, кои, насколько можно видеть в деле о Локотникове, придали способов сему преступнику растратить украденную им казенную сумму, и быть может, что были и самую причину покунуться на злодеяние, родив в нем посредством разврата нужды в деньгах». Поэтому находят невозможным вернуть конфискованное имущество до разрешения дела. Разумеется, опосредованно причастные к делу Локотникова и материально пострадавшие фигуранты принялись подавать прошения по инстанциям. В связи с жалобами, сюжет привлек внимание высшей администрации, в частности, небезосновательно обратившей внимание на халатность почтовых чиновников. Странно, что впоследствии не было вынесено никакого дисциплинарного определения и в адрес самого Комитета.

Пока раскрутился тяжелый маховик бюрократической машины, минуло чуть ли не пять лет! И только 26 января 1820 года в Комитете слушали постановление Правительствующего Сената по делу Локотникова. Главный обвиняемый сего решения так и не дождался: в комитетских журналах, относящихся к этому времени, он значится просто умершим — естественна ли была его кончина, покончил ли он собой, неизвестно. Ясно лишь то, что смерть его произошла еще до сенатского постановления, ибо в противном случае оно включало бы и приговор самому Локотникову. «За пленительный звук нежной речи твоей я готов на позор под бичи палачей».

Столичные моралисты яростно отыгрались на живых. Успевшая к тому времени вступить в брак мещанка Шейндля, была уже не Лейбовой, а Слушаевой, что не спасло ее от начета в 1100 рублей, то есть существенно больше, чем она получила из рук покойного канцеляриста. Тут надо пояснить: Лейбова — не фамилия, а отчество, которое нередко трактуется в документах как фамилия. Реальная же фамилия — Слушай (Слушаева). Лейба Слушай фигурирует в перечне ревизских евреев-мещан 1811 года. Правда, ей вернули опечатанные все эти годы часы и жемчуг. Из более поздних архивных материалов мы узнаем о том, что дальнейшая судьба Лейбовой сложилась вполне удачно, и в 1823 году она владела собственным домом во второй административно-территориальной части Одессы, оцененном в приличную сумму — 12 000 рублей.

Были также назначены следующие взыскания: со шляхтянки Магдалины Тарновской — 650 рублей, с болгарина Топалова — 250, со шляхтянки Макушинской — 100, с немца Пурио — 80, с десятского Соломона Гершковича — 50, с грека Бани — 50, с двух десятских — Лемошко и Цудика — 15 рублей, «потому что они, видев Локотникова, молодого человека и должностью обязанного, издерживающего деньги мотовски для распутно с ним жившей девки, должны были от сего его отвратить».

Легко счесть: все эти штрафы и близко не покрывают утраченную казенную сумму. В таковой ситуации Сенат положил взыскать недостающую разницу с одесского почтмейстера Худобашева — да-да, того самого, Артемия Макарьевича, члена Бессарабской конторы иностранных поселенцев, хорошего пуш-

кинского знакомого. Здесь, конечно, уместно говорить о халатности: при выдаче столь крупной суммы расписка получателя действительно не была надлежащим образом сверена. При таком начете почтмейстер мог буквально остаться без штанов, а потому, вполне сознавая и свою вину, Комитет компенсировал основную часть дефицита, 3 075 рублей, от лица своего казначея, одного из самых состоятельных людей в Одессе, сподвижника герцога Ришелье, барона Жана Рено, многократно помогавшего городу в разных ситуациях — и тем спас свою репутацию.

Казалось бы, вопрос исчерпан и черпак выброшен. Не тут-то было. Проходит еще два с половиной года, и 18 июня 1823 года Комитет снова не может свести дебет с кредитом. Как выяснилось, не всех лиц, на которых наложили денежные взыскания, удалось отыскать. Покинули Одессу, либо сознательно скрывались: болгарин Топалов, грек Бани, десятские Лемошко и Цудик, в связи с чем полиции поставили на вид. Что касается Худобашева, то в случае, если бы поименованные особы рассчитались, то за ним оставалось бы 712 рублей 15 копеек, в противном случае ему пришлось бы рассчитываться сполна. В помощь следствию вновь привлекли всезнайку Соломона Гершковича, но результат мне пока неведом — во всяком случае, в комитетских журналах ближайшего к этой истории времени я больше не нашел упоминаний о деле Локотникова.

Знаете, что скажу вам напоследок: мне чертовски жаль этого безымянного, по сути, Локотникова. Представьте себе безнадежно сидящего в «чижовке»<sup>1</sup> при городской полиции молодого легкомысленного человека, лишённого какого бы то ни было будущего, никому не нужного, даже освобожденной им даме сердца, ради которой пожертвовал он честью и самую жизнь. Условия содержания ужасающие — острог в «большой крепости» ликвидирован после ее присоединения к карантину, новый тюремный замок построен лишь десять лет спустя, тюремный дом при полиции не обустроен и переполнен Бог весть каким сбродом. Ни малейшего просвета, оправдания не будет никогда, жизнь загублена. «Как я плачу, о счастье мечтая, но напрасно: ведь счастьем не быть».

Мы не только не узнаем, при каких обстоятельствах он перешел в мир иной, но даже места захоронения. Известно, что гораздо

---

<sup>1</sup>Название камеры в конце XIX века.

позднее умерших или казненных в тюремном замке погребали на Скаковом поле или на Карантинном кладбище. Но в 1810-е годы не было еще означенного поля, а кладбище в карантине использовалось по особому статусу. Скорее всего, Локотникова наскоро зарыли где-то на периферии Старого городского кладбища, которое в тот период было лишено даже элементарного забора. Теперь, впрочем, только забор и остался. Да и тот в единичных фрагментах.



**ОБЪЯВЛЕН ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «ПОЭТИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ»  
ЖУРНАЛА «НОВАЯ ЮНОСТЬ» ЗА 2020 ГОД**

*В 2020 году лауреатом премии за яркий поэтический дебют на страницах журнала «Новая Юность» стала Тая Найдено из Одессы с подборкой «О Родине, о птичках» (№2).*

***Поздравляем нашего автора!***

*Ранее лауреатами премии становились Елена Жамбалова (г. Улан-Удэ), Максим Матковский (г. Киев), Марианна Плотникова (г. Уфа), Мирослав Лаюк (г. Киев), Иван Ким (г. Коломна), Екатерина Вахрамеева (г. Екатеринбург) и Егана Джаббарова (г. Екатеринбург).*

*Материалы, опубликованные в журнале за этот год,  
можно найти на нашем сайте*

***<http://www.new-youth.ru>***

*и в ЛИТРЕС по адресу:*

***<https://www.litres.ru/serii-knig/zhurnal-novaya-unost-2020/>***

**E-mail: [newnost93@list.ru](mailto:newnost93@list.ru) (для рукописей)  
[newyouth@mail.ru](mailto:newyouth@mail.ru)**

Журнал зарегистрирован в Комитете РФ

по печати, рег. № 01826

Подписано к печати 15.04.2021

Объем 24 п.л.

Тираж 1000 экз.

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»

Филиал «Чеховский Печатный Двор»

142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1

Сайт: [www.chpd.ru](http://www.chpd.ru), E-mail: [sales@chpd.ru](mailto:sales@chpd.ru), тел. 8(499)270-73-59